

Концерт для четырех голосов

Концерт для четырех голосов



РАДИОПЬЕСЫ



Радиопьесы

СТЕФАН ХЕРМЛИН	Скарданелли
РОЛЬФ ШНЕЙДЕР	Третий крестовый поход
ГЕНРИХ БЕЛЬ	Концерт для четырех голосов
ЗИГФРИД ЛЕНЦ	Время невиновных
ГЮНТЕР АЙХ	Девушки из Витербо
ФРЕД ФОН ХЕРШЕЛЬМАН	Корабль „Эсперанца“
ИЛЬЗЕ АЙХИНГЕР	Пуговицы
МАКС ФРИШ	Рип ван Винкль
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ	Страницкий и национальный герой

Концерт
для четырех голосов

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»
МОСКВА 1972

792. 8
С 45

Составитель Н. Павлова

8-1-5
174-71

БИОГРАФИЯ И ХАРАКТЕР ЮНОГО ЖАНРА

Немецкой, как, впрочем, и мировой радиопьесе, нет еще и пятидесяти лет — возраст для жанра как будто младенческий. Однако радиопьеса принадлежит к числу тех новых видов искусства, вызванных к жизни триумфальным шествием техники в современном мире, существование которых отмечено ускоренным развитием и ростом.

Особенно плодотворно и бурно становление жанра происходило в Германии 20-х годов, что было вызвано, по-видимому, как тем горячим интересом к изобретению радио, который проявил «технический немецкий гений», так и напряженной общественной борьбой в период Веймарской республики, захватившей широкие социальные слои и искавшей для своих нужд новые выразительные средства в искусстве.

«Развлекательная программа», в недрах которой суждено было возникнуть радиопьесе, стала передаваться регулярно из радиостудий Германии с 1923 года. К середине 20-х годов относятся и первые опыты радиотеатра — поначалу вполне наивные, а иногда и курьезные. Альфред Браун, один из первых радиорежиссеров, поставил, например, в 1924 году шиллеровский «Лагерь Валленштейна», используя весь театральный реквизит, заставив актеров бряцать перед микрофоном оружием, щеголяя в невидимых слушателю старинных костюмах. Предполагалось, что иначе актер не сумеет вжиться в роль и его голос неминуемо выдаст подвох. За «Лагерем Валленштейна» последовали многочисленные обработки для радио драматических и прозаических произведений мировой классики. Наибольший успех среди них выпал на долю Рольфа Гунольда, поставившего «Привидение» по Гофману.

Однако первая подлинная радиопьеса была импортирована из Англии: прозвучавшая по лондонскому радио 15 января 1924 года (дата рождения мировой радиопьесы) «Опасность» Ричарда Хьюза, которую Бернард Шоу назвал одной из лучших известных ему одноактовок, летом того же года была передана и в Берлине. Чутко уловив специфику жанра, Хьюз сосредоточил всю художественную нагрузку на звучащем слове, поместив действие в подземелье, лишенное освещения, — **речь идет в** его радиопьесе о катастрофе на шахте. Этот прием

впоследствии не раз был использован и другими авторами. Первенец был столь удачен, что на целые десятилетия занял прочное место в мировом репертуаре.

Немецкие дебюты, не замедлившие последовать, носили больше технико-экспериментальный, нежели литературно-художественный характер. Такова первая немецкая радиопьеса «Волшебник на студии» Ганса Флеша (осень 1924 года). Весь ее незамысловатый сюжет сводился к проделкам волшебника, проникшего на студию и забавляющегося мешаниной различных звуков, которыми он заглушает голоса растерявшихся дикторов,— в эфире попеременно возникают, перебивая друг друга, то хаотичные, то воспроизводящие обрывки мелодий звуки скрипки, фортепьяно, барабана, литавров, слышится пение, мяуканье, фырчание и т. д.

Упоенным экспериментаторством отмечено подавляющее большинство и других радиопьес того времени, несколько ученически, но горделиво осваивавших свои акустические возможности — как бы оглядывавшихся во вновь открытом звуковом хозяйстве мира. Так, в «Развеянных следах» Ганса Роте намеренно растянутый диалог искусственно сопряжен с разнообразными житейскими ситуациями, дающими возможность опробовать у микрофона самые разные звуковые фоны (порт, вокзал, поезд, гостиница и т. д.), что напоминает стандартные уроки разговорников.

Эти незрелые опыты встречались тем не менее с пламенным энтузиазмом: неофитский пыл радиолубительства был в то время в полном разгаре. Простенький детектор с наушниками был предметом изумления и страсти; даже самые бесхитростные развлекательные программы собирали тогда слушателей не меньше, чем теперь репортажи финальных матчей чемпионата мира по футболу. Этот энтузиазм, мало подкрепленный, правда, профессиональными навыками, быстро наполнил рукописями рабочие столы устроителей первого конкурса радиопьесы в 1927 году: всего было прислано больше тысячи текстов, из которых жюри приняло к постановке только семь.

Инициатором конкурса был Бертольт Брехт, опубликовавший накануне открытое письмо к А. Брауну, в котором призывал к созданию серьезного репертуара радиопьес и даже прямо рекомендовал желательных авторов (делал он это в свойственной ему шутливой манере: «Великий эпик Альфред Деблин живет там-то и там-то...»). Один из основоположников социалистического реализма в Германии прекрасно сознавал, какие благодатные возможности открываются для пролетарского искусства на радио, обращающегося к самой широкой

аудитории. Именно под влиянием Брехта на рубеже 30-х годов пришли на радио Ф. Вольф, Р. Леонгард, Г. Вайзенборн и другие пролетарские писатели.

Большим событием явилась авторская радиопостановка по роману А. Деблнна «Берлин, Александерплац» (1929): сочный, колоритный язык персонажей этого романа как нельзя лучше пришелся на радио. Однако решающий успех этой работы коренился в другом: едва ли не впервые радиопьеса обрела здесь острую социально-критическую проблемность, с которой непременно связаны ее лучшие достижения последующих десятилетий.

Канун 30-х годов ознаменовался появлением еще нескольких значительных радиопьес, ставших вехами в развитии жанра. Две из них — «SOS... «Красин» спасает «Италию» Ф. Вольфа и «Мальмгрен» В. Э. Шефера были созданы на одном материале: в их основу легли события 1928 года, когда итальянский самолет, летевший на Северный полюс, потерпел катастрофу и остатки его экипажа были спасены советскими моряками. Оба автора по-разному подошли к своей теме: Шефера больше занимают психологические портреты людей в исключительной, трагедийной ситуации, Вольфа — пафос коллективизма и мужества, героика массового подвига.

«Дивизионный пункт связи» (1929) Эрнста Иогансона — первая немецкая радиопьеса, получившая международное признание. Ее часто сравнивали с вышедшим тогда же романом Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен». Картина безысходного трагизма человека, загнанного на кровавую бойню, складывается здесь, как и у Ремарка, из тщательно взвешенных, неброских, но выразительных деталей повседневной армейской жизни. Телефонные переговоры между отдельными подразделениями окруженной дивизии, ведущей ожесточенные, отчаянные бои, передают ощущение ритмичного и напряженного пульса войны. Разумеется, война изображена здесь без эпической широты, в одном, частном аспекте, очерчена как бы пунктиром, но это не внешний пунктир, возникающий, например, при воспроизведении военной статистики, а хоть и довольно узкое и, может быть, искаженное страхом, но зато по-человечески глубокое и потрясенное восприятие очевидца.

В том же 1929 году выступил со своей первой радиопьесой и Б. Брехт. Его «Полет через океан» был задуман как развернутая оратория, призванная прославить изобретательный человеческий гений, преобразующий природу с помощью техники. Роль летчика, который во время полета беседует со

стихиями, встречными кораблями, собственным самолетом и т. д., была поручена хору — чтобы подчеркнуть и утвердить пафос коллективного созидательного творчества.

Помимо названных авторов к жанру радиопьесы обратились в начале 30-х годов А. Броннен, А. Эренштейн, Э. Кестнер, Г. Казак, Э. Рейнахер, Г. Кессер (использовавший в своей радиопьесе «Сестра Гейриетта» (1929) изощренные приемы «потока сознания», позаимствованные из популярных в те годы книг Д. Джойса и А. Шницлера) и многие другие писатели. Горячая увлеченность творцов и слушателей радиопьесы была, казалось, надежным гарантом устойчивого развития и высокой жизнеспособности жанра в ближайшем будущем. Но 1933 год разрушил эти надежды. «Имперская палата», ведавшая культурой третьего рейха, приговорила радиопьесу к молчанию. Успешно складывавшийся жанр был отменен как «формалистический». За двенадцать лет фашистского господства в Германии не было поставлено ни одной радиопьесы, если не считать вульгарной рекламной и пропагандистской стряпни.

Многие внешние условия эмиграции, из которых главным было чужое языковое окружение, также не благоприятствовали развитию жанра. Тем не менее именно в период эмиграции Брехт создал свою лучшую радиопьесу «Допрос Лукулла», которая была передана в 1940 году по швейцарскому радио. В этой остро антифашистской философской радиобалладе, насчитывающей более двух десятков действующих лиц, не считая участников трех хоров — детей, зрителей и солдат, речь идет о загробном судилище, перед которым предстает римский полководец Лукулл по истечении отпущенного ему срока жизни, проведенной в пиррах и разбое. Военские добродетели Лукулла, которыми он кичился при жизни, на суде выглядят преступлениями. За Лукулла свидетельствуют лишь немногочисленные добрые дела — мелочи, о которых не помнил ни он, ни его сограждане, но которые сохранились в благодарной памяти людского сердца — ученых, которым он спас библиотеку, крестьян, которым он привез из похода диковинное дерево — вишню, собственного повара, искусство которого он умел ценить. Достаточно ли этих душевных движений, чтобы оправдать несправедливую жизнь Лукулла, предоставлено решать слушателю — радиопьеса кончается словами: «Суд удаляется на совещание. Приговор Лукуллу должна вынести совесть слушателя». В апелляции к ней Брехтом было достигнуто совершенно новое качество радиопьесы, которому суждено было сыграть решающую роль в ее становлении в послевоенные годы.

«Там, за дверью» Вольфганга Борхерта явилась первой послевоенной радиопьесой. Когда в феврале 1947 года на гамбургском радио состоялась премьера, прикованный к постели, смертельно больной автор не мог ее слышать — в квартале, в котором он жил, было выключено электричество. Но ее услышали многие его сверстники; воспринявшие «Там, за дверью» как исповедь поколения, ввергнутого в преступную войну,— поколения искромсанного и надломленного, но жадно стремящегося разобраться в смысле происшедшего, чтобы не повторять роковых ошибок. Вернувшийся с фронта калека Бекман с его страстным требованием ответа на вопросы истерзанной страданиями и сомнениями души быстро стал нарицательной фигурой. Пожалуй, ни одна радиопьеса ни до, ни после Борхертовой не звучала в эфире так часто, не вызывала столько горячих, проникновенных откликов, не подвергалась столь пристрастному обсуждению.

В. Борхерт писал «Там, за дверью» специально для радио. И многими своими качествами его произведение оказалось хорошо приспособленным к микрофону — прежде всего некоторой восходящей к экспрессионизму схематичностью образов — общих типов (Старик, Другой, Бог, Смерть, Эльба и т. п.), но также и исповедальной формой (частично пользующейся внутренним монологом), обращенностью к внутреннему сознанию человека «наедине с собой». В то же время чрезмерная экзатичность поэтики Борхерта требовала все-таки наглядности, мимики, жеста и — с другой стороны — массовой аудитории. Не случайно поэтому эта радиопьеса вскоре нашла путь на подмостки, снискав на театре не меньший успех, чем на радио.

Случаи успешного использования радиопьес на театре особенно участились в 50-е годы — в какой-то мере они могут свидетельствовать о признании нового жанра, которое окончательно состоялось в эти годы. «Филемон и Бавкида» Л. Альсена, «Берлинские Ромео и Джульетта» Г. Эльшлегеля, «Принцесса Турандот» В. Хильдесхаймера, «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта, «Бидерман и поджигатели» М. Фриша принадлежат к числу заметных явлений западногерманского и швейцарского театра 50-х годов, но увидели они свет рампы уже после того, как не однажды прозвучали в эфире.

В 50-е годы радиопьеса на немецком языке достигает расцвета. Популярность жанра привлекает к нему известных писателей — и в свою очередь поддерживается их участием в судьбе этого жанра. В 50-е годы, а точнее, в пятилетие с 1953 по 1958 год, создаются десятки разнообразных по художественному решению, остропроблемных радиопьес, до сих пор составляющих

костяк радиорепертуара в странах немецкого языка. Трудно назвать сколько-нибудь известное имя писателя в ФРГ, Швейцарии или Австрии, который остался бы в стороне от исканий и начинаний, связанных с новой музыкой. В «великое пятилетие» радиопьесы к ней обратились ведущие прозаики этих стран — Г. Бёль, Г. Грасс, З. Ленц, М. Вальзер, И. Айхингер, Г. Эйзенрейх, ведущие драматурги — М. Фриш, Ф. Дюрренматт, Ф. Хохвельдер, В. Хильдесхаймер, ведущие поэты — Г. Айх, И. Бахман, ведущие эссеисты — В. Йенс, Д. Веллерсхоф и другие. Именно на эти годы приходится большинство премий — в том числе и международных, — которыми были отмечены лучшие немецкие радиопьесы. В дальнейшем намечается некоторый спад, вызванный, по-видимому, усиливающейся конкуренцией телевидения, а также увлечением ряда ведущих мастеров жанра абсурдистскими и формалистическими экспериментами (Г. Айх, И. Айхингер, В. Хильдесхаймер), которым предаются также многие дебютанты, неустойчивые против вируса моды (Я. Линд, Э. Яндль, Ф. Майрёкер, П. Хандке и другие).

Тем приятнее отметить бурный подъем этого жанра в ГДР, где в последние годы усилиями Р. Шнейдера, Р. Мюллера, Ст. Хермлина, Б. Зеегера, Г. Рентцша, Б. Райман и других авторов осуществлены высокохудожественные радиопостановки, отмеченные пристальным вниманием к общественной проблематике первого в мире немецкого социалистического государства.

Логика становления немецкоязычной радиопьесы и определила состав настоящего сборника. Для первого с ней знакомства казалось целесообразным предпочесть хронологии — качество, вместо образцов поэтапного развития дать лучшие образцы радиорепертуара.

Живая жизнь любого жанра литературы и искусства всегда отбрасывает своеобразную тень в виде сухих теорий, стремящихся постичь свойства данного жанра и закономерности его изменений. Эту тень радиопьеса обрела, едва появившись на свет. Еще в 20-е годы ее специфику пытались выявить — и порой весьма проникательно — такие заинтересованные и авторитетные лица, как А. Деблин, Б. Брехт, Ф. Т. Чокор, Р. Леонгард. Однако их суждения во многом были вынужденно априорными — зачаточное состояние радиопьесы не давало возможностей для конкретно-доказательного разбора ее типологических черт. Вышедшие в начале 60-х годов капитальные труды и основательные статьи Г. Швицке, Ф. Книлли, Г. Хайссенбют-

теля, Г. Рентцша (ГДР) опирались уже на богатый практический опыт — хотя далеко не со всеми положениями этих теоретиков можно согласиться. Так, Г. Швицке, дав в своей книге «Радиопьеса» (1963) обстоятельный очерк истории немецкой радиопьесы, склонен все-таки несколько суживать ее жанровый диапазон, слишком явно выделяя одну только поэтическую радиопьесу. Г. Хайссенбюттель выступает за безудержное, в неоавангардистском вкусе, экспериментаторство — вроде изжитого у нас еще в 30-е годы «радионискусства»; — Ф. Книлли — и вовсе предлагает заменить радиопьесу «тотальной звукопьесой», представляющей собой — как явствует из практики одного из его последователей Пауля Пёртнера — своего рода звуковой поп-арт, хаотическую мешанину вырванных из реальной действительности или сошедших с электронных инструментов звуковых огрызков.

Особенность всякой вещи или явления обнаруживается в сравнении, в котором нередко заключено зерно соревнования, — что справедливо и применительно к жизни жанров. Прежде всего радиопьесе предстояло выявить свое собственное бытие в сравнении-соревновании с радиопостановкой пьесы, написанной для театра, и близкой к ней трансляцией театрального спектакля. Оба эти вида радиопередач обычно относят к «репродуктивным»; в последнее время «репродуктивные» функции все больше берет на себя телевидение, осваивающее в то же время и собственный художественный язык.

Исключительно богатая «жатва» возникшей и созревшей за минувшее пятидесятилетие немецкой радиопьесы позволяет делать достаточно широкие выводы о природе этого жанра. Однако вряд ли стоит механически переносить их на радиопьесу других стран, иногда (особенно в Японии или Англии) существенно отличную от немецкоязычной, на основе знакомства с которой строятся наши рассуждения.

Диалогичность — вот та общая почва, па которой зиждутся художественные построения обоих видов пьес — для радио и для театра. Однако на театре звучащее слово — лишь составная часть многообразной и единой художественной реальности, творимой помимо авторского текста выразительными средствами мимики, жеста, декорации, освещения, мизансцен. В совокупности всех этих средств, складывающихся в единый ансамбль и «играющих» только при напряженном внимании массовой аудитории, — подлинная стихия театра.

В радиопьесе из этой совокупности изымается одно-единственное средство — голос, становящийся основой художественного изображения. Причем голос не бесстрастно — или пристрастно —

комментирующий со стороны, как в эпосе, а живой, действующий, звучащий — субъект изображения. Правда, комментарий иногда имеет место и в радиопьесе, но зачастую воспринимается в ней как нечто инородное, вынужденное, идущее от неумения найти собственный жанровый язык. Он еще оправдан, пожалуй, когда ведется каким-либо действующим лицом, являясь средством характеристики этого лица: таковы, например, саморазоблачающие, иронически амбивалентные пояснения рассказчицы Елены в «Жертвоприношении Елены» Вольфганга Хильдесхаймера.

Многоцветное театральное действо словно бы трансформируется на радио в одноцветность графики. «Только» голос — это не меньше, это иное. Судить радиопьесе с точки зрения театра — все равно что здравым смыслом эпикурейца мерить ценность жизни аскета.

История искусства знает немало примеров того, как аскетическое ограничение художественных средств приводило к их интенсификации, к углублению и обогащению выразительности. Можно вспомнить расцвет средневековой деревянной скульптуры, последовавший после отказа от раскрашивания деревянных изваяний. Можно взять и более близкий пример — из области кинематографии. До сих пор ведутся споры о том, обогатило или обеднило кино использование звука. Не секрет, что звук явился в кино не только помощником, но и конкурентом изображения. Добиться гармоничного разрешения этого спора, избежав подстерегающих кино в каждом кадре опасностей натурализма, — вещь необычайно трудная, не всегда удающаяся. Во всяком случае, вряд ли случаен тот факт, что общепризнанно лучшим пока фильмом в истории кино остается немой «Броненосец «Потемкин».

Кстати, видимо, та же диалектика виной тому, что телепьесе, несмотря на бурное развитие телевидения, не удастся пока достичь художественного уровня зрелой радиопьесы. Телепьесе еще только предстоит найти свой язык, отличный от языка театра и радио. Возможно, что таким языком станет документальность, позволяющая максимально приблизиться к природе, не впадая в натурализм, — но это уже другая, хоть и смежная тема.

Чем же достигается особая художественная интенсивность радиопьесы? Сравнительно с эпическим произведением — тем, что эстетическое качество возникает непосредственно при слуховом восприятии из произнесенного слова, звуков окружающего мира, музыки, реализующих свой образный заряд в тот короткий момент, когда они наполняют эфир; в то время как при

чтении восприятию поставлен естественный предел — ограниченная скорость чтения глазами, этими «немыми всадниками чтения», как назвал их Деблин. Зрелая, высокохудожественная радиопьеса как бы позволяет вернуться к догутенберговым временам, становится основой своеобразного возрождения искусства рапсодов и бардов, мастеров устного творчества, получивших благодаря магнитофону те козыри в споре со временем, которыми до сих пор располагала только печатная литература. Писателю отныне не обязательно «зашифровывать» живую жизнь с помощью букв — чтобы читатели потом «расшифровывали» ее в своем воображении. Радиопьеса дает возможность наполовину сократить всю операцию, непосредственно приобщая слушателя к миру мыслей и чувств автора, как они выражаются в слове. «Писатель», по словам Деблина, может с помощью радио вновь стать «сказителем».

Сложнее увидеть большую художественную интенсивность радиопьесы сравнительно с театром. Ведь там художественная информация не зашифрована в букве, но, являясь в произносимом слове так же непосредственно, как в радиопьесе, еще подкрепляется множеством других выразительных средств. Театральный спектакль начинается с того, что мы видим фигуры людей в определенных костюмах, данных на определенном фоне, и уже из одного этого — часто раньше, чем произнесено первое слово, — заключаем об эпохе, в которую происходит действие, о возрасте, социальной принадлежности, иногда отношениях героев и т. д. Преимущество радиопьесы здесь не в скорости восприятия, а в быстроте и полноте нашей идентификации с героями, с эстетическим объектом. На радио нет момента «рампы», преодоления дистанции. Слушатель максимально приближен к действующим лицам, он словно находится среди них. «Сцена» радиопьесы — не в аппаратной, не в колеблющемся эфире, не в приемнике, хотя без всех этих атрибутов радиопьеса не существует. Она — в сознании слушателя, в его фантазии, воображении. Место действия радиопьесы — поистине человеческая душа, в которой нет и не может быть «справа» и «слева», которая неподвластна законам Эвклидовой геометрии. Отсюда такое обилие пространственных «скачков» в немецкой радиопьесе (Г. Айх, Ст. Хермлих, В. Хильдесхаймер и многие другие), соединительным мостом для которых служит, как правило, ассоциация.

Так же произвольно обращается радиопьеса и со временем. Открытое современным искусством — и подтвержденное современной физикой — положение об относительности времени стало ее неписанным правилом. Время ведь в нашем восприятии то насы-

щается богатым эмоциональным содержанием, то «пустует», заполненное одной монотонной скукой,— то сгущается, то разряжается. Эти неровности, находящиеся в полном несоответствии с равномерной внешней хронологией, и предопределяют временной монтаж, совершаемый активным художественным сознанием по принципу ассоциации и во имя «уплотнения» художественного смысла.

Поэтому-то в суждениях теоретиков и критиков о радиопьесе так часто встречается одна и та же ссылка на дневниковую запись Роберта Музиля, в которой австрийский писатель, указывая на связь времени с внутренними душевно-духовными процессами, набрасывал план «вневременной» драмы, которая «в известном смысле исключила бы время из игры, позволила бы совершать скачки во времени вперед и назад, осуществила бы новый, не хронологический, но ассоциативный способ организации художественного материала».

Этот план был потом не единожды реализован в радиопьесе — особенно поэтической, насыщенной развернутыми метафорами (Г. Айх, И. Бахман, Ст. Хермли и другие). В радиопьесах этих авторов временной монтаж осуществляется с виртуозной тонкостью. Он редко строится с помощью «шумов», звукового фона — такой монтаж обычно бывает слишком назойлив и прямолинеен. Гораздо удачнее монтаж, осуществляемый с помощью слова, вызывающего цепную реакцию ассоциации, которая позволяет преодолеть временную и пространственную дистанцию. На таких словах-ассоциациях построены обычно многочисленные переходы в пьесах Гюнтера Айха, в которых человек постоянно находится в поисках человечности, в смене путей, различных жизненных ролей, в экспериментировании с возможностями, выбирая между которыми, он выбирает мир, то есть вырабатывает свою концепцию мира. В эффективности этого приема можно убедиться, сравнив, например, «Девушек из Витербо» Г. Айха с «Рип ван Винклем» М. Фриша, который ту же тему решает, в сущности, привычными ему театральными средствами, извлекая из них акустические способы характеристики пространства и времени (шум паровоза, объявления по радио на аэродроме и т. д.).

О том, насколько умело организованный монтаж способен «уплотнить» и «сгустить» художественную информацию в радиопьесе, свидетельствует «Скарданелли» (1970) Стефана Хермлина. Постоянная смена точек зрения позволяет в немногих емких деталях всесторонне раскрыть сложный образ Гельдерлина, к двухсотлетию со дня рождения которого была приурочена эта радиопьеса. Трагическая судьба великого немецкого поэта,

кончившего свой век в духовном затмении, наступившем после долгих лет одиночества и разлада со своим временем, проследживается на самых различных уровнях, дается в восприятии разных лиц: однокашников — Гегеля и Шеллинга, друзей — писателя Вайблингера и политика Синклера, возлюбленной Сюжетты Гонтар, матери, трогательно заботящейся о своем непутевом чаде, столяра Циммера, в доме которого он живет, Гёте и Шиллера, проглядевших в нем подлинного гения, высокомерных и озлобленных представителей власти, бдительных доносчиков, вельмож, своих воспитанников и т. д. Множественность точек зрения, сцепление которых воспроизводит характерную для той эпохи сеть общественных связей и тонко передает «шум» того времени, скрепляется фигурой Гельдерлина, придающей всему произведению законченность и единство. В том, как используется монтаж в этой пьесе (и как он используется Айхом и многими другими радиодраматургами), намечается типологическое сближение с эстетикой романтизма, с его тягой к одновременности разных планов, сопряжению разных временных и пространственных плоскостей, «игре» ими.

В радиопьесе невозможен эффект молчаливого появления нового, неожиданного героя. «Входы» и «выходы» в ней либо нарочито «обставляются», — на них обращается внимание наличных действующих лиц, или, как в «Скарданелли», они становятся ясными из смыслового контекста, подготавливаются ассоциативным ходом, — либо по возможности избегаются совсем. Поэтому в радиопьесе так часто обыгрывается — с многочисленными вариациями — одна и та же ситуация отъединенности, изолированности: действие происходит то на заваленной шахте, то в убежище, то в тюремной камере, то в семейной спальне или случайной комнате, приютившей бездомных любовников. При этом специфика радиопьесы требует особой лаконичности и экономности в характеристике действующих лиц, зачастую вынуждает автора обходиться минимумом героев. Так, сходная в общем ситуация в пьесах «Девушки из Витербо» (1953) Гюнтера Айха и «Время невиновных» (1960) Зигфрида Ленца — речь и там и тут идет о людях, принужденных обстоятельствами к заточению, — производит неодинаковый художественный эффект именно потому, что оба автора в разной степени учитывают специфику жанра.

Сюжетную основу притчи Ленца составляет жестокий эксперимент, который устроил некий диктатор над подвластными ему гражданами: отобрав девять из них — все люди, что называется, безупречной репутации, добропорядочные обыватели —

оп помещает их в камеру вместе с террористом, отказывающимся выдать своих товарищей, и грозит продержат их там до тех пор, пока они — любым способом — не вырвут признание у злосчастного соседа. Дело кончается убийством, причем так и неясно, кто убил — инженер, шофер, крестьянин, студент, барон, служащий банка, хозяин отеля, типографский рабочий или врач. Понятен замысел столь широкого социального охвата — автору хочется пронять обывателя на всех ступенях иерархической лестницы современного западного общества. Но на слух отдельные оттенки социальной дифференциации улавливаются с трудом, избыточность равновеликих героев, находящихся в одной акустической плоскости (в «Скарданелли» герои находятся в разных акустических плоскостях и автор умело переключает действие из одной в другую), мешает восприятию, во всяком случае тормозит его. Радиопьеса Ленца ничего не потеряла бы, превратившись, например, в телефьесу — изображение в этом случае лишь укрепило бы расплывающийся, аморфный звукообраз.

В радиопьесе Г. Айха в добровольном заточении находятся двое — дедушка и внучка, которые в течение нескольких лет прячутся от гестапо в одной из берлинских квартир. Айх избирает такой ракурс в передаче этой ситуации, что она мгновенно становится до конца понятной и до боли близкой слушателю. Радиопьеса начинается тревожным шепотом, которым девушка просит своего деда проснуться и прислушаться к шагам на лестнице. Одной-двух реплик оказывается достаточно, чтобы сообщить слушателю максимум информации: количество действующих лиц, их родственные отношения, их эмоциональное состояние — одиночества, затаенности, страха. Потом эта мгновенно возникшая в нашем воображении картина дорисовывается метафорой: Габриэла говорит дедушке, что на обоях в их комнате триста шестьдесят пять полосок, и заявляет: «Я в это не верю. В то, что в году триста шестьдесят пять дней... В году триста шестьдесят пять полосок». Метафора замыкает образ, окончательно дорисовывает настроение безысходности, застоявшегося страха, переросшего в скуку, настроение медленно убивающей тоски по естественной жизни. Затем метафора проясняется конкретизацией во времени и пространстве: опять-таки из немногословных реплик выясняется, что действие происходит в Берлине в октябре 1943 года. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы слушатель сам оказался на месте героев, чтобы ему передалось их настроение.

Конечно, такой ракурс позволяет дать лишь один аспект мира — отражение его в индивидуальном сознании. Чаще всего имен-

но так — отраженно — изображаются здесь широкие социальные процессы. Радиопьеса может быть глубокой, но она очень часто узка в изображении значительных общественных явлений. В этом смысле «Девушки из Витербо» значительно уступают, скажем, «Лютеру» Дж. Осборна. Но зато и театр при всей его широте и многообразии не может до конца решить задачи радиопьесы.

Театр не может в такой мере, как радиопьеса, и з н у т р и показать вхождение общественной морали в индивидуальное сознание, те сложные и тонкие реакции, которые в этом сознании возникают под воздействием проникающих в него элементов общественной идеологии. В радиопьесе эти реакции оголены, даны в чистом виде — непосредственно воспроизводятся в фантазии слушателя, в меру своей восприимчивости следующего за фантазией автора.

Для современной психологии давно не секрет, что один и тот же человек наедине с собой отнюдь не равен тому же человеку в массе. В частности, известно, что одиночка гораздо устойчивее против целого ряда манипуляций, которые могут привести толпу к массовому психозу. Театр всегда имеет дело с массой, то есть с человеком в массе. Радиопьеса — с человеком наедине с собой, своей совестью, сознанием. (В связи с характеристикой этой особенности радио Г. Швицке в упоминавшейся книге приводит малодоказательное, конечно, но любопытное историческое свидетельство о том, что Гитлер, умевший заразить толпу своей истеричностью и поэтому любивший массовые собрания, избегал выступать по радио — когда нельзя было пригвоздить человека взглядом, воздействовать на него отчаянно свирепым видом, заморозить рассчитанной эффектностью жестов и т. д.)

В чем же привлекательность радиопьесы? Видимо, в заведомой антинатуралистичности этого жанра. Радиопьеса активизирует творческие силы нашего сознания, не навязывая ему готовых, конечных представлений. А как раз эта назойливая уверенность в своем конечном всезнании так возмущает нас в натурализме, пытающемся выдать статику мира за весь образ мира целиком — словно бы в нем нет и динамики развития скрытых и порой неожиданных, нерасчисленных возможностей — всего того, что составляет тайну и вечную прелесть живой жизни и подлинного искусства.

Неизбежный, кажется, налет такой натуралистичности так смущает нас во всякой, даже удачной экранизации. Как бы ни были хороши Пол Скофилд или Иннокентий Смоктуновский в роли Гамлета, мы никогда не согласимся, что это и есть тот

самый Гамлет, который с ранних лет был спутником наших раздумий о себе и мире, который мужал и рос вместе с нами и давно стал составной нашей частью — изменчивой, неуловимой, невыявляемой до конца, во всяком случае, несводимой к такой грубой конкретности, как с фотографической четкостью фиксированный портрет экранного героя.

Обаяние радиопьесы как раз в том, что она ничего нам не навязывает, не посягает на тайники нашей души, нашу «самость», но всегда оставляет возможность множественных толкований, неодинаковых, вариантных решений образа, возникающего в творческом сознании каждого отдельного слушателя. Образ в лишенной наглядности радиопьесе заведомо неоднозначен; каждый — до известных пределов, а вернее, на столь обаятельное в искусстве «чуть-чуть» — волен конструировать его на основе собственного жизненного и эстетического опыта. Есть какая-то манящая тайна в этом не связанном с определенной зримой реальностью, неовещественном голосе. Сколько изображений может прикрепиться в нашем сознании к голосу, источник которого от нас скрыт, — «сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела!» — как восклицал на заре века один из русских поэтов о телефоне¹.

Тут важно оговориться: предмет радиопьесы — вовсе не субъективная «игра» индивидуального сознания, напротив, все опыты в этом плане абсолютно неинтересны. Полувековой опыт немецкоязычной радиопьесы показал, что успех имеют глубоко проблемные произведения, в которых речь идет об общественно значимых ценностях, — причем конструируются они в наиболее общей, подчас даже оголенно схематичной форме. Достаточно обратиться к наиболее значительным радиопьесам, чтобы убедиться, что в них затронуты глубокие общественные проблемы; причем их художественное решение представляет собой, как правило, некую типовую конструкцию, каркас. Но этот каркас лишен на радио конкретной осязаемости и жесткой непререкаемости — сознание слушателя неизбежно «оку-

¹ Правда, эти «сладостные гармонии» может вмиг рассеять любая фальшь в актерском исполнении, плохая «игра». К тому же голос есть все-таки физическая реальность, которая может не соответствовать реальности, воплощаемой в голосе, то есть создаваемому образу. Эти несоответствия абсолютно исключены только в чтении, в котором нам дается и такое важное преимущество, как возможность вернуться к заинтересовавшему нас месту произведения — при сохранении той же полноты идентификации с героями, приближения к их «точке зрения».

тывает» его живой плотью, творимой «из себя», на основе личного опыта. Природа радиопьесы, таким образом, наиболее выигрышна для изображения того, как «предмет сечет предмет» — как общественная мораль и идеология «секут» сопротивляющееся им или подчиняющееся им индивидуальное сознание.

Строительным материалом радиопьесы являются акустические свойства мира, и прежде всего слово. В идеале радиопьеса должна достигать своей художественной цели, основываясь на собственной точке зрения,— если воспользоваться этим термином.

Лучшие пьесы для радио Г. Бёля, Г. Айха, И. Айхингер, Г. Эйзенрейха, Ф. Хёршельмана, Ст. Хермлина вполне соответствуют этой задаче. Ни в коем случае, однако, нельзя сбрасывать со счета и те опыты «союза» радиопьесы с другими, до нее существовавшими формами искусства, в которых доминирует лирический (И. Бахман), драматический (М. Фриш, З. Ленц), эпический (В. Хильдесхаймер) или лиро-эпический (Б. Брехт, Р. Шнейдер) строй. Не редкость в немецкоязычной радиопьесе и озвученный внутренний монолог («Минотавр» Д. Веллерсхофа и др.), и радиорассказ с диалогизацией отдельных эпизодов (В. Йенс), и радиобаллада (Г. Фрич), и радиофарс (Ф. Дюрренматт). Столь многообразные идейно-стилистические оттенки радиопьесы в такой же мере свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития жанра, как и глубина разрабатываемой этим жанром проблематики.

Особенная точка зрения радиопьесы — не навязанная и закрепленная, как на театре, а подвижная, оставляющая слушателю возможность незатрудненной и мгновенной идентификации с героями, поскольку место действия размещается в собственном воображении слушателя,— позволяет, как уже говорилось, всего лучше рассмотреть те реакции в индивидуальном сознании, которые возникают в нем при вхождении элементов общественной идеологии, сознательно формирующих или деформирующих личность. И здесь уже следует говорить о существенной разнице художественных усилий радиодраматургов ГДР и буржуазных немецкоязычных стран — ФРГ, Австрии и Швейцарии.

Р. Шнейдер, Р. Мюллер, Г. Рентцш, Б. Райман и другие представители социалистического реализма стремятся к тому, чтобы показать позитивные возможности взаимодействия индивидуального сознания и прогрессивной общественной идеологии, формирующих его на разумных и человеческих началах.

Прогрессивные радиодраматурги Запада противостоят в своих пьесах деформации человека, проводимой под флагом технизма и рационализации.

Тем самым радиодраматургия включилась в общую борьбу прогрессивного искусства западных стран с присущими развитому империализму тенденциями к стандартизации всех жизненных процессов на основе технической рационализации, к попытке свести человека до уровня простого функционального устройства, лишённого неповторимой индивидуальности. Эти тенденции, выраженные на философском языке в емкой формуле «отчуждения», достигли своего апогея при фашизме. Антифашизм, взятый в этом аспекте, становится, таким образом, крайним выражением борьбы с болезнетворными и губительными для человеческой личности проявлениями современного буржуазного общества — «массового», как его иногда называют, общества нивелированных и полых индивидов, постоянно одурманиваемых рекламой, серийной художественной продукцией, пропагандистскими манипуляциями.

Непримиримый и гневный антифашизм был завещан немецкой радиопьесе зачинателем ее послевоенного периода В. Борхертом. Радиопьеса «Там, за дверью» проникнута острой ненавистью к темным силам, толкнувшим Германию к тягчайшим преступлениям, на какие только способно оснащенное современной техникой государство.

В 50-е годы, в пору наивысших достижений радиопьесы, антифашистская тема была подхвачена и развита Г. Бёлем в «Мосте у Берцабы», Г. Айхом в «Девушках из Витербо», В. Хильдесхаймером в остроумной, блестящей юмором и афористикой радиокomedии «Жертвоприношение Елены», Р. Шнейдером в «Третьем крестовом походе» (1960) и многими другими авторами.

Бесспорное первенство по числу постановок принадлежит антифашистской радиопьесе Фреда фон Хёршельмана «Корабль «Эсперанца» (1953). Такой популярностью она обязана как чрезвычайно напряженному и динамичному сюжету, так и той остроте, с которой в ней поставлена проблема вины и ответственности за злодеяния недавнего прошлого, самой разрушительной мировой бойни. Притчеобразная форма пьесы позволяет проецировать ее действие не только в прошлое, но и в настоящее: ее идейный пафос направлен не только против фашизма, но и против реваншистских и милитаристских настроений в Западной Германии в период «экономического чуда».

Радиопьеса Хёршельмана отмечена большой чуткостью к специфике жанра, соразмерностью и лаконизмом тщательно отобранных акустических деталей, которые последовательно нагнетают

напряжение в действии, разрешающемся трагической развязкой — гибелью юного матроса Акселя Грова, которому пришлось жизнью заплатить за грязные махинации своего отца. Большая смысловая емкость отдельных деталей делает их едва ли не символами, соподчиненность и взаимосвязь которых и придает всей притче глубинную многозначность и образную устойчивость.

Капитан Гров контрабандой провозит на своей «Эсперанце» беспаспортных босяков из Европы в Америку, чтобы у ее берегов выбросить их, как ненужный миру хлам, прямо в разверстую пасть океана; этот прожженный циник с веронсповеданием пирата, с вульгарно зоологической жизненной философией («Каждый стремится сожрать каждого, но выживает более крепкий», «Мы плаваем в дерьме и выкарабкиваемся наверх, чтобы не задохнуться и не утонуть, а не испачкавшись, выкарабкаться невозможно» и т. д.), — конечно же, типичный фашистский философ солдафонства и практик оголтелой, нерассуждающей борьбы с «врагами отечества». Для него все люди — враги, а настоящая жизнь — упоение убийством. Целым рядом деталей он вполне реально вписывается в историю «отечества», за которое сражался: в конце 30-х отбыл в длительную «командировку», воевал, был осужден за преступления, но вскоре реабилитирован, стал пайщиком судовладельческой компании, тоскуя о былых временах и пропивая барыши, полученные с махинаций, — путь, вполне характерный для западногерманского бюргера.

Его сын Аксель — из тех, кто видел «оборотную сторону» войны: бездомность, голод, бомбежки. Аксель далек от хищнических взглядов отца. Невольные узники трюма «Эсперанцы» для него не отбросы и мусор, а несчастные, исковерканные жестокой жизнью люди, к которым он проникнут искренним состраданием. В этом конфликте отца и сына обозначена судьба двух поколений немцев — «наставников» и «воспитанников». Аксель, не желая оставаться вместе с разоблаченным отцом, подменяет одного из трюмных пассажиров и гибнет с ними. В его гибели выражена самопожирательная сущность фашизма, его историческая бесперспективность, бесплодность.

Мастерски сделан финал этой пьесы. Усыпляющие бдительность капитана удары киркой, трагическим лейтмотивом вписывающиеся в напряженную атмосферу финала, воспринимаются как символ обманчивого самоуспокоения, которым спешит утешиться преступная совесть хладнокровного убийцы.

Чуть позже, когда в голове капитана зарождается и крепнет ужасная догадка — что он стал палачом собственного сына, — эти

удары киркой сливаются с ударами его сердца, сначала тревожными и болезненными, потом мощными и отчаянными, как набат. Легко можно представить себе, какой огромной экспрессивной силой обладает в этой сцене акустика.

Ночь, в которую совершилось преступление, сменяется — опять-таки символически — рассветом. Наблюдает и с радостной надеждой приветствует его один из обитателей трюма, спасенный Акселем Мегерлин. В его серенькой, уныло монотонной жизни банковского служащего было мало радостей — говоря точнее, стаканчик вина по воскресеньям эти радости полностью исчерпывал. И вот однажды он — подобно героям Камю, Фриша, Осборна, подобно героям многих и многих других современных западных авторов — «взбунтовался», решил сменить «роль», поменять «маску» и, как многие отверженные, потянулся в «сказочную» Америку. Но уже в дороге Мегерлин вдруг с последней ясностью осознал: Америка с ее властным требованием стандартизации и нивелировки («Главное в их жизни — не выделяться! Какое-то время все носят соломенные шляпы — носи и ты, переходят на фетровые — переходи вместе со всеми» и т. д.) — не спасение, а окончательное закабаление золотым тельцом, окончательная и бесповоротная гибель. На образе Америки у Хёршельмана, таким образом, ответ той символической безличной машинности и всепожирающего чистогана, который закрепился за ней в западноевропейской литературе со времен «Америки» Кафки и который стабильно возникает и в современной радиопьесе («Пуговицы» И. Айхингер, «Добрый бог Манхэттена» И. Бахман и др.).

Разрушение личности под нажимом бездушного анонимного штампа, укорененного в самой природе капиталистических отношений, бунт человека против машины и сопротивление живой жизни бездушной рационализации — эта тема становится ведущей в 50-е годы. Она постоянна, например, в творчестве известных швейцарских драматургов Ф. Дюрренматта и М. Фриша, много и успешно работавших в эти годы для радио. В «Страницком и Национальном герое» (1952), в «Геркулесе и Авгиевых конюшнях», в «Процессе из-за тени осла» и других своих радиопьесах Ф. Дюрренматт берет под сатирический обстрел все тот же обывательский мир и те же пороки бюрократическо-олигархического государства, с которыми он ведет нелицеприятный расчет и в своих едких комедиях, созданных для театра. Верен себе, своей теме и своей художественной манере и его не менее именитый земляк, — прослушав или прочитав даже небольшую часть «Рип ван Винкля» (1953), можно с уверенностью ска-

зять: «Типичный Фриш!», как говорят о полотнах художников с ярко выраженной индивидуальной манерой. Сосредоточивший все свое художественное внимание на феномене отчуждения в современном западном мире, М. Фриш пристально и неотрывно всматривается в фигуру носителя и жертвы этого отчуждения: его романы и пьесы полнятся всевозможными перекрещенцами и людьми, отрешивающимися от себя. Его герои — как Дон-Жуан, граф Эдерланд или Штиллер — яростно отбиваются — то шпагой, то топором, то кулаком — от сети определений и предписаний, которую набрасывает на них общественное мнение, диктующее им определенный, выгодный властью имущим образ мышления и жизни. Отрешивающийся от себя знаменитый скульптор Анатолий Вадель в радиопьесе «Рип ван Винкль» — в этом смысле типичный фришевский герой; многочисленными деталями своей биографии и даже именем он напоминает Штиллера из одноименного романа.

«Сведи к необходимости всю жизнь — и человек сравнивается с животным», — говорил у Шекспира пронзительный король Лир. Буржуазное общество новейшей формации идет дальше — оно сводит человека к вещи, или, по словам Маркса, превращает его в товар. В «Пуговицах» Ильзе Айхингер показала, какого художественного эффекта можно достичь при наивно-буквальном восприятии этой метафоры.

Пьеса Айхингер «бессловесна», то есть ее словесная ткань — самый обыденный, житейский диалог — максимально проста и ничем не расцвечена. Эта особенность еще резче подчеркивает напряженное развитие гротескной ситуации, составляющей внутреннюю пружину действия.

Выразительную метафору, легшую в основу этого произведения невозможно реализовать в наглядном образе — на театре или на экране. Очевидно, что она может существовать лишь в воображении, питаемом либо чтением, либо восприятием на слух, при котором в полную силу используются акустические компоненты образа — в данном случае живая непринужденность разговора и контрастирующий с ней зловещный треск за стеной, вырастающий до символа, углубляющий общую картину разрушения человека.

Анн увольняется, несмотря на угрозы администрации и отсутствие твердых жизненных перспектив. В ее решимости во что бы то ни стало оставаться человеком проглядывает надежда на жизнестойкость неукротимого человеческого духа, на возможность сопротивления и победы, выраженную в одной из радиопьес Г. Айха афористичным призывом: «Будьте песком, а не маслом в механизме мира!»

Подобным же образом надежда на человека окрашивает финал другой известной радиопьесы — «Чем мы живем и от чего мы умираем» австрийца Герберта Эйзенрейха, получившего в 1957 году за этот свой труд международную Итальянскую премию.

Пьеса Эйзенрейха очень радиофонична: удивительно точная мера в отборе акустических средств сочетается в ней с их богатым разнообразием. Старинное правило поэтики «часть вместо целого» выглядит здесь в характерном именно для радиопьесы виде: интимно-камерная, казалось бы, ситуация — разговор по душам двух супругов — изнутри вскрывает глубинные социальные процессы, изнутри показывает ту деформацию, которой подвержена человеческая личность за Западе под воздействием различных фетишей, ловко навязываемых буржуазной пропагандой индивидуальному сознанию.

Лихорадочная погоня за материальным успехом, за преуспеянием, неумный приобретательский азарт — все это целиком поглотило героя пьесы, специалиста по рекламе Феликса Хильдебранда, так что он и не заметил, как превратился в «придаток машины», в «простую функцию хозяйства», в робот. Временной монтаж хорошо показывает неуклонность этого превращения. С течением лет, отданных накопительству и приобретательству, увяли и засохли душевные силы его жены: ведь ни шикарная квартира, ни холодильник или телевизор лучшей марки, ни другие эрзацы счастья, за которые в буржуазном «раю» покупают человека, не способны заменить того, чем жив человек, — творческого отношения к жизни, свободного и всестороннего раскрытия своих возможностей.

Не случайно Эйзенрейх (как и Бёль в радиопьесах «На чашке чая у доктора Борзига» и «Концерт для четырех голосов» (1964) избирает художественной моделью для своих размышлений о судьбах личности в современном мире наживы деятеля рекламы — это позволяет проникнуть в святая святых общественного уклада, основанного на «душевной машинерии» и «массовом безумии», которое неизбежно устанавливается при всеобщей погоне за удовлетворением непрерывно растущих и уже искусственно создаваемых потребностей. Механика оболванивания в этом мире проста: нужно только «поощрять в человеке неандертальца», с помощью радио, газет, телевидения, других средств массовой информации и продуктов «массовой культуры» разжигать в человеке вульгарные страсти, игнорируя и дискредитируя подлинную духовную культуру и развитый интеллект. Как автор рекламных лозунгов и плакатов Феликс прекрасно понимает, в чем состоит «искусство созда-

ция общественного мнения», но, посмеиваясь над доверчивой толпой, он не замечает, как сам становится носителем навязанной ей идеологии, не замечает, как дух мира, символом которого стала реклама, калечит и его душу, постепенно умирающую в нескончаемой гонке за призрачными ценностями.

«Избыток удобств жизни уничтожает все счастье удовлетворения потребностей» — эту высказанную Толстым в «Войне и мире» мысль можно было бы взять эпиграфом к радиопьесе Эйзенрейха, как и ко многим другим пьесам для радио Бёля, Ленца, Веллерсхофа, Фриша, Бахман, Айхингер, Йенса, Айха и многих других западногерманских, австрийских и швейцарских прогрессивных писателей, противостоящих своим искусством комфортабельному рабству, которое навязывает человеку современное западное общество.

Ю. Архипов

Стефан ХЕРМЛИН

Скарданелли

Голоса:

ВАЙБЛИНГЕР
ЦИММЕР
ГЕЛЬДЕРЛИН
БЕТТИНА ФОН АРНИМ
ЛУИЗА НАСТ
ГЕРЦОГ ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ
ШИЛЛЕР
ГЕТЕ
АНРИ ГОНТАР
СЮЗЕТТА ГОНТАР
ГЕНЕРАЛ ЖУРДАН
НЕЙФЕР
СИНКЛЕР
БЛАНКЕНШТЕЙН
КУРФЮРСТ ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ
ЛАНДГРАФИНЯ ГОМБУРГСКАЯ
МАТУШКА ГОК
КАРЛ ГОК
ДРУГИЕ ГОЛОСА

Шум реки. Вдали скрип повозки. Приближающиеся шаги.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Это там, наверху?

Окно захлопывается.

ВАЙБЛИНГЕР. Да, там.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Прелестное место. Под ивой.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Но где б я ни был, в сердце верном храню всегда мой Неккар в окружении ив...

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. С видом на Пинд и Геликон.

ГОЛОС ВТОРОЙ. А дом чей?

ВАЙБЛИНГЕР. Столяра Циммера. Человек он зажиточный, к тому же образован, читает современных философов и поэтов.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Стало быть, он здесь. Давно ли?

ВАЙБЛИНГЕР. Около двадцати лет.

ГОЛОС ВТОРОЙ. И, должно быть, надолго. В этой башенке рядом с речной пристанью, вблизи семинарии, где в былые времена он учился вместе с Гегелем и Шеллингом. Он знает об этом?

ВАЙБЛИНГЕР. Кто знает, знает ли...

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Значит, здесь... Чем же он занимается?

Скрип повозки ближе. Кричит петух.

ВАЙБЛИНГЕР. День его донельзя прост. Летом, когда он особенно измучен и встревожен, он встает опозаранку, а то и вовсе бродит по дому всю ночь. Утром гуляет в Цвингере.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Это небольшой сад между оградой и домом.

ВАЙБЛИНГЕР. Прогулка длится иногда часов пять. До полной усталости. Гуляя, он то водит носовым платком по изгороди, то сплетает венки из травы и цветов — вот и все его развлечения. Что ни попадает под руку — железка или кусок кожи, — он все прячет в карман. Непрестанно разговаривает сам с собой, спросит себя о чем-то и тут же отвечает — то да, то нет, подчас и то и другое. Нет — его любимое слово...

ЦИММЕР. На днях я повел его в город, он не выходил за ворота с тех самых пор, когда мой отец брал его с собой в сад собирать сливы, он еще все смеялся, когда дерево трясли и сливы падали ему прямо на голову. На обратном пути встретился нам профессор Конц и назвал его господином магистром. Три дня спустя он вдруг взбеленился и стал кричать, что он не магистр, а княжеский библиотекарь. Теперь он опять успокоился.

ВАЙБЛИНГЕР. Из его комнаты доносится бормотание, можно подумать, что у него кто-то есть. Однако столяр говорит:

ЦИММЕР. Входите. Он говорит сам с собой — и так с утра до ночи.

Слышно, как открывается дверь.

ВАЙБЛИНГЕР (*негромко, с расстановкой поясняет*). Сильно исхудал. Бесконечно раскланивается. Его обхождение было бы даже приятным, когда б не судорога. Высокий, отягощенный раздумьями лоб. Взгляд ласков, но тускл. На лице следы болезни: на щеках, на носу, под глазами. Заметны конвульсии. (*Вслух, громко.*)! Господин библиотекарь...

ГЕЛЬДЕРЛИН. Соблаговолите же подойти поближе, ваше святейшество... Ваше величество... Господин барон... Досточтимый господин...

ВАЙБЛИНГЕР. Господин библиотекарь Гельдерлин...

ГЕЛЬДЕРЛИН. Меня теперь зовут иначе.

ВАЙБЛИНГЕР. К нему, надо сказать, ходят часто. Устрашающее любопытство. Любопытствующий страх. Долго у него не задерживаются, он быстро наскучивает. Он вежлив с посетителями, хотя принимает их неохотно.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Господин библиотекарь, я буду несказанно счастлив, если вы напишете мне на память несколько ваших строф.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Как прикажете, ваше святейшество. Вам о чем — о Греции, о весне, о духе времени?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ (*шепотом*). О духе времени!

ГОЛОС ВТОРОЙ. О духе времени, если не трудно.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Сию минуту. (*Скандирует под скрип пера.*)

Для жизни входят в мир людские поколения.

Как вечен бег времён и к овету их стремленье,

Как дней круговорот в пространстве бесконечен.

Так истина вечна, так мир подлунный вечен;

От века в нем живет к высокому стремленье,

И доле той верны людские поколения¹.

24 мая 1748 года. С верноподданническими чувствами.

Скарданелли.

Дверь закрывается.

БЕТТИНА. Синклер читал мне его стихи, о, как божественна речь! Он был с ней дружен. Синклер показал мне «Эдипа», которого Гельдерлин перевел с греческого, он говорит, никто не понимает эту вещь или понимают ее так дурно, что в самой речи усматривают следы сумасшествия. Бедные немцы! Они даже не подозревают, какие сокровища таит в себе их язык.

¹ Здесь и далее в пьесе стихи Гельдерлина в переводе А. Карельского.

ГЕЛЬДЕРЛИН.

Горе! Горе! Увы! О несчастье мое!
О, куда ж я бедою своей заведен
И куда мой уносится голос?
Ты привел меня, Рок мой, куда?

Смех.

ГОЛОС ТРЕТИЙ (*хихикая*). Полупомешанный Гельдерлин кропает переводы Пиндара.

ГЕЛЬДЕРЛИН. О туча мрака!..
Я ужасом объят невыразимым,
Несет меня необоримый вихрь!
О горе мне! ¹

Шиканье.

ГОЛОС ЧЕТВЕРТЫЙ. Да и греческого-то он не знает.

ГЕЛЬДЕРЛИН. О, изгони меня из той страны, где не с кем слово дружеское молвить.

ВАЙБЛИНГЕР. Я привез с собой книги, думая обрадовать его Гомером. Но он даже не принял привезенный мною перевод — боится лишних волнений.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Что же он читает?

ВАЙБЛИНГЕР. Клопштока, Глейма, Кронека.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. А свое?

ВАЙБЛИНГЕР. Часто вслух «Гипериона». Но больше ничего.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. А стихи?

ВАЙБЛИНГЕР. Никогда.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Так оказался я среди немцев...

ВАЙБЛИНГЕР. Добрые вести, господин библиотекарь: «Гиперион» вышел новым изданием.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Вы чрезмерно добры ко мне, господин Вайблнгер.

ВАЙБЛИНГЕР. Я много раз говорил ему, что «Гиперион» вышел новым изданием, что Уланд и Шваб готовят к изданию его стихи, и всякий раз он отвечает мне одно и то же.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Вот он читает «Гипериона»...

ГЕЛЬДЕРЛИН (*декламируя*). Так оказался я среди немцев.

Я не надеялся на многое и ожидал... (*прерывая себя*) видите, ваше величество, тут нет запятой (*продолжая*)... и ожидал еще меньшего.

ГОЛОС ПЯТЫЙ (*брюзгливо*). Сего малограмотного школяра следует уберечь от дурного употребления таланта, коим он,

¹ «Царь Эдип» Софокла. Перевод С. Шервинского.

возможно, и обладает,— от траты его на такие пустяки, как роман.

ВАЙБЛИНГЕР. Однажды...

Окошко захлопывается. Кто-то на расстроенном клавесине начинает исполнять «Tendres longueurs» Филиппа Эммануэля Баха, но, сыграв несколько тактов, повторяет последний из них снова и снова.

Однажды вечером я собирался пригласить его на концерт. Хотел доставить ему удовольствие. Но так и не решился. Музыка произвела бы на него, пожалуй, слишком сильное впечатление. К тому же можно было ожидать всяких выходок со стороны невоспитанных студентов. И все-таки музыка не оставила его. Он играет на клавесине еще вполне сносно, хотя и престранно.

Звуки клавесина постепенно смолкают.

II

ГОЛОС ШЕСТОЙ. Фамулюс, звонок!

Звенит колокольчик.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*поспешно*). Постоянное недовольство, притеснения, тяжелый воздух, дурная пища. Ужели когда-нибудь мне придется сказать: университетские годы отравили всю мою жизнь?

Колокольчик смолкает.

ЛУИЗА НАСТ. Какой чудесный мне снился сон: ты стоишь наверху, у входа в семинарию, ты, наверно, не забыл, как это бывало — ах, где то время, когда я видела тебя там ежедневно,— и с тоской протягиваешь ко мне руки, боже мой, какое блаженство, на тебе опять твоя ряса и все, как тогда...

ГОЛОС ШЕСТОЙ. Его светлость герцог...

ГЕРЦОГ. В семинарии ослушничают?

ГОЛОС ШЕСТОЙ (*тараторит*). Отвращение к усердным студиям, крайне поверхностные знания, почерпнутые из новейших газет, презрение к теологии (*медленно, многозначительно*), щегольство вольнодумными мыслями (*тараторит*) праздность и лень, склонность к кутежам и увеселениям, неуважение к законам, непослушание (*медленно, выделяя голосом*), мнимое свободомыслие..

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я не могу заставить себя склониться перед нелегитимными, бессмысленными законами. Мы должны явить собой пример отечеству и миру — доказать, что мы не затем родились на свет, чтобы стать игрушкой произвола.

ГОЛОС СЕДЬМОЙ. Молодые люди теперь сплошь и рядом заражены этими бреднями о свободе.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*негромко*). Произвол княжеской власти будет ужасен. Молись за французов — защитников человеческих прав.

ГОЛОС ШЕСТОЙ (*лихорадочным шепотом*). Стипендиаты Гегель и Гельдерлин присутствовали при посадке дерева свободы, как, впрочем, и стипендиат Шеллинг.

ГОЛОС (*шепотом*). Брат Нейфер, брат Гельдерлин, брат Шеллинг...

ТРИ ГОЛОСА. Брат Гегель...

ГОЛОС. Наш лозунг —

ВСЕ ЧЕТВЕРО (*тихо*). Разум, свобода и незримая церковь.

ГОЛОС ШЕСТОЙ. Ваша светлость знают теперь, что в семинарии царит демократический дух.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*быстро*). Скоро решится, кто победит — французы или австрийцы. Нас ждут тяжелые времена, если верх одержат австрийцы.

ГОЛОС ШЕСТОЙ (*истово*). Все мы — добрые верноподданные Вюртемберга!

ГЕРЦОГ. Тише! Как ни прискорбно, но есть доказательства, что в семинарии открыто защищают французскую анархию и царевбийство.

ГОЛОС СЕДЬМОЙ. От злых языков не убережешься. Но мы и в самом деле можем утратить и нашу добрую славу и даже милостивое благоволение вашей светлости.

ГЕРЦОГ. Итак?

ГОЛОС ШЕСТОЙ (*грозным шепотом*). Подайте только знак, ваша светлость, и все будет исполнено с тем же благоговейным и верноподданническим усердием, с коим, льщу себя надеждой, я всегда исполнял ваши милостивые повеления и приказы.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Какого он мнения о Шиллере?

ВАЙБЛИНГЕР. Вы еще помните Шиллера, господин библиотекарь?

Молчание.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Он ведь знавал и Гёте.

ВАЙБЛИНГЕР. Вы еще не забыли Гёте?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я не знаком с ним.

ВАЙБЛИНГЕР. А как же Шиллер, господин библиотекарь? Вы еще посылали ему, если не ошибаюсь, вашего Софокла.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*после паузы, очень тихо*). Нет, ему — нет...

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Интересно.

ШИЛЛЕР. Вообще я полагаюсь на Гёльдерлина, он весьма прилежен, и у него достанет таланта занять со временем заметное положение в литературном мире.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*издалека*)... как с любезной отчизны,
Слышу я голос с небес, и мечта устремляется к Альпам;
Там я бы кликнул орла, чтоб владыка высот легкокрылый,
Как Ганимеда — младенца в объятия могучего Зевса,
К звездам подъял бы меня из плена земного.

III

ГЕТЕ. Я не без снисхождения отнесся к обоим присланным мне стихотворениям. Оба выражают сдержанную порывистость, разрешающуюся в чувстве умиротворения.

ШИЛЛЕР. Меня радует, что вы не без снисхождения отнеслись к моему другу и подопечному. Состояние его опасно, ибо таким натурам трудно помочь.

ГЕТЕ. Не выдавши других сочинений и не зная, на что он еще способен, я не решаюсь ему что-либо советовать. В обоих стихотворениях видны задатки хорошие, но, чтобы быть поэтом, их еще не достаточно.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Шиллер, достопочтимейший, отчего я так беден и так стремлюсь к сокровищам духа? Удостоите меня хоть изредка внимательным взглядом.

ШИЛЛЕР. Несовершенства его труда живо бросились мне в глаза, но я не знал, насколько серьезны достоинства, которые, как мне казалось, я тоже заметил. По правде говоря, это уже не первый случай, когда сочинения этого автора напоминают мне мои собственные.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*тихо*). «Дон Карлос» надолго стал волшебным облаком, которое в годы юности сокрыло от меня все варварское и все ничтожное в этом мире...

ГЕТЕ. И я должен признаться, милый Шиллер, что заметил в этих стихах нечто от вашего духа и слога, но в них нет ни разнообразия, ни силы, ни глубины ваших творений.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Господин надворный советник Шиллер, я все не мог избавиться от соблазна увидеть вас, но, видя вас, лишь всякий раз убеждался, что ничего для вас не значу. (*После паузы, волнуясь*). Он поступил несправедливо, не напечатать мой гимн «К природе». Но в конце концов не так уж важно, сколько наших стихотворений поместит в своем альманахе Шиллер. Все равно мы станем теми, кем нам суждено стать. (*После паузы, тише.*) В октябре, по всей вероятности, я получу место домашнего учителя. (*Пауза.*) Я бы хотел вновь пред-

стать перед вами с моими нуждами, хотел бы поделиться с вами тем, что меня сейчас занимает, похитить у вас хоть несколько признательных слов, обращенных ко мне, но я вынужден замолчать. Не будете ли вы столь добры передать мой поклон госпоже надворной советнице? *(Пауза.)* Или вы разуверились во мне? *(Пауза.)* Я всецело зависим от вас. *(Пауза.)* Беру на себя смелость приложить к сему первый том моего «Гипериона». О, если бы прилагаемые стихи удостоились места в вашем «Альманахе муз»! *(Пауза.)* Я намерен издавать журнал, в котором желал бы собрать те литературные и поэтические опыты, которыми я сейчас занят. А потому дерзаю просить вас участвовать, поелику возможно, в моем начинании, если, конечно, подобное изъявление вашей доброты и милостивого ко мне расположения не слишком вас обременит. *(После паузы, волнуясь.)* Или вы разуверились во мне?

ШИЛЛЕР. Я бы с охотой откликнулся на ваш призыв, если бы не был так стеснен во времени и так занят работой, которую теперь выполняю.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Мое давнишнее желание поселиться в Иене, вблизи вас, сделалось уже почти неодолимой потребностью. Будучи воспитателем, я узнал и неудовольствие окружающих и их тягостное сочувствие. Если б я переехал в Иену и попытался большую часть времени посвятить моим лекциям... *(Пауза.)* Я стыну, замерзаю среди обступившей меня зимы, я каменею под ледяным небом.

Пауза.

ШИЛЛЕР. Хотелось бы знать, при любых ли обстоятельствах все эти Шмидты, Рихтеры и Гельдерлины остались бы столь же субъективными, восторженными, односторонними — или только недостаточность эстетической среды и внешнее влияние да оппозиция эмпирического мира их порывам произвели столь пагубное действие.

ГЕТЕ. Вчера во Франкфурте был у меня Гельтерлейн; выглядит он угнетенным и болезненным, но был очень любезен. Я настоятельно советовал ему писать короткие стихотворения.

Удаляющиеся шаги. Пауза.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Опомнитесь, господин магистр, и пишите короткие стихотворения.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Кто это?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Гёте.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я не знаю его.

IV

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Он не сумел устроить свою жизнь. Другим это удалось.

ГОЛОС ВТОРОЙ. А многим — нет.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Окончив семинарию, он стал гувернером.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Вынужденное занятие многих немецких философов и поэтов.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Приходится думать, что за честь принадлежать к просвещенному сословию нужно платить страданиями.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Не стоит сгущать краски. Итак, начало: по рекомендации Шиллера в Вальтерсхаузен к господам фон Кальб. Увлекательная поездка.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*весело, бодро*). От Бамберга до Кобурга весь день передо мной и за моей каретой расстилалась божественная долина, по которой течет Иц. Между прочим, по всей Франконии я сплошь и рядом наблюдал недовольство благодетельным прусским правительством — что меня весьма огорчило, как вы понимаете. (*Смеется.*) В Нюрнберге здешние молотобойцы устроили Сент-Антуан на немецкий лад, декретировали продажу овощей и мяса по твердой цене, а патрициям намекнули, что кое-кого недолго и вздернуть. (*Смеется.*) В Кобурге во время пожара бюргеры поколотили охрану и так далее.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Подозрительные интонации.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Майор фон Кальб и его супруга были, впрочем, прекрасными людьми. В том, что дело ничем не кончилось, они виноваты так же мало, как и Гельдерлин. Шарлотта фон Кальб, по-видимому, догадывалась, что он собой представляет. Она, наверно, видела штейдлиновский «Альманах муз».

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Не догадывалась, а знала. Сохранились ее письма. Правда, роль его в Вальтерсхаузене несколько странная: днем он занят преподаванием, а ночью дежурит у постели своего воспитанника.

ГОЛОС ВТОРОЙ. И все-таки поначалу он доволен. Красивый дом, просвещенные, любезные хозяева, много свободы, очаровательный воспитанник, хотя, к сожалению, отягченный, как позже выяснилось, тем, что тогда считалось пороком. Но впоследствии он как-то заметил, что домашний учитель — это пятое колесо в повозке.

ШАРЛОТТА фон КАЛЬБ (*задумчиво*). Он был очень проворным колесом...

ГЕЛЬДЕРЛИН. Богатство обретешь лишь нищим...

ГОЛОС ВТОРОЙ. Поначалу у него всегда все складывается отлично. Так было и в Йене, где он слушал лекции Фихте, пользо-

вался благосклонностью Шиллера и даже удостоился внимательного взгляда из Веймара. Но чем все это кончилось?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Новым гувернерством — во Франкфурте.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Банкир Гонтар еще довольно молод, он — одноглазый, второго глаза лишился по несчастной случайности, парвеню, без особых претензий.

ГОЛОС ТРЕТИЙ. Биржевой курс я знаю, как свои пять пальцев.

ГОЛОС ВТОРОЙ. И ничего кроме. Он поначалу и не думал ревновать к красивому гувернеру, который водил дружбу со знаменитостями и только что издал первый том своего романа. Но всякий раз, возвращаясь домой, банкир заставлял его у Сюетты. И однажды произошла безобразная сцена.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Милый Нейфер, положение мое изменилось, и я намерен жить в Гомбурге как частное лицо. Я так надломлен пережитыми страданиями.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Вероятно, он стал ждать.

ГОЛОС ВТОРОЙ. В Гомбурге он ждал Сюетту, то есть вестей от нее, которые время от времени приходили, ждал возможности издавать журнал, помощи Шиллера. В Штутгарте у Ландауэра он ждал уроков и лекций. В Швейцарии, у некоего Гонценбаха, он вновь получает место гувернера. Однако господин фон Гонценбах оказывается весьма проницательным. С гувернером творится что-то неладное.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Мне все чудится заветное время — время прекрасной человечности, время спокойного и неустрашимого добра...

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Что он хочет сказать?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я полагаю, что вместе с войной и революцией утихнет и нравственный Борей, дух зависти, и тогда созреет прекрасный союз людей, свободный от бронзовых законов гражданственности.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. О чем он?

ГОЛОС ВТОРОЙ. О Люневильском мире, от которого он слишком много ожидает. Но не это смущает господина фон Гонценбаха. Тут дело совсем в другом.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Вообще в последние две недели все мешается у меня в голове.

ГОЛОС ВТОРОЙ. Вот это он и заметил. И написал гувернеру: «Искренне сожалею, что судьба так скоро разлучает нас».

V

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Но вернемся еще раз во Франкфурт. Итак, он уехал...

ДЕТСКИЙ ГОЛОС (*Анри Гонтар*). Милый Гельдер! Мне так тяже-

ло, что тебя нет. Сегодня я был у господина Гегеля, он сказал, что ты давно уже собирался уйти от нас, на обратном пути мне попался господин Гениш, он спросил у Йетты, отчего тебя нет. Йетта сказала, что ты уволился, а он и сам как раз собирался к господину Гегелю, чтобы порасспросить о тебе, он меня проводил и все спрашивал, почему ты ушел, и сказал, что ему это очень неприятно. Возвращайся к нам, милый Гельдер, у кого же нам теперь учиться! Вместе с письмом я посылаю тебе табак, а господин Гегель посылает шестой том «Анналов» Поссельта.

СЮЗЕТТА ГОНТАР. Любой знак любезности со стороны того, кто не пощадил святая святых моего сердца, должен стать мне теперь горьким ядом. Чувствуя это, я решила жить как можно проще, во всем себя ограничивая. *(Пауза.)* Если достанет у тебя смелости, приходи сегодня днем в четверть четвертого, не скрываясь, входи в дверь со двора, которая всегда открыта, бесшумно и быстро взбеги, как обычно, по лестнице,— дверь моей комнаты заранее будет отворена, у детей в это время урок в дальней, голубой комнате. *(Пауза.)* Мне всегда хотелось мечтать, но ведь мечты — это пустое самоуслаждение; самоуслаждение, трусость! Мое сердце тоскует по настоящей жизни. *(Пауза.)* В моей душе растет страх, что когда-нибудь между нами все будет кончено. Нам теперь должно вымаливать милостыню у судьбы, отыскивать в ее лабиринте единственную нить, которая привела бы нас друг к другу. Что будет с нами, если мы расстанемся навсегда? Всего страшнее, если в конце концов душа наша станет бесчувственной и мы оба словно умрем и все же будем с грустью помнить, что живы. *(Пауза.)* Я несколько раз выходила с детьми на прогулку и однажды в мягком солнечном свете увидела на холме мой милый Гомбург,— о, как благословил мой взор эту тихую местность и неизвестную мне каморку, в которой обитаешь ты! *(Пауза.)* Приходи в первый четверг месяца, если будет хорошая погода, а если нет, то в следующий четверг, и так все время по четвергам, ты можешь выйти рано утром из Гомбурга, а когда на городской башне пробьет десять, будь у топей, что на той стороне улицы, я стану у окна — и мы увидим друг друга. Положи на плечо свою палку, а я буду держать в руке белый платок. *(Пауза.)* Только бы ты пришел! Подождем месяц или два, в июле ты, быть может, решишься подойти к изгороди. *(Пауза.)* Хорошенько посоветуйся с друзьями о своем будущем. Ты не имеешь права рисковать собой, твоя благородная натура слишком хрупка, и ты обязан вернуть миру все, что является тебе в просветленных и воз-

вышенных образах. Сколь немногие подобны тебе! Только не делай ничего из ложной заботы о моей чести. Твоя любовь — высшая честь для меня, и ее мне хватает с избытком, а того, что зовет честью толпа, мне совсем не нужно. Тебя же чтят великие люди.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*быстро*). С журналом, кажется, ничего не вышло. Неужели все настолько стыдятся меня? Знаменитости мне не ответили.

СЮЗЕТТА ГОНТАР. Не знаю, что делать, и ничего не могу придумать без тебя. Как ты решишь, так и будет. Наша незримая близость все длится, а жизнь так коротка. Мне холодно! Разве можно играть жизнью из-за того, что она коротка? Где мы свидимся вновь, скажи? (*Пауза.*) Должна признаться, я не смогу прожить всю эту зиму, ничего не зная о тебе, и потому я придумала, чтобы ты хоть раз в два месяца в условленный четверг, в девять вечера, с величайшей осторожностью приходил ко мне, и я увижу тогда тебя, если ты намерен остаться здесь, увижу, что ты жив и здоров! (*Пауза.*) Недавно мне на один миг показалось, что я тебя увидела в аллее. Скажи, ты был там? Или нет? Эта мысль меня поразила, как молния, мне почудилось, что это действительно ты и что какой-то страх гонит тебя ко мне, что ты не можешь без меня, я встала у окна и стояла с безучастным видом, и мне все чудилось твое лицо — то в кустах, то за деревьями, меня замучила эта игра фантазии, чувство было такое, будто я хочу обнять тебя, а ты ускользаешь, как призрак. О, боже праведный, не являйся мне больше таким! (*Пауза.*) Я чувствую всем сердцем — без тебя моя жизнь увядает, медленно гаснет.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*издалека*). Быть может, мы сами и лучшие наши силы должны погибнуть в этой разлуке.

СЮЗЕТТА ГОНТАР. Все кругом пустынно и пусто — без тебя. И мне так страшно.

VI

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Что же это такое — так называемая швабская революция?

ГЕНЕРАЛ ЖУРДАН. На этот вопрос, скорее всего, отвечу я — как компетентное лицо.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Люди собрались в Раштадте, возлагая большие надежды на этот конгресс.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я сильно укрепился в вере и мужестве с тех пор, как вернулся из Раштадта.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Вот тут у меня листовка: «Дух времени подобен буре, сметающей все на своем пути». Автор — Гегель.

ГЕНЕРАЛ ЖУРДАН. Кто это такой?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Гувернер. И философ, гражданин генерал.

ГЕНЕРАЛ ЖУРДАН. Ну-ну... Пофилософствовать немцы могут, пожалуй, и сами, а вот с революцией им не справиться, это они должны предоставить нам. Бонапарт воюет в Египте. Коммуникации через Средиземное море ненадежны. Мое стратегическое положение здесь оставляет желать лучшего. Армии республики подавят любые революционные волнения в южной Германии.

ГОЛОС. А что будет с мечтателями из Раштадта — с Бацом, Синклером, Зеккендорфом?

ГЕНЕРАЛ ЖУРДАН. Я незнаком с этими господами. Однако должен заметить: у истории тяжкая поступь.

VII

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я вынужден вновь отказаться от моей независимости, а воспитывать детей — это еще самое счастливое занятие, во всяком случае, самое невинное. *(Пауза.)* Скольких горьких слез стоило мне решение покинуть пределы отечества, ибо нет ничего в мире, что было бы мне так дорого! Но я им не нужен.

VIII

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Это правда? Он действительно им не нужен?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Варвары с древних пор, они лишь закоснели со временем в своем варварстве, укрепив его прилежанием и наукой и даже религией. Никакое чувство им не доступно... Оглянись кругом, и ты увидишь ремесленников, а не людей, мыслителей, а не людей, священников, а не людей, господ и слуг, юнцов и вельмож, но не людей.

ЧЕЙ-ТО ГОЛОС. Чернит собственное гнездо!

ВАЙБЛИНГЕР. Я всегда был готов его понять, но с этим и я не могу согласиться.

ГОЛОС ВТОРОЙ. И все-таки кое-кто уже тогда его понял. Венская цензура, например, запретившая продажу его книги.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Горе чужеземцу, который, возлюбив странствия, придет к такому народу, но трижды горе тому, кто, подобно мне, придет к нему как нищий, гонимый великой скорбью.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. А начинал он так мужественно.

ГЕЛЬДЕРЛИН (*издалека*). Если царство мрака захочет насильно покорить нас, мы швырнем наши перья под стол и с именем божьим на устах пойдем туда, где несчастье всего нестерпимей и где мы всего нужнее.

НЕЙФЕР (*пылко*). Брат Гельдерлин, в царстве поэзии еще много неизведанных владений, отправимся туда непроторенными путями! Порыв воодушевления быстрее домчит нас над безднами к цели, чем пугливая осторожность. (*Пауза.*)

ГЕЛЬДЕРЛИН. Милый Нейфер, когда мы начинали наш путь, мы летели на крыльях — или, во всяком случае, нам так казалось, — а теперь, пожалуй, нас надо подгонять кнутом или шпорами. Правда, и кормят-то нас одной соломой.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Его позиция была самой решительной. Но он не сумел на ней удержаться.

ГОЛОС ВТОРОЙ. А как же другие? Ведь в Веймаре или в Иене дерзали на многое?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Бесспорно. И эти надворные советники и министры далеко опередили своих современников, они были одиноки, они познали стчаяние и отвращение, они советовались с будущим, они не видели пути иного, кроме своего, их пугали подобные натуры, такие впечатлительные и такие непреклонные, как он.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Чье сердце сохранит любовь к красоте, когда весь мир обрушит на него свой кулак?

МАТУШКА ГОК. Фриц, Фриц...

ГЕЛЬДЕРЛИН. Милая матушка, воля и покой — вот единственное, чего я ищу и в чем нуждаюсь.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Взгляд его был устремлен вдаль. Он не мог насытиться крохами. Он был обречен.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Сердце разрывается, когда видишь ваших поэтов, ваших художников и всех, кто еще чтит гений и поклоняется красоте. Они живут в мире, точно чужие в собственном доме, подобно страдальцу Улиссу, который вернулся нищим из странствий и застал в своем доме разнузданное веселье кутил, нагло спрашивавших, кто привел сюда этого бродягу?

ГОЛОС ВТОРОЙ. И что же, нет у него ни родины, ни дома, ни единого глотка чистого воздуха?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Милая матушка, я в нерешительности, стать ли мне через некоторое, кто знает, сколь продолжительное время викарием или опять вернуться к гувернерству? (*Пауза.*) Милая матушка, неужели все мои знания не позволяют мне ничего другого, как зарабатывать свой хлеб на амвоне, на который я теперь не могу войти, потому что его невыносимо оскверняют... (*Упрямо.*) Но когда я слышу, что говорят обо мне уче-

ные мужи, друзья, то, несмотря на все мое смирение, мне порою хочется спросить, почему же я должен так мытарствовать в этом разумно устроенном мире? *(После паузы, тихо.)* Милая матушка, если б вы могли помочь мне еще несколькими каролинами и тем самым вполне избавить меня от забот... Потерпите еще немного...

ГОЛОС ВТОРОЙ. У него никакой надежды?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Кроме одной.

ГЕЛЬДЕРЛИН. И вот моя сокровеннейшая надежда, которая еще поддерживает во мне силы и бодрый дух: наши внуки будут лучше нас; свобода непременно наступит, и в ее священном, согревающим свете добродетель расцветет скорее, чем в ледяном царстве деспотизма. Мы живем в такое время, когда каждый день приближает лучшее будущее. Я бы хотел действовать для общего блага...

ГОЛОС. Что ему остается?

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Стойкость в предвидении гибели.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Если мои сокровенные думы так никогда и не обретут ясный и точный язык, что во многом зависит и от житейской удачи, то я все-таки знаю, чего я хотел, а хотел я большего, чем можно подумать, глядя на мои скудные опыты. Кроме того, есть надежда, что и столь несовершенно исполненное дело мое все же найдет отклик в сочувственных душах и потому мое бытие не пройдет по земле без следа.

IX

ГОЛОС ДЕВЯТЫЙ. Ваш паспорт! Вы — магистр Гельдерлин родились в Лауффене рост шесть футов волосы каштановые лоб высокий глаза карие нос прямой щеки румяные рот средний губы узкие борода каштановая подбородок круглый лицо вытянутое плечи широкие физических недостатков нет все верно?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Да.

ГОЛОС ДЕВЯТЫЙ. Вы следуете...

ГЕЛЬДЕРЛИН. В Бордо, где буду служить гувернером в доме гамбургского консула.

ГОЛОС ДЕВЯТЫЙ. Вам придется задержаться на несколько дней здесь, в Страсбурге.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Почему?

ГОЛОС ДЕВЯТЫЙ. Разберемся, что вы за птица. В Германии многие заразились нашей болезнью. Мы от нее уже почти избавились. Если вам и разрешат следовать дальше, то, во всяком случае, не через Париж. Республике нужен покой.

Вдали звучит рожок.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Между тем побывал я во Франции, видел печальную, пустынную землю, пастухов южной Франции и красоты природы, мужчин и женщин, выросших в вечном страхе перед смутой в отечестве и голодом.

Могучая стихия, небесный огонь и молчание людей, их жизнь в согласии с природой, их невзыскательность и довольство всем неизменно волновали меня, и я могу сказать о себе, как о каком-нибудь древнем герое,— что и меня сразил Аполлон. После многих потрясений и душевных бурь мне было необходимо пожить на покое, и я остановился в моем родном городе. Чем больше я изучаю родную природу, тем больше она захватывает меня. Гроза не только в высшем своем проявлении, но и в моем понимании: как власть и облик, заметный и при самом обычном виде неба, свет в его могучем воздействии — как основополагающий принцип нашей национальной судьбы, священной для нас, его сияние и угасание, выразительная картина лесов и сочетание в одной местности самой разнообразной природы — будто все священные уголки земли слились воедино, да свет познания в моем окне — вот в чем теперь моя отрада, да буду я и впредь таким, каким приехал сюда, каков я ныне!

Я думаю, мы потому еще не обрели полную силу, что только начинаем — впервые после греков — слагать песни естественно и самобытно, в согласии с нашим отечественным духом.

СИНКЛЕР. Выслушай! Двадцать второго этого месяца умерла госпожа... (*нерешительно*) Г., от краснухи, на десятый день болезни.

Гёльдерлин вскрикивает.

Она осталась верна себе до конца. Смерть ее была подобна ее жизни. (*Пауза.*) Ты знаешь все мои недостатки, я надеюсь, что ни один из них не омрачит больше наших отношений. Итак, приглашаю тебя к себе с тем, чтобы ты оставался у меня на все время, пока я пробуду в Гомбурге.

XI

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Кто такой — правительственный советник фон Синклер?

БЛАНКЕНШТЕЙН (*лихорадочным шепотом*). Как немец и почитатель вашей курфюршестской светлости считаю своим долгом

сделать чрезвычайной важности сообщение, которое, может статься, воспрепятствует преступным планам нескольких негодьяв, замышляющих убийство.

Год назад я поступил на службу к ландграфу и почти ежедневно должен был встречаться с советником фон Синклером. Уже тогда Синклер вел речь о далеко идущих прожектах, о немецкой республике и так далее. Как мне стало известно, в Раштадте он составил план революции в Швабии и сообщил его Бацу и Гофаккеру.

КУРФЮРСТ (*рычит*). Что такое?

БЛАНКЕНШТЕЙН (*лихорадочной скороговоркой*). В заговоре Бац, Грос, Вайсхаар, Зеккендорф, Гофаккер... знамя возмущения... Письма Ландауэру в Штутгарт... Когда я прослышал о дьявольском замысле, угрожающем и самой особе вашей курфюршестской светлости, я решился... А ргрос, приятель Синклера Фридрих Гельдерлин также был осведомлен обо всем этом деле.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Во времена Гармодия и Аристокитона была еще дружба на земле!

КУРФЮРСТ (*рычит*). Арестовать!.. Синклера в одиночку!

БЕТТИНА. Молодого человека, замышлявшего в Германии революцию...

КУРФЮРСТ. Взять Баца! Взять Зеккендорфа! Заковать в цепи!

СИНКЛЕР. Меня, правительственного советника Синклера, курфюрст вынужден был через четыре месяца отпустить. Третье сословие было обеспокоено, газеты писали о моем деле. Между тем Наполеон уже перекраивал карту Европы. Гомбург, как стало известно, отошел к Гессен-Дармштадту. Как спасти беззащитного друга? (*Тихе.*) Его душевное расстройство восстанавливало против него толпу, и в мсе отсутствие можно было опасаться скандалов. Поскольку в этом курфюршестве нет соответствующих... гм, учреждений, то простые требования безопасности предписывают удалить его отсюда. Перед необходимостью должно смириться всякое чувство.

ГОЛОС ДЕСЯТЫЙ. Карета подана, господин магистр!

ГЕЛЬДЕРЛИН. Какая карета?

СИНКЛЕР. Я и впредь обязуюсь опекать Гельдерлина, обстоятельства (*нерешительно*) пока не позволяют заявить мне об этом открыто.

ГОЛОС ДЕСЯТЫЙ. Карета в Тюбинген. По распоряжению их милости ландграфа. Господину библиотекарю поручено разобрать книги в Тюбингене.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я хочу остаться здесь.

ГОЛОС ДЕСЯТЫЙ (*тихо*). Не церемоньтесь, берите его!

ГЕЛЬДЕРЛИН (*кричит*). Алабанда, где ты? Подлецы, живодееры...

Его уводят. Шум смолкает. Слышно, как отъезжает карета.

ЛАНДГРАФИНЯ. Беднягу Гельдерлина сегодня утром увезли, чтобы передать на попечение родственников. Он все время пытался выбраться из кареты, но сопровождающий крепко держал его. Гельдерлин кричал, что его увозят живодееры, и своими чудовищно длинными погтями исцарапал его до крови.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Вот и клиника. Заведение доктора Аутенрита.

ГОЛОС ОДИННАДЦАТЫЙ. Новейшая клиника для умалишенных.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Как поживает наш бедный поэт?

ГОЛОС ОДИННАДЦАТЫЙ. Говорят, он совсем замкнулся. Правда, иногда он буйнит. Как жаль, у него был такой приятный талант!

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. С ним справляются?

ГОЛОС ОДИННАДЦАТЫЙ. Еще бы. М-мда, наука... Надевают кафтан без рукавов, который плотно зашнуровывают на спине. В таком виде он никому не опасен. А когда он кричит, надевают так называемую «маску Аутенрита», тогда его почти не слышно, вот, обратите внимание...

Яростный крик Гельдерлина замирает.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Изобретение профессора?

ГОЛОС ОДИННАДЦАТЫЙ. Излишне спрашивать. Но все так думают.

КУРФЮРСТ. Там был еще этот шут. Я требую отчета.

ГОЛОС ДВЕНАДЦАТЫЙ. С вюрноподданническим рвением следуя указаниям вашей курфюршестской светлости, я выяснил следующее: семинарист Гельдерлин...

ГОЛОС ТРИНАДЦАТЫЙ. Сиречь Гельдерле...

ГОЛОС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Сиречь Гельдерлен...

ГОЛОС ДВЕНАДЦАТЫЙ. ...вел себя в монастырях образцово, показал достойное прилежание в науках, особенно в греческом языке, служил в различных местах гувернером, но тем самым удалился от своего истинного предназначения — изучения теологии, которым пренебрег ради пустяков вроде поэзии...

ХII

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Как бы вы описали его состояние?

ВАЙБЛИНГЕР. Его будто нет в этом мире. Он его отвергает — правда, не тех, кто о нем заботится, и не природу. Он вовсе не замечает того, что когда-то было ему дорого. Слабость

стала его надежной броней. Ужасно то беспокойство, в которое он впадает и днем и ночью и причин которого никто не знает. Он любит детей.

XIII

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. Мама, этот господин поздоровался с тобой.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Не со мной, а с тобой.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Это верно.

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. Зачем он это сделал, мама?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Господин не в своем уме. Пошли домой, становится жарко.

XIV

ВАЙБЛИНГЕР. Его каморка, которой он так дорожит, иногда кажется ему даже слишком просторной. Он часто подолгу лежит в постели, словно желая вернуться к себе самому из того огромного пространства, которое его окружает. Однажды он совсем уже собрался в дорогу — ему вдруг срочно понадобилось во Франкфурт. Понадобилось, и все тут. (*Невольнo смеется.*) У него отняли сапоги. (*После паузы, смущенно.*) Он на много дней слег в постель, ничего не ел, ни с кем не говорил.

Пауза.

СЮЗЕТТА ГОНТАР (*с трудом, тихо*).

Когда сквозь дали, нас разделившие,
Твоим глазам я зрима, когда в былом,
Моих страданий соучастник,
Ты хоть какое-то видел счастье...¹

Пауза. Рыдания.

XV

МАТУШКА ГОК. При сем посылаю тебе еще жилетку и четыре пары чулок и перчатки в знак любви и памяти о тебе. Очень прошу тебя носить шерстяные носки. Остаюсь с наилучшими уверениями твоя верная мать.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Высокочитимая матушка! Доброта вашего сердца сквозит в каждом вашем полезном совете и предостережении,

¹ Гельдерлин. «Диотима из мира иного». Перевод Н. Вольпин.

к которым я отношусь с радостным вниманием. Имею честь называть себя вашим преданным сыном.

МАТУШКА ГОК. Расходы на поездку из Гомбурга в Тюбинген — сто тридцать семь гульденов. Ранее — сюртук и панталоны — тридцать один гульден, тридцать крейцеров. Плата за клинику семьдесят пять гульденов.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Ваши наставления и постоянные напоминания о пользе доброго поведения, добродетели и религии, кротость вашего материнского сердца для меня утешительнее любых книг. Я полагаюсь на ваше христианское всепрощение, дорогая матушка, и на мое желание все более совершенствоваться и исправляться.

МАТУШКА ГОК. В тысяча восемьсот восьмом году расходы на милого Гельдерле составили двести шестьдесят гульденов.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Я потому так редко вас развлекаю, что слишком занят мыслями, внушенными вами. Имею честь заверить вас в моем глубочайшем почтении и пребываю вашим послушнейшим сыном.

МАТУШКА ГОК. В тысяча восемьсот девятом году на стол и квартиру у Циммера израсходовано двести шестьдесят восемь гульденов.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Мне так мало было дано выразить себя в жизни. Клянюсь вам с неизменной мыслью об утешении.

МАТУШКА ГОК. В тысяча восемьсот десятом году Циммеру отправлен двести семьдесят один гульден.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Оказия, с которой я могу писать вам, мне более чем отрадна. В моих посланиях я выражаю мою к вам сердечную привязанность и пытаюсь поручить мою смиренную участь попечению вашей доброты, в чем и заверяю вас в моих смиренных строках. Не обижайтесь, но я вынужден кончить.

МАТУШКА ГОК. В тысяча восемьсот одиннадцатом году господину Циммеру для милого Гельдерлина послано двести восемьдесят семь гульденов.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Высокочтимая госпожа матушка, я снова пишу вам. Неизменно желаю вам всего доброго. Осмеливаюсь снова кончить на этом.

МАТУШКА ГОК. В тысяча восемьсот двенадцатом году — снова двести шестьдесят шесть гульденов господину Циммеру.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Простите, дорогая матушка, если я не могу объяснить вам мои мысли. Не оставляйте меня. Время всемилостиво и неизменно до последней черты.

МАТУШКА ГОК (*ее голос постепенно стихает*). В тысяча восемьсот четырнадцатом году господину Циммеру за милого Гельдерлина уплачено двести пятьдесят пять гульденов, в тысяча

восемьсот пятнадцатом году — двести пятьдесят шесть гульденов, в тысяча восемьсот шестнадцатом году — триста гульденов, в тысяча восемьсот семнадцатом году — триста восемь, в тысяча восемьсот восемнадцатом году...

Слышны шаги — кресчендо. Кто-то все время ходит взад и вперед по комнате.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Где же друзья?

ГОЛОС ВТОРОЙ. Мертвы или рассеяны по миру. Нейфер жив еще, но этот угрюмый духовник совсем забыл о нем. Штейндлина изгнали за его якобинский дух, он утопился в Рейне. Сииклер умер в молодом возрасте. Бёлендорф застрелился. Зеккендорф погиб на войне. Шмидт заболел душевно. Затем ушел на войну, судьба забросила его в Венгрию. Гегель и Шеллинг еще переписывались некоторое время, беспокоясь о его судьбе, но теперь они не выносят друг друга. Гегель только что издал свою философию права... Сводный брат Карл... Да, только он...

КАРЛ ГОК (*застенчиво*). Дорогой брат, считаю своим братским долгом переслать тебе экземпляр твоих превосходных стихов, недавно выпущенных издательством Котта.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Речь идет о сборнике, который составили Уланд и Шваб.

ВАЙБЛИНГЕР. Да. Первый сборник его стихов. Автору уже пятьдесят шесть лет, двадцать лет миновало с тех пор, как его привезли из Гомбурга в тюрингенскую клинику.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Известие, кажется, не трогает его.

ВАЙБЛИНГЕР. Ничуть не трогает.

КАРЛ ГОК. Итак, плоды твоей прекрасной поэзии сохранены для мира, и всякий глубоко чувствующий и просвещенный человек отныне будет чтить твою память.

Шаги слышны сильнее.

Дорогой брат, я уже не раз навещал тебя у любезного твоего хозяина, господина Циммера, но (*нерешительно*) ты, верно, не помнишь об этом.

Звук шагов затихает.

ГОЛОС. Гельдерлин!

ДРУГОЙ ГОЛОС. Гельдерле!

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. Милый Гельдер...

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОС. Гольдерлен!

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Милый Гольдер...

ШЕСТОЙ ГОЛОС. Гельтерлейн!

Пауза.

ГЕЛЬДЕРЛИН. Но он далеко: уже не здесь.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Кто это там наверху?

ГЕЛЬДЕРЛИН. Скарданелли. Ваш верноподданный.

Окно захлопывается. Шум реки — кресcendo.

О ты, золотой Пактол.

ГОЛОС ПЕРВЫЙ. Пойдем. Уже темнеет.

ВАЙБЛИНГЕР. С тех пор как я покинул Германию, я почти ничего не знаю о нем.

Удаляющиеся шаги.

ГЕЛЬДЕРЛИН.

Ну что ж, я ухожу...

Я был на небосклоне утра

Лишь облачком, мгновенным и бесплотным,

И спящий мир меня и не заметил.

Шум реки. Снова кто-то ходит назад и вперед.

Чего искал я? В чем моя вина?

Что скажет мир, когда меня не будет,

А кто-то спросит: в чем его вина?

Рольф ШНЕЙДЕР

Третий крестовый поход

Действующие лица:

СТОРОЖ
РЫЦАРЬ
КУНИФРИД ФОН РАУПЕНБИЛЬ
ЕГО ОТЕЦ
АББАТ
ГЕНРИКУС }
КАРОЛЮС } ученики
ПАТЕР
ГРАФ ЦЕДЕВИЦ
ГЕРЦОГ
ЭЛИЗАБЕТ
СЛУГА
ЖЕНЩИНА
МОНАХ
БАНКИР
ИМПЕРАТОР
ФРИДРИХ I ГОГЕНШТАУФЕН
ГРАФ ЭРЛЕНБУШ
ГРАФ МОРМЕЛЬШТЕЙН
СВЯЩЕННИК
КНЯЗЬ
КОННЕТАБЛЬ
КАРДИНАЛ
ПЬЕР }
АНРИ } мальчики
ГРАФИНЯ РОЗА-МАРИЯ
ПЕВЕЦ
ГОЛОСА

Подвал. Слышно, как открывается решетка.

СТОРОЖ. Благослови тебя бог, узник.

КУНИФРИД. Благослови тебя бог, надзиратель.

СТОРОЖ. Как спалось?

КУНИФРИД. Опять капало со стен.

СТОРОЖ. Осенью всегда льет. Уже многие жаловались.

Дребезжит посуда.

На, вот поешь супу — согрешься.

КУНИФРИД (*оживляясь*). Из молока с яйцами!

СТОРОЖ. И с маслом.

КУНИФРИД. Добрый знак!

СТОРОЖ (*жалея его*). Нет, не добрый.

Пауза.

КУНИФРИД. У тебя там что-то еще?

СТОРОЖ. Два свитка пергамента, перья, вырванные из гусиной гузки и отточенные, плошка чернил.

КУНИФРИД. Значит, герцог внял моей просьбе?

СТОРОЖ. Значит, внял.

КУНИФРИД. И это тоже... плохой признак?

СТОРОЖ. И это тоже.

Пауза.

КУНИФРИД (*вздыхая*). Оставь меня, надзиратель.

СТОРОЖ. Я хотел тебе еще сказать...

КУНИФРИД. Что же?

СТОРОЖ. Что жаль мне тебя!

КУНИФРИД. Спасибо. Оставь-ка меня одного.

Звуки закрывающейся решетки. Шаги. Вдох. Шуришит пергамент. Скрипит перо. Кунифрид говорит медленно, не отрываясь от писания.

Обреченный на заточение в подземелье герцогского замка, я, рыцарь Раупенбиль, решил записать историю своей жизни. Мне это поможет скоротать время, а другим будет развлечением и наукой. (*Вздыхает.*) Я родился около 1165 года. Точнее никому не известно. Отец не отметил даты, потому что, как большинство дворян, не знал грамоты. А в памяти его она не удержалась, потому что было нас бесчисленное множество. А именно:

ЮНЫЕ ГОЛОСА. Фридрих.

— Генрих.

— Элизабет.

— Мария.

КУНИФРИД. Двое последних — близнецы.

ЮНЫЕ ГОЛОСА. Арнульф.

— Розалинда.

— Зигмунд.

— Зигфрид.

— Зигберт.

КУНИФРИД. Трое последних — тройняшки. После этого мой отец стал обращать больше внимания на выбор имен и порой следовал за литературной модой.

СОВСЕМ ЮНЫЕ ГОЛОСА. Ирменберт.

— Лёентрут.

— Бринкельзе.

— Кондвирамуорс.

КУНИФРИД. И...

Плач младенца.

Я, Кунифрид, последний. А всего нас было четырнадцать. (Вздох.) Я часто вспоминаю места, где прошло мое детство.

Журчание источника.

Ручеек впадал в Вейер.

Шум деревьев.

Деревья шумели на ветру. В буковом лесу резвились серны.

Ржание коня.

На выгоне паслась единственная принадлежавшая нам лошадь по кличке Фейерфиц.

Щебетание птиц.

Птицы пели. И мы жили в ладу со зверьем в Раупенбиле до тех пор, пока однажды...

ОТЕЦ. Чертовы кабаны повырыли всю свеклу! Чем я буду кормить вас еще две недели?

КУНИФРИД. Так говорил мой отец. Эти слова как будто не соответствуют его знатному роду, которому надлежало отличаться в боях, а не в разведении бураков. Но отец воевал с четырнадцатью прожорливыми ртами, и этой борьбы было с него предостаточно, ибо Раупенбиль был мал и беден, а замок почти развалился. Без всякой радости вспоминаю я зимние дни, когда ветер свистел в щелях стен.

Завывание метели.

ОТЕЦ. Холодно.

КУНИФРИД. Говаривал мой отец.

ОТЕЦ. Холодно, но мы должны сохранять достоинство. Не горбись, Бринкельзе! Достоинство, говорю я, и, если даже у нас подобных ровно ничего не останется, достоинства все-таки у нас не отнимешь. В наших жилах течет благородная кровь — не чавкай от жадности, Конвирамуорс! У нас благородная кровь — и это возвышает нас над грязным деревенским людом. Сильному открыт весь мир. Порядок, частью которого мы являемся, раскрывает нам все возможности. И даже крестовый поход, сделавший меня гораздо беднее церковной крысы, обогатил нескольких проходимцев, награбивших добра и золота. Каждый из вас призван совершать великое, нужно только постараться!

КУНИФРИД. Такие слова, произнесенные в минуту, когда снег задувает в комнату, а каша едва покрывает доньшки мисок, производят глубокое впечатление на детскую душу. Правда, я знал, что по рыцарскому праву лишь один унаследует после смерти отца замок и землю Раупенбиль — Фридрих, мой старший брат.

Колокольный звон. Слышны звуки грегорианской мессы.

Колокольный звон и благочестивое пение были еще одним впечатлением моего детства.

АББАТ. Входи, входи, мой мальчик.

КУНИФРИД. Так говорил мне аббат из монастыря св. Себастьяна.

АББАТ. Добро пожаловать. Ты получишь у нас прекрасное образование, мой мальчик. Подобно всем, кому бог привел родиться в знатных, но бедных семьях. Ты не будешь обучаться науке меча, мой мальчик. Но овладеешь духовным оружием, не менее острым, чем оружие из железа.

КУНИФРИД. Так говорил аббат. А я учился читать, писать, латыни, арифметике и географии.

ПАТЕР (*строго*). В какой стране живешь ты, Генрикус?

МАЛЬЧИК. В Священной Римской империи немецкой нации, патер Ансельмус.

ПАТЕР. А кто выше всех в империи, Генрикус?

МАЛЬЧИК. Кайзер Фридрих фон Гогенштауфен, по прозвищу Барбаросса, что значит: Красная борода.

ПАТЕР. А что же является наиважнейшей задачей нашего кайзера Барбароссы, Каролус?

ДРУГОЙ МАЛЬЧИК. Завоевание жизненного пространства, патер Ансельмус.

ПАТЕР. Vere dictus: завоевание жизненного пространства. Ибо немецкий народ — народ, живущий на стиснутой границами земле, как любил повторять великий и мужественный герцог Генрих Вельфский, прозванный Львом. А Германия — это часть Окцидента, то бишь Запада, то бишь страны Закатов, и нам надлежит защищать свой христианский порядок, данный нам богом. Но что же служит восточной границей нашей стране, Каролюс?

МАЛЬЧИК. Река Эльба, патер Ансельмус.

ПАТЕР. А кто живет восточнее, по ту сторону Эльбы?

ХОР ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ. Злые славяне!

ПАТЕР (*горячась*). Vere dictus: злые славяне. Они неполноценные люди, и поэтому истинно говорится: на восток лежат наши пути, и мы отвоюем немецкие земли и прогоним злобных славян! У нас законное право на те края и pota bene — мы их отберем, если придется, и грубой силой.

КУНИФРИД. В атмосфере такого мирного обучения я подрастал, изучал науки, искусства, пока не стал юношей.

Колокольный звон. Григорианская месса.

Колокольный звон и благочестивое пение были также и последними впечатлениями моего детства. А потом я оказался на улице. Один, без всяких средств, не владеющий оружием и едва обученный верховой езде.

ОТЕЦ. Сильному открыт весь мир.

КУНИФРИД. Звучало у меня в ушах изречение отца.

Аккорд на струнном инструменте.

Я стал миннезингером.

Цоканье копыт.

На старой кляче, с гитарой в руках странствовал я от города к городу.

Поет под лютню.

Есть в мире высшая отрада —
В глаза любимого лица
Смотреть, не отрывая взгляда,
Любуясь ими без конца.
Всемиловнейшая дама!
Не избегай меня упрямо,
Взгляни — и силой волшебства
Любовь переложу в слова.¹

¹ Здесь и далее в пьесе перевод стихов К. Богатырева.

ЦЕДЕВИЦ (*всхлипывая*). Чудесно! Прямо за сердце берет! Пенне размягло мою очерствевшую душу, и слезы катятся по бороде. Я, оказывается, чувствителен к искусству... Пью этот кубок за тебя, рыцарь Раупенбуль!

КУНИФРИД. Покорно благодарю, Ваша светлость.

ЦЕДЕВИЦ (*поет*). Хочешь обойти башенки моей крепости?

КУНИФРИД. С удовольствием!

ЦЕДЕВИЦ. Тогда пойдём!

Шаги.

Между прочим, этот ковер у тебя под ногами настоящий персидский, ручной работы. Узор удивительно искусен. Обошелся мне в двадцать фунтов серебра.

КУНИФРИД. Поразительно!

Скрип дверей.

ЦЕДЕВИЦ. А эта вот дверь (*стучит по ней*) покрыта прекрасной арабской резьбой. Стоила мне сорок два фунта серебра.

КУНИФРИД. Поразительно!

ЦЕДЕВИЦ. Теперь все это еще дороже. В палестинских гаванях засели турки, дерут по три шкуры. Кто же может столько платить!

Выходят наружу.

Ах, какая луна! Свежий ветер дует с севера. Я вновь в состоянии думать, как мне подобает: точно и остро, без вялых мечтаний и сладких сантиментов... Послушай, дражайший Раупенболь, я часто задумывался над тем, почему бы не поставить искусство на службу полезному делу. Что ты на это скажешь?

КУНИФРИД. Я не совсем понимаю...

ЦЕДЕВИЦ. Видишь ли, как трезвый человек, я мысленно взвешиваю, может ли искусство повысить в глазах людей цену вещей, которые они должны купить?

КУНИФРИД. Никогда об этом не думал.

ЦЕДЕВИЦ. Так подумай!

Они идут дальше.

Что нового на свете?

КУНИФРИД (*елейно*). Господин фон Цедевиц! Вы исключительно богатый человек.

ЦЕДЕВИЦ. Знаю!

КУНИФРИД (*елейно*). А я странствующий певец, зарабатываю себе на жизнь между прочим и тем, что разношу слухи по миру.

ЦЕДЕВИЦ. Вот тебе золотой!

КУНИФРИД. Покорнейше благодарю. (*Тонем докладчика.*) В Трирском соборе выставлены лохмотья, которые выдают за одежду Христа. По счету это уже седьмые. Несмотря на кару, которую понес за свое непослушание Генрих, герцог Вельфский, по прозвищу Лев, непокорность князей по-прежнему не знает границ....

Топот и ржание множества коней.

ЦЕДЕВИЦ. Это мой табун возвращается с выгона. Голов пятьдесят статных коней.

КУНИФРИД. Прекрасные животные!

ЦЕДЕВИЦ. Всего у меня их больше восьмисот. А точно сказать: восемьсот семьдесят два.

КУНИФРИД. Поразительная цифра.

ЦЕДЕВИЦ. Разведение лошадей — моя страсть.

КУНИФРИД. Ваши кони славятся повсюду.

ЦЕДЕВИЦ. Я думаю! Хе-хе! К сожалению, фураж, конюшня — все это дорого обходится. А никто не в силах выбить из своих крепостных больше того, что у них есть.

КУНИФРИД. Но ведь на ваших лошадей всегда найдутся покупатели!

ЦЕДЕВИЦ. Надо бы побольше, милейший, надо бы побольше! Знаешь, я хочу тебе кое-что предложить. Оставайся у меня. Но не долдонь мне о любви, а сложи-ка несколько вдохновенных песен во славу моих лошадок. Может, они тогда пойдут лучше. Неплохое предложеньице?

КУНИФРИД. Ну еще бы! Такое под ногами не валяется. Я прекратил полную опасностей бродячую жизнь. Стал наведываться в трапезную принадлежащего Цедевицу замка и нести регулярную службу.

НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЙ ХОР МУЖСКИХ ГОЛОСОВ (поет под брелчание лютни):

Граф Цедевиц, замечу кстати,—
Твоих коней прекрасны стати.

КУНИФРИД. Так и в подобном же роде я сочинял. А потом разучивал эти стишки с холопами, которые распевали их в городах, богатых селах и при дворах.

ЦЕДЕВИЦ. Ну, милейший Раупенбиль, работаешь?

КУНИФРИД. Стараюсь!

ЦЕДЕВИЦ. На одном старании далеко не уедешь. Я нанял тебя, чтобы возрос оборот.

КУНИФРИД. Но он же растет!

ЦЕДЕВИЦ. Недостаточно, милейший, недостаточно. Твои харин встают ежемесячно в одного подростшего жеребца. Певцы — в двух жеребцов. А из ста двадцати двухлеток я продал пока только сорок, это мало. Мне нужно раздуть большое дело, продавать по пятьдесят, шестьдесят голов. Придумай-ка что-нибудь.

КУНИФРИД. И я придумал.

Цоканье копыт.

Прихватив конюха и неоседланного мерина из графских конюшен, я поскакал в Вормс и направился прямо к королевскому дворцу.

ЭЛИЗАБЕТ. Кого ожидаешь, рыцарь?

КУНИФРИД. Я жду герцога, благородная госпожа.

ЭЛИЗАБЕТ. И долго ждешь?

КУНИФРИД. Уже пять минут.

ЭЛИЗАБЕТ. Мой отец очень занят. Но мне жаль тебя, прекрасный рыцарь. Попытаюсь провести тебя внутрь.

КУНИФРИД (*восторженно*). Бог да благословит вас и вашу красоту!

ЭЛИЗАБЕТ. Следуй за мной!

Шаги. Звук открывающейся двери.

ГЕРЦОГ (*с полным ртом*). Это ты, Элизабет?

ЭЛИЗАБЕТ. Этот рыцарь ждет уже пять минут.

ГЕРЦОГ (*жуя*). Я, собственно, не хотел никакого... Ну ладно уж. Оставь меня, дитя.

Шаги. Звуки закрывающейся двери.

(*Чавкая.*) Ну, и что тебе надо? Говори короче! (*Слышно, как он пьет.*) Меня ждут неотложные государственные дела.

КУНИФРИД. Меня зовут Кунифрид, рыцарь фон Раупенбиль.

ГЕРЦОГ. Прекрасное имя!

КУНИФРИД. Мой господин, граф Ганс фон Цедевиц, повелел спросить вас, не пожелаете ли вы, высокий предводитель императорского войска, купить для армейского обоза несколько десятков отборных коней из конюшен Цедевица.

ГЕРЦОГ. Любезнейший — э-э...

КУНИФРИД. Раупенбиль.

ГЕРЦОГ. Любезнейший Раупенбиль. Я, правда, весьма расположен к твоему господину, а моему далекому другу Цедевицу, но личные отношения не должны влиять на такие дела. Я могу пополнять императорские конюшни только после тщательного отбора и осмотра коней. Отберу ли я лошадей Цедевица — не сейчас решать.

КУНИФРИД. Мы можем существенно облегчить ваше решение, ваше высочество.

ГЕРЦОГ. Болван! Я неподкупен.

КУНИФРИД. В этом ни у кого нет ни малейшего сомнения.

ГЕРЦОГ. Тогда чего же ты хочешь?

КУНИФРИД. Мы можем одолжить вашему герцогскому высочеству одного из своих коней.

ГЕРЦОГ. А я что с ним буду делать?

КУНИФРИД. Вы будете его испытывать.

ГЕРЦОГ. Так..

КУНИФРИД. Вы можете продолжать испытания столь долго, сколь пожелаете.

ГЕРЦОГ. И при этом платить за корм и присмотр из собственного кармана?!

КУНИФРИД. Прошу простить: расходы по помещению, фуражу и уходу будем нести мы.

ГЕРЦОГ. Вы? Гм... А я буду испытывать лошадь?

КУНИФРИД. Сколько вам заблагорассудится.

ГЕРЦОГ. И при этом она будет оставаться как бы...

КУНИФРИД. Нашей собственностью.

ГЕРЦОГ. Она будет вроде как бы... одолжена?

КУНИФРИД. Одолжена.

ГЕРЦОГ. Это, пожалуй, никто не смог бы расценить как взяточничество.

КУНИФРИД. Ни в коем случае!

ГЕРЦОГ. Ведь было бы ужасно прослыть продажным!

Пауза.

КУНИФРИД (*осторожно*). Лошадь и слуга у меня с собой.

ГЕРЦОГ. А! Прекрасная предусмотрительность! И вообще совершенно свежая идея! Это ты придумал?

КУНИФРИД. Да, ваше высочество.

ГЕРЦОГ. Ты как будто бы умный парень... Гм. Конечно, я и сейчас еще ничего не могу сказать о закупках для королевских конюшен. Но я подумую...

Пауза.

Но скажи-ка, любезнейший...

КУНИФРИД. Да, ваше величество?

ГЕРЦОГ. Что, твое слово имеет вес у Цедевица?

КУНИФРИД. Кое-какой вес имеет.

ГЕРЦОГ. А в замке много коней?

КУНИФРИД. Очень.

ГЕРЦОГ. Так, может быть, вы сможете мне одолжить еще двух или трех?

КУНИФРИД. Мы смогли. И господин Цедевиц продал двести восемнадцать коней различного возраста для императорских конюшен.

ЦЕДЕВИЦ. Я еще никогда не совершал таких блестящих операций.

КУНИФРИД. Частенько говаривал он мне и другим, и его благородное лицо светилось от радости. Но...

ЦЕДЕВИЦ. Какой позор!

КУНИФРИД. Воскликнул он однажды.

ЦЕДЕВИЦ. Послушай, Раупенбиль: кто-то пронюхал про историю с одолженными конями. Уличные певцы распевают об этом по деревням...

Кунифрид хочет что-то возразить.

Молчи, негодяй! Это была твоя выдумка! И только потому, что у меня были хорошие доходы в этом году, я согласен взглянуть сквозь пальцы на то, что ты меня ославил. Собирай свое барахло и убирайся сию же минуту!

КУНИФРИД. И я собрал верхнее и исподнее и кошель с монетами, накопленными с таким трудом. Я вывел свою кобылу из конюшни Цедевица и потрусил прочь. Ох и жестоко обращаются в наш век с талантливыми людьми, и неблагодарность — вот пища слуг. *(Вздыхает и пишет дальше)*. Я, рыцарь Раупенбиль, подхожу теперь в своем жизнеописании к тем годам, когда судьба дарила мне великие надежды, но тогда же я познал, что земное счастье — пустая суета. *Vanitas vanitatem. (Вздыхает)*. Я снова скакал на своем коне по нашей земле.

Звук копыт.

Но вскоре устал от бродяжничества и от ночлегов каждый раз под новым кровом. В тысяча сто восемьдесят седьмом году...

Шум толпы.

...я наткнулся в одном швабском селе на толпу, стоящую посреди дороги. Соскочив с седла, я спросил близстоящего...

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Тсс!

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Патер опять говорит так возвышенно!

МОНАХ *(проповедует)*. Я бы мог поведать вам о подробностях — бесчисленных подробностях! Но воздержусь от этого и обращаю ваше внимание на предметы более высокие. Гроб господень до сих пор не в наших руках. Турки и магометане оскверняют святые места. Они препятствуют благочестивым паломникам.

Они грабят и убивают их И я спрашиваю вас, христиане,
вечно ли будем мы сносить это?

ВЗБУДОРАЖЕННАЯ ТОЛПА. Нет!

МОНАХ. Мы не можем это стерпеть. Ваша правда. Но не бессиль-
ный гнев пусть правит нами. Мы освободим гроб господень,
и богатой добычей заплатят нам те, которые его оскверняли.
Каждый рыцарь, млад он или стар, менестрель или оружено-
сец, подымет крест и поспешит под знамена веры. И посему
я спрашиваю вас, стоящих передо мною плечом к плечу. Хотн-
те вы третий крестовый поход?

ВЗБУДОРАЖЕННАЯ ТОЛПА. Хотим!

КУНИФРИД. Хотел его и я. Слово «добыча» звучит весьма заман-
чиво для бедного певца и бродяги. Кроме того, меня тянуло
к небывалым приключениям и дальним странам.

Звук копыт.

И я подался в Пфальц, где собирались рыцари под знамена
крестового похода.

Шум многолюдного сборища.

На постоянных дворах все кишело и суетилось. Я долго ждал.
И вдруг заметил в толпе знакомое лицо и поспешил встать
так, что его взгляд...

ГЕРЦОГ. А, рыцарь, ведь мы встречались, не так ли?

КУНИФРИД. Конечно, ваше высочество.

ГЕРЦОГ. Когда ж это было?

КУНИФРИД. Полтора года назад, когда я служил у Цедевица,
графа Пфальцского.

ГЕРЦОГ. Ага! Подойди-ка.

Шаги.

Это ты тогда придумал ту штуку с одолженными конями?

КУНИФРИД. Разумеется, ваше высочество.

ГЕРЦОГ. Превосходная была затея, жаль, что о ней прослышали.

Мнение людское тогда меня не пощадило, но собрание импе-
нитых юристов по справедливости подтвердило чистоту моих
поступков. Сегодня все позабыто. У времени короткая память.

А ты чем занят?

КУНИФРИД. Собираюсь, подобно многим, идти отвоевывать гроб
господень.

ГЕРЦОГ. Похвально, похвально.

КУНИФРИД. Но раз уж случай благоволил свести меня с вами...

ГЕРЦОГ. Да, совершенная случайность!

КУНИФРИД. То я осмелюсь спросить вас, предводителя императорских войск, не могут ли мои скромные дарования быть полезны вам и великому делу.

ГЕРЦОГ. Хм. А писать ты умеешь?

КУНИФРИД. Да.

ГЕРЦОГ. А читать?

КУНИФРИД. Да.

ГЕРЦОГ. А знаешь ли по-латыни?

КУНИФРИД. Да.

ГЕРЦОГ. С малостью арифметики ты тоже, видимо, справишься. Немного считать умеет каждый — как бы иначе он жил? Мой секретарь, заурядный малый, как раз сбежал. Если хочешь, можешь занять его место.

КУНИФРИД. Хотел ли я?! Я был радехонек! И стал восседать в каменных стенах, среди бумаг и документов с весьма важным содержанием.

ЭЛИЗАБЕТ. Ну, мой прекрасный рыцарь...

КУНИФРИД. О благородная госпожа! Бог да благословит вас!

ЭЛИЗАБЕТ. Я уже слышала, что ты здесь, и хорошо тебя помню, мой милый рыцарь.

КУНИФРИД. Я не могу вас забыть, благородная госпожа, с тех самых пор, как я вас впервые увидел.

ЭЛИЗАБЕТ. Твоя бедная рука покрылась чернилами и пылью.

КУНИФРИД. Делопроизводство. У меня столько работы!

ЭЛИЗАБЕТ. Сердечные успехи не следует приносить в жертву делам. Лишь гармоничное равновесие создает совершенного человека.

КУНИФРИД. Какая высокая мудрость!

ЭЛИЗАБЕТ. Этому научил меня мой исповедник. Поэтому удовольствие и не может быть грехом.

КУНИФРИД. Конечно, не может.

ЭЛИЗАБЕТ. Посмотри, месяц взошел.

КУНИФРИД. Да-а.

ЭЛИЗАБЕТ. Мне хочется погулять по саду, но я боюсь темноты. Пойдем-ка, ты защитишь меня.

КУНИФРИД. О сладостная просьба!

Они уходят.

ЭЛИЗАБЕТ. Воздух полон благоухания, ты чувствуешь?

КУНИФРИД. Да-да, чувствую!

Трели соловья.

ЭЛИЗАБЕТ. И соловей поет в кустах шиповника Ты слышишь?

КУНИФРИД. Да-да, слышу!

ЭЛИЗАБЕТ. И ветер, такой теплый и ласковый, треплет волосы.

Правда?

КУНИФРИД. Да-да, правда!

ЭЛИЗАБЕТ. О, какой чудесный ветер! Ты и не поверишь, прекрасный рыцарь, как скучна моя жизнь! Как жажду я развлечений!

Ты внес в нее разнообразие.

КУНИФРИД. Благодарю, прекрасная госпожа.

ЭЛИЗАБЕТ. Тебе нравится меня сопровождать?

КУНИФРИД. Что может быть чудесней!

ЭЛИЗАБЕТ. Постарайся быть полезным отцу. Тогда ты сможешь делать это часто, может... всегда.

КУНИФРИД (*из глубины души*). Я не пожалею последних сил!

ЭЛИЗАБЕТ. Твои силы... Как худа твоя рука. Твое лицо. Твоя грудь... я чувствую каждую косточку.

КУНИФРИД. Я долго странствовал по изрытым ухабами дорогам.

ЭЛИЗАБЕТ. Я шепну отцу, и он сделает так, что ты снова наберешься сил...

КУНИФРИД. Так она, наверно, и поступила. Потому что...

ГЕРЦОГ. Ты уже полдничал?

КУНИФРИД. Нет еще.

ГЕРЦОГ. Знатный гость не приехал. Не годится, чтоб кушанья пропадали зря. Экономия — признак мудрости. А когда готовишься к войне, самое важное — внушить народу доверие к мудрости властителей. Идем. Я тебя приглашаю.

Шаги.

СЛУГА. Суп!

Звон посуды.

ГЕРЦОГ. Ну как, справляешься со своей работой?

КУНИФРИД. Стараюсь.

Они едят.

ГЕРЦОГ. Как, нравится тебе?

КУНИФРИД. Что, работа?

ГЕРЦОГ. Нет, суп!

КУНИФРИД. О, превосходный. Но...

ГЕРЦОГ. Но непривычный?

КУНИФРИД. Очень!

ГЕРЦОГ. Такова мода. Людям с деньгами всегда хочется чего-нибудь заморского. Ты ешь суп из риса, приправленный молотым перцем.

КУНИФРИД. А что такое рис?

ГЕРЦОГ. Злак, растущий в болотах Индии.

КУНИФРИД. А перец?

ГЕРЦОГ. Плод из индийских садов.

КУНИФРИД. Ага.

ГЕРЦОГ. Понимаешь теперь?

КУНИФРИД. Что?

ГЕРЦОГ. Ты что — ни о чем не догадываешься?

КУНИФРИД. Ни о чем.

ГЕРЦОГ. Ага. *(Пауза.)* А ты вообще знаешь, где Индия?

КУНИФРИД. Нет.

ГЕРЦОГ. Она расположена в Азии. Лежит к юго-востоку от нас, за Палестиной. *(Пауза.)* Понял теперь?

КУНИФРИД. Что именно?

ГЕРЦОГ. Может, и к лучшему, что ты в этом не разбираешься. Послушай: наш крестовый поход собирается медленно. Нет денег — на фураж, на оружие. Народ скуп. Нет ли у тебя идеи насчет того, что бы им такое сказать, дабы они раскошались?

КУНИФРИД. Я начал размышлять, памятуя о милой Элизабет. Я размышлял много дней подряд, чтобы найти несколько фраз, простых, захватывающих, доходящих до сердца народа...

Шум ожидающей толпы.

КУНИФРИД *(держит речь)*. Спасите гроб господень! Христиане, в наши дни может быть лишь один помысел, который должен руководить всеми нашими делами. Спасите гроб господень! — И тысячи рыцарей подняли знак креста и последовали этому зову. Но что же им есть во время долгого пути? Как пополнить вооружение? Поэтому мы призываем вас: развяжите кошельки! Мы не жалеем живота и жизни. Вы же, остающиеся здесь, помогайте жертвованиями, развязывайте кошельки! Несмотря на эти зажигательные речи, результат был весьма плачевным. Однажды герцог сказал...

ГЕРЦОГ. Сегодня приезжает банкир. Последи, чтоб мне не мешали.

КУНИФРИД. Я спросил: а что это такое — банкир?

ГЕРЦОГ. Ты не знаешь? Новая профессия, распространенная среди итальянцев. Это люди, обменивающие монеты различных стран и ссужающие деньги — новым способом. А просить — просить эти деньги в долг должны, к сожалению *(вздыхает)*, мы.

КУНИФРИД. Банкир прибыл и тотчас же возбудил во мне любопытство. Это был богато одетый, полноватый господин, окруженный каким-то немислимым благоуханием.

БАНКИР. Presto, presto, condottiere! Voliano parlare!

Звук открывающейся двери.

КУНИФРИД. По недосмотру и я попал в комнату, где сидели герцог и банкир.

БАНКИР. No, no, condottiere. Пока у меня еще нет флота, может быть, будет позже. Но я не хочу, чтобы мои соперники получали от вас мои же деньги.

ГЕРЦОГ. Трудновато будет втолковать это нашим князьям.

БАНКИР. Prego, condottiere. Конечно, есть и другие банкиры, но я ведь самый богатый. А la fine! — я финансирую папу. А папа также желает, чтобы вы шли сухопутным путем.

ГЕРЦОГ. Что тебе здесь надо, Раупенбаль?

КУНИФРИД. Тон, которым герцог произнес это, очень меня испугал. Через пять часов они появились. Оба изможденные, но довольный банкир потирал руки.

БАНКИР. Meraviglioso, si, si. Grazia, condottiere, molto grazia.

КУНИФРИД. Когда он отбыл, герцог сказал:

ГЕРЦОГ (*себе под нос*). Упрямый подлец! (*Вздыхает.*) Но как же можно вести войну без денег, не правда ли?

КУНИФРИД. Конечно, нельзя.

ГЕРЦОГ. А чтобы их получить, нужно идти на жертвы. Даже личные.

КУНИФРИД. Разумеется, господин герцог.

ГЕРЦОГ. Банкир ссужает нам деньги, но при условии, чтобы мы достигли Иерусалима сухопутным путем.

КУНИФРИД. Ну, так что же?

ГЕРЦОГ. Тебе легко говорить. Но такие вопросы решаются собранием князей, а большинство князей за морской путь.

КУНИФРИД. Может быть, удастся переубедить большинство?

ГЕРЦОГ. Это невозможно.

КУНИФРИД. Ну, часть большинства.

ГЕРЦОГ. Нужно найти какой-нибудь княжеский род, имеющий много приверженцев в собрании, и перетянуть его на нашу сторону.

КУНИФРИД. Ну вот и выход нашелся.

ГЕРЦОГ. Я знаю такое семейство.

КУНИФРИД. Кто же это, ваше высочество?

ГЕРЦОГ. Мормельштейны. Их бы хватило.

КУНИФРИД. Так попытайтесь.

ГЕРЦОГ. Мормельштейны сердиты на меня, потому что я кое в чем отказал юному Мормельштейну.

КУНИФРИД. Теперь надо ему потрафить.

ГЕРЦОГ. Ты думаешь?

КУНИФРИД. Ну конечно, господин герцог.

ГЕРЦОГ. Да, пожалуй, так я и вынужден буду сделать. (*Вздыхает.*) Бедное дитя!

КУНИФРИД. Что вы сказали?

ГЕРЦОГ. Я подумал о ней.

КУНИФРИД. О ком?

ГЕРЦОГ. Об Элизабет.

КУНИФРИД. О вашей дочери?!

ГЕРЦОГ. О ком же еще!

КУНИФРИД. Что с ней случилось?

ГЕРЦОГ. Молодой Мормельштейн хочет жениться на ней. (*Вздыхает.*) И я должен ее ему отдать.

КУНИФРИД. О, я болван! Своим слепым рвением я погубил себя и свое счастье!

ГЕРЦОГ. Старик и понятия не имеет, чем он мне на этот раз обязан.

КУНИФРИД. Сказал герцог. Старик — это император Фридрих Барбаросса. Ему тогда было уже за восемьдесят, и я увидел его.

Звуки фанфар.

В Майнце на собрании князей. Взволнованно гудящий зал.

ИМПЕРАТОР (*говорит по-стариковски, постукивая по столу*). Господа рыцари! Я должен призвать вас, господа рыцари, последовать моему императорскому предначертанию, которое, господа рыцари, совершенно созвучно идеям и целям церкви. Мы все христиане, и мы пошли в крестовый поход. Это крестовый поход, господа рыцари, и поскольку мы начали крестовый поход, так давайте утвердим крест повсюду, куда нас крестовый поход заведет, господа. Я поостерегусь, господа, говорить здесь... говорить здесь в чьих-либо интересах, кроме интересов собственной совести. И ведь в конце концов все равно, равным счетом все равно, господа, какую дорогу мы изберем, если она приведет нас в святую землю и мы наконец освободим гроб господень!

Шум согласия и несогласия.

ГЕРЦОГ. Слово имеет граф фон Эрленбуш.

ЭРЛЕНБУШ. При всем глубочайшем уважении к нашему господину и императору я все же должен констатировать, что это отнюдь не все равно, каким путем нам идти. Путь по морю, может быть, не короче. Но он безусловно дешевле. Если мы хотим освободить гроб господень, то хотим именно этого и ничего больше. И я не согласен жертвовать своей шкурой для укрепления власти папы в его собственном доме.

ВОЗГЛАСЫ. Правильно!

Волнение.

ГЕРЦОГ. Слово имеет граф фон Мормельштейн.

МОРМЕЛЬШТЕЙН. Конечно, это правда, что морской путь дешвле. Мои друзья знают, что я всегда придерживался этого мнения. Мы хотим освободить гроб господень, и ничего иного мы не хотим. Тратить напрасно, я подчеркиваю, напрасно, силы на пути туда значило бы опаснейшим образом ослабить наш крестовый поход.

ВОЗГЛАСЫ. Вот именно! Правильно!

МОРМЕЛЬШТЕЙН. Но является ли, спросил я себя тогда, является ли гробом господним лишь то место, где погребен Спаситель? И не всюду ли гроб господень, где господствует христианская вера? И когда речь идет о спасении гроба господня, не подobaет ли спасти его всюду, где он в опасности? И не там ли как раз это, куда поведет нас сухопутная дорога?

ВОЗГЛАСЫ. Буквоедство! Предательство!

МОРМЕЛЬШТЕЙН. Я чрезвычайно смущен, что слышу подобные слова от своих собственных друзей. Потому что мои соображения исходят из духа христианства. Если мои друзья не видят величия задачи и размеров опасности, они предают , сами себя, и я не намерен следовать их примеру.

Шум.

ГЕРЦОГ (*говорит, с трудом перекрывая шум*). Решать будет большинство собрания.

КУНИФРИД. И большинство решило: сухопутный путь. Час расставания близился. И для меня тоже.

ЭЛИЗАБЕТ (*рыдая*). Прощай, мой любимый Кунифрид. Не знаю, увидимся ли еще. Ведь если ты даже вернешься невредимым, я уже буду графиней Мормельштейн, окруженной шпионами, которые будут охранять мою добродетель. Прими же это кольцо с моей руки как залог любви. Бог да хранит тебя. Прощай!

КУНИФРИД. Я продел в него шнур и повесил на шею, а на сердце опять стало так тяжело, ах, как тяжело!

Звон колоколов. Грегорианская месса.

Множество раз благословленные церковью,

Крики восторга.

приветствуемые толпой провожающих, мы отправились в путь. Мы поскакали на юг и соединились с...

Звук копыт.

ВОЗГЛАСЫ. Damned! Проклятая дорога!

КУНИФРИД. ...богобоязненными рыцарями Британии и с...

ВОЗГЛАСЫ. Merde! Трижды проклятая жарница!

КУНИФРИД. ...очень богобоязненными рыцарями Франции. Мы скакали долго, все время на юго-восток, и наконец...

Звук рога.

приблизились к границе земель византийской церкви.

ВОЗГЛАСЫ. К атаке изготoвься! Вперед! За знаменем!

Звон оружия.

КУНИФРИД. И стены обратились в прах. Владыка этой земли был закован в кандалы и вынужден был предстать перед одним из наших священников, который сказал:

СВЯЩЕННИК (*как по писаному*). Я легат его святейшества папы и говорю от его имени. Двадцать лет тому назад ты был послушным сыном нашей церкви, не так ли?

КНЯЗЬ. Так.

СВЯЩЕННИК. После этого ты перешел в византийскую веру, веру пагубную и еретическую, и тем проявил непослушание по отношению к папскому престолу. Не так ли?

КНЯЗЬ. Так.

СВЯЩЕННИК. Согласен ли ты отречься от своего еретичества?

КНЯЗЬ. Что мне еще остается...

СВЯЩЕННИК. Твоими устами глаголет вновь возродившееся благочестие. Становись на колени! Повторяй за мной: отец мой, я грешен.

КНЯЗЬ. Я грешен.

СВЯЩЕННИК. Я отрекаюсь от византийского еретичества.

КНЯЗЬ. Я отрекаюсь.

СВЯЩЕННИК. И прихожу под сень единственно благословенной церкви и папы — наместника бога на земле.

КНЯЗЬ. Прихожу под сень.

СВЯЩЕННИК. Я обязуюсь уплатить папскому престолу церковный налог за истекшие двенадцать лет в размере... В каком размере?

ГОЛОС. Двести фунтов золотом, ваше высокопреосвященство.

СВЯЩЕННИК. В размере двухсот фунтов золотом.

КНЯЗЬ. Обязуюсь уплатить.

СВЯЩЕННИК. Когда?

КНЯЗЬ. Принимая во внимание разрушения... Я не знаю.

СВЯЩЕННИК. Я оставляю тебе этого braveго монаха, который поможет тебе молитвой и делом при сборе налогов.

Звук рога.

КУНИФРИД. Таких отпавших от церкви земель было еще много, и множество бравых монахов остались при князьях.

Звук копыт.

Мы же опять поскакали на юго-восток и скакали долго, пока наконец

Звук рожка.

не достигли святой земли.

ВОЗГЛАСЫ. К атаке готовься! Вперед! За знаменем!

Бряцание оружия.

КУНИФРИД. И победа сопутствовала нам, потому что нас было много. А после головы язычников красовались на копьях особенно ревностных крестоносцев,

Звуки грегорианской мессы.

благодаривших небо за победу.

ГЕРЦОГ. Какая неаппетитная картина!

КУНИФРИД. Сказал герцог.

ГЕРЦОГ. Я говорю про головы. Но в конце концов это благословенная и нужная война.

КУНИФРИД. Мне от этой картины стало тошно, так же, очевидно, как и некоторым другим, потому что...

ГЕРЦОГ. Люди устали, надо поддержать в них бодрость духа. Ты ведь поэт, Раупенбиль, сочини что-нибудь.

КУНИФРИД. Я сочинил.

МУЖСКОЙ ХОР (*поет в ритме марша*).

Нас мучит жара,

Кидает в озноб.

Спасти нам пора

Господень гроб.

КУНИФРИД. Мы медленно продвигались вперед. А потом случилось это.

ГЕРЦОГ. Моя палатка хорошо охраняется?

КУНИФРИД. Да, герцог.

ГЕРЦОГ. Можешь ты мне поручиться, что нам не помешают?

КУНИФРИД. Да, герцог.

ГЕРЦОГ. Прибыли английский кардинал и французский коннетабль.

Я не хотел бы, чтоб об этом знали. Ты будешь охранять палатку.

КУНИФРИД. Да, мой герцог.

Шаги по песку.

ГЕРЦОГ. Вот они идут.— Господа!

ФРАНЦУЗ. Bon soir, mon Herzog.

АНГЛИЧАНИН. How are you, Herzog.

ГЕРЦОГ. Кунифрид, позаботься об оруженосцах этих господ.— Прошу входить.

Шаги.

ПЬЕР (*зевает*). Это надолго, Генри?

ГЕНРИ. Боюсь, что да.

ПЬЕР. Что касается моего господина, то он бы управился за пять минут. Он не любит переговоров.

ГЕНРИ. Мой тоже. А твой?

КУНИФРИД. Раньше он всегда вел переговоры долго и тщательно.

ПЬЕР. Так я и думал. Как говорит мой господин, немцы не знают большего удовольствия, чем говорить о деле как можно длиннее.

КУНИФРИД. А в чем состоит дело-то?

ГЕНРИ. Он притворяется, что ничего не знает!

ПЬЕР. А может, он и вправду не знает?

ГЕНРИ. Ты в самом деле ничего не слышал?

КУНИФРИД. Я высоко ценю способность моего господина говорить только о необходимом и молчать о том, что подлежит умолчанию.

ГЕНРИ (*хохот*). Хо-хо! Как ты думаешь, Пьер, они договорятся?

ПЬЕР. Я думаю, что мой господин предложит каждому по трети.

ГЕНРИ. Я бы сказал, это по-честному.

ПЬЕР. А ты что скажешь?

КУНИФРИД. Я не знаю, о чем вы говорите.

ГЕНРИ (*смеется*). Он не знает, ха, он не знает!

ПЬЕР. Послушай, рыцарь, ты действительно не знаешь, о чем ведутся переговоры?

КУНИФРИД. Да.

ПЬЕР. Ну, тогда мы тебе скажем...

ГЕНРИ (*выстреливает как из лука*). Перец!

КУНИФРИД. Перец?

ПЬЕР. Что же еще? Пути, по которым перец поступает из Индии, снова в руках христиан.

ГЕНРИ. И гавань Аккон, из которой пряности поступают в наши страны, тоже теперь принадлежит нам.

ПЬЕР. А переговоры теперь идут о том, какую часть оборота получит каждая из наших стран и связанные с ней торговые фирмы.

ГЕНРИ. За это же, собственно, мы и воевали.

ПЬЕР. Посмотрите на него — он потрясен!

ГЕНРИ. Ни слова не вымолвит.

КУНИФРИД А... а гроб господень?

ГЕНРИ (*смеется*). Гроб господень, ах! Гроб господень! (*Давится от смеха. Пауза.*)

ПЬЕР (*зевает*). Предложение моего господина как будто не находит отклика.

ГЕНРИ. Между тем треть — это так разумно!

КУНИФРИД (*озлобленно*). Наше войско самое большое!

ПЬЕР. Вот, вот — как раз этого и боялся мой господин.

ГЕНРИ. А ты что предложишь?

КУНИФРИД. Половину!

ПЬЕР. О-ла-ла! Вот бы обрадовался мой господин.

ГЕНРИ. Самое большое — тридцать пять сотых.

ПЬЕР. Самое большое! Оба наши войска вместе больше немецкого.

КУНИФРИД. По меньшей мере — сорок пять сотых!

ПЬЕР и ГЕНРИ. Невозможно!

Шаги.

ГЕРЦОГ. Итак, четыре. Это сурово, господа. Я соглашаюсь только потому, что хочу сохранить наше единство.

ФРАНЦУЗ. Что-нибудь нужно же сделать и для духа.

ГЕРЦОГ. Обращаю ваше внимание на то, коннетабль, что, получив возможность торговать перцем, мы лишь покрываем наши долги. Я спрашиваю себя, зачем мы тогда вообще вели эту войну.

ФРАНЦУЗ. Чтобы освободить гроб господень, разве вы забыли? (*Прыскает. Ощущает тотчас неловкость. Кашляет.*) В остальном же мы заверяем вас, что, несмотря на только что счастливо устраненные небольшие разногласия, наша дружба остается неизменной и прочной.

АНГЛИЧАНИН (*быстро*). Величие нашей дружбы проявляется в том, что она не боится выявлять разногласия и устранять их.

ФРАНЦУЗ (*быстро*). Именно так. Пойдем, кардинал, я испытываю настоятельную потребность повидаться с моей танцовщицей-турчанкой.

Au revoir, mon Herzog. Идем, Пьер.

АНГЛИЧАНИН. Good bye, Herzog. Come along, Henry.

Шаги.

ГЕРЦОГ (*медленно*). До свиданья... мошенники!

КУНИФРИД. Пусть каждый сам судит, что я после этого почувствовал. Я рассчитывал на большую прибыль. У меня же были скромные трофеи, главная добыча ускользнула из рук. Теперь, год спустя, горечью отозвался во мне вкус когда-то съеденного супа с перцем. Я озлобился. Узнав все, я хотел ухватить хотя бы кусок от пирога. Смее утверждать, что действовал я уме-

ло. Ведь сказал же я как-то одному рыцарю: а ну-ка, всмотришь как следует!

РЫЦАРЬ. Верблюды за верблюдом идут к гавани.

КУНИФРИД. Идут тяжело нагруженные.

РЫЦАРЬ. Не знаешь, чем?

КУНИФРИД. Рисом и перцем из Индии. Цинковками из Мадраса.

Нежными тканями из Дамаска и Мосула. Шелками из Китая.

РЫЦАРЬ. Бог мой! И кому же все это достанется?

КУНИФРИД. Тем в Европе, кто в состоянии это купить.

РЫЦАРЬ (*жадно*). А это доходное дело?

КУНИФРИД. Очень. Для итальянских купцов и для крупной знати.

РЫЦАРЬ. А я загубил свою единственную лошадь за пару награбленных серебряных кубков! Ох, черт!

КУНИФРИД. Подобные разговоры я вел часто, и они принесли свои плоды.

Большая толпа. Волнение.

ВОЗМУЩЕННЫЕ ГОЛОСА. Мы никогда больше не будем участвовать в крестовом походе. Мы хотели освободить гроб господень, а не пути для ввоза пряностей. Мы протестуем! Ни одного взмаха мечом за перец!

ГЕРЦОГ (*тихо*). Тсс! Раупенбиль, настоящий бунт! Отойди-ка в сторонку. Я хочу с тобой посоветоваться.

Шаги.

Я еще никогда не видел ничего подобного. Чудовищно! Что им надо?

КУНИФРИД. Их не удовлетворяет мизерная добыча.

ГЕРЦОГ. И что же, они интересуются перцем?

КУНИФРИД. Они поняли, что пряности и ткани стоят дороже, чем их жалкое награбленное добро.

ГЕРЦОГ. Неужели любая тайна выплывает на этом болтливом свете? Нужно что-нибудь предпринять против бунтарей.

КУНИФРИД. Нужно выделить им долю.

ГЕРЦОГ. В чем?

КУНИФРИД. В перце!..

ГЕРЦОГ. Невозможно! Или мы должны основать колонию торговцев перцем?

ГОЛОСА (*в отдалении*). К черту крестовый поход! Это совсем не крестовый поход! К дьяволу перец!

ГЕРЦОГ. Ужасные крики!

КУНИФРИД. Если в торговле перцем сможет принять участие все войско, никто не будет возмущаться.

ГЕРЦОГ. Гм. Может быть... Может быть, ты и прав. О чем ты думаешь?

КУНИФРИД. Каждый рыцарь должен иметь возможность купить здесь перец. Небольшое количество. Он заплатит за него награбленной добычей, и ему будет объявлено, какова его прибыль. Тогда каждый с охотой будет сражаться за торговлю пряностями.

ГЕРЦОГ. Э-э... Перец для всех, не так ли? Перец для народа, так сказать, народный перец? Ну ладно. Я пойду им навстречу.

КУНИФРИД. Он пошел им навстречу, и рыцари...

ГОЛОСА. Вот это звучит уже по-другому! Так можно разговаривать.

КУНИФРИД. Они покупали перец. И я купил. Больше, чем другие. Я был привилегированный сотрудник герцога и получил поэтому особенно большое его количество по особо низкой цене.

Звук рожка.

Между тем весь Иерусалим был уже в наших руках. Те, кто пожелал остаться, перedelили землю и превратили местных жителей в крепостных. Рыцарские ордена построили себе крепости, а гроб мы тоже освободили. Повсюду готовились к отъезду. В последний раз принес я овоему господину кушанье в палатку. Он сидел за столом, жадно поглядывая на мясо. И когда я нагнулся над его морщинистым затылком и хотел положить ему жаркого, что-то выскользнуло у меня из ворота рубашки и упало ему в тарелку.

Металлический предмет ударяется о металл.

ГЕРЦОГ. Кольцо? С каких это пор кольца падают с неба?

КУНИФРИД (*поспешно*). Я носил его на шее, мой герцог. Но шнурок разорвался. Пожалуйста, отдайте его мне.

ГЕРЦОГ. Это кольцо мне знакомо. Я подарил его моей дочери Элизабет. Как оно очутилось у тебя, негодяй?

КУНИФРИД. Мой герцог!

ГЕРЦОГ. Ты украл его, негодяй, сознайся!

КУНИФРИД. Нет, нет, мой герцог!

ГЕРЦОГ. То есть?!

КУНИФРИД. Она мне... подарила его.

ГЕРЦОГ. Подарила? Как могла она подарить кольцо тебе, жалкому червю?!

КУНИФРИД. Она сделала это... из любви.

ГЕРЦОГ. Из... чего?

КУНИФРИД. Из любви.

ГЕРЦОГ. Любви?

КУНИФРИД. Она любила меня, господин герцог. Мы любили друг друга.

ГЕРЦОГ. Любила? Ты соблазнил ее, ты, ничтожество! Ты использовал мою благосклонность, чтобы распутничать. И этого негодяя я пригрел на своей груди! Убирайся с глаз моих, развратник! Твои услуги не нужны мне.

Шум волн.

КУНИФРИД. Домой я возвращался на жалком фрагтовом суденышке, заменившем мне корабль герцога. Все, кто переполнял судно, везли по мешочку с перцем. Я тоже лежал на своем мешке с пряностями и мечтал, греясь на солнце, о будущем благополучии.

Очень громкие треск и грохот. Еще более громкий звук льющейся воды.

КРИКИ. Наше судно идет ко дну! Обшивка дала течь! Мы тонем. Спасайся, кто может!

КУНИФРИД. Я прыгнул в воду (*слышно, как он прыгает*), я плыл час за часом (*слышно, как он плышет*), пока не достиг земли, побережья Сицилии. Добрые рыбаки приютили меня. Голодая и перебиваясь милостыней, я пробирался на родину. Перец, составлявший все мое богатство, лежал где-то на морском дне.

КУНИФРИД (*вздыхает и пишет дальше*). После счастливого возвращения из святых мест я, нищий, как и прежде, снова пустился в странствия, распевая песни и сообщая последние новости. Я по-прежнему был миннезингером. Однажды я пел в одном замке.

Поет под гитару.

Взгляни,—и силой волшебства
Любовь переложу в слова.

РОЗА. Как это прекрасно! Как изящно! Я так люблю музыку, что могу вынести даже любовную песню.

КУНИФРИД. Благодарю, прекрасная дама.

РОЗА. Можешь поцеловать мне руку.

КУНИФРИД. Благодарю, прекрасная дама.

РОЗА. Ешь и пей. Стол накрыт для тебя одного. Здесь во дворце одни женщины. Им нужно следить за собой, чтобы не растолстеть.

КУНИФРИД (*жуя*). Благодарю, благородная дама.

РОЗА. Как нравится тебе мой замок?

КУНИФРИД. Он великолепен. Все исполнено вкуса.

РОЗА. Немного мал. Я хотела бы иметь побольше.

КУНИФРИД (*жуя*). Вам подобает иметь самый большой и прекрасный на свете!

РОЗА. Комнат сорок, не больше. В этом замке шестнадцать. Хочешь остаться на несколько дней, рыцарь, на неделю или подольше? Чтобы развлечь меня сладкими песнями, когда мне будет скучно.

КУНИФРИД. О, благодарю! С радостью, благородная дама.

РОЗА. К тому же мне нужен соглядатай и сторож. Заплачу хорошо, не раскаешься.

КУНИФРИД. Я остался, и с большим удовольствием. Два раза мне не везло на господской службе. Теперь моим господином была дама — может быть, дело пойдет лучше? Она была привлекательна и прекрасно сложена. Как будто создана для той галантности, какую я обладаю в совершенстве...

РОЗА (*устало*). Оставь эти позы и комплименты. С меня хватает ночей, а теперь полдень, и мне нужен покой.

КУНИФРИД. Темные слова. Станные слова. К тому же в замке были действительно одни женщины. Лишь вечерами я слышал, как приезжали таинственные посетители, но я их не видел. Только расседланные кони ржали на ночном ветру.

Слышно ржание.

Я ничего не понимал. Потом меня осенила догадка. Я носился с ней целыми днями. Бродил вокруг да около и наконец спросил напрямую.

РОЗА (*вздохнув*). Да, рыцарь, бог дал мне прекрасное тело, приятное лицо, ясный ум. Тело и лицо женщины созданы для удовольствий мужчин. Но разум может помочь извлечь выгоду из этих удовольствий.

КУНИФРИД (*осторожно*). И вы ее извлекли!

РОЗА. Я была бедна. А теперь у меня дворец в шестнадцать комнат.

КУНИФРИД. Вот в чем, стало быть, было дело! Меня охватил ужас, и внутренний голос шепнул мне:

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС КУНИФРИДА. Уходи отсюда. Ты не имеешь доступа к упомянутым удовольствиям, и поэтому лучше уж тогда остаться нравственным.

КУНИФРИД. Я был близок к тому, чтобы собрать свои пожитки. Но тут графиня сказала.

РОЗА. Я хотела бы поговорить с тобой, рыцарь.

КУНИФРИД. Всегда к вашим услугам, благородная дама.

РОЗА. Я присмотрела замок в сорок комнат — такой, какой мне хотелось. И мне нужны деньги.

КУНИФРИД. Вы богаты.

РОЗА. Недостаточно. Мне нужно больше, и нужно срочно. Не можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать?

КУНИФРИД. Ваши гости...

РОЗА. Они слишком тяжело вздыхают, когда дело доходит до платы.

КУНИФРИД. Вы должны просить и льстить им.

РОЗА. Их кошелек глух к лести.

Пауза.

КУНИФРИД (*медленно*). А они занимают высокое положение?

РОЗА. Все графы и полководцы.

КУНИФРИД. Они никогда не выбалтывают тайн?

РОЗА. Жар моей постели развязывает языки.

КУНИФРИД. Не забывайте сказанного. Тайну можно продать в ином месте за хорошие деньги. Все великие имеют врагов.

РОЗА. Ты прав. Но... по ночам у меня дырявая голова, все силы души уходят на ласки. Хорошо бы, чтоб в комнате был шпион, который мог бы запомнить все это.

КУНИФРИД. Кто же может им быть?

РОЗА. Ты.

КУНИФРИД. Я?!

РОЗА. Ты умеешь писать?

КУНИФРИД. Да.

РОЗА. И быстро пишешь?

КУНИФРИД. В школе, которую я окончил в знаменитом монастыре св. Себастьяна, я был одним из лучших писцов.

РОЗА. Ты будешь стоять в этом алькове с грифельной доской и записывать все, что они выбалтывают. Что ты на это скажешь?

КУНИФРИД. Я сказал: да! Хотя и весьма колебался. Правда, одновременно меня так и разбирало любопытство. И в тот же вечер...

РОЗА. Кунифрид, посетитель! Прячься!

КУНИФРИД. Сказала графиня, и я спрятался в алькове.

ГЕРЦОГ (*задыхаясь*). Благодарю, любовь моя. Сердце еще колотится у меня в груди. Поездка в твой замок всегда требует от меня всех моих сил. Я уже не юноша, хотя и не старик. Но сладчайшие наслаждения и должны стоить тягчайших усилий.

РОЗА. Может быть, вам больше пришлось бы по нраву, если бы я жила вблизи вас.

ГЕРЦОГ. Боже упаси, Роза-Мария! Пошли бы толки — что может быть хуже?

Пауза, соответствующая представленному ужасу. Потом он смеется с облегчением.

РОЗА (*смеется, потом шорох*).

ГЕРЦОГ. Твоя постель самая мягкая на свете. Только тот, кому приходилось лежать где бог пошлет, может по-настоящему оценить, что такое мягкая постель. В дни крестового похода, на жестком ложе, в палатке, стоявшей под иерусалимским небом, я тосковал по перине, подобной этой. *(Вдруг запинаятся.)*

РОЗА. Что с вами?

ГЕРЦОГ. Как будто шорох!

РОЗА. Это ветер.

ГЕРЦОГ. Нет, тут, поблизости, в комнате.

РОЗА. Может быть, бабочка.

ГЕРЦОГ. Похоже на дыхание.

РОЗА. Тогда мое. Мое дыхание кажется громким, когда я вблизи вас. Вы полны беспокойства, герцог, я хочу успокоить вас.

КУНИФРИД. И она успокоила его. Потом...

ГЕРЦОГ. Покой. Сладкий покой... Единственное место, где мне суждено насладиться им. Едва я выхожу отсюда и сажусь на коня, каждый миг вновь приближает меня к жизни, полной суеты.

РОЗА. У вас много забот.

ГЕРЦОГ. Бесконечно много! На моем высоком посту заботы неустранимы. Но теперь они одолевают меня сильнее, чем когда-либо.

РОЗА. Говорите. Облегчите ваше отягощенное сердце.

ГЕРЦОГ. Да, это помогает.

РОЗА. Что гнетет вас, герцог?

ГЕРЦОГ. Перец.

РОЗА. Перец?

ГЕРЦОГ. И прочие дорогие восточные товары. В них опять нехватка. Или, может быть, ты согласна снова есть суп и мясо пресными?

РОЗА. Конечно, я не согласна.

ГЕРЦОГ. И никому этого не хочется. *(Вздыхает.)* Ах!

РОЗА. Вы вздохнули?

ГЕРЦОГ. Я думаю о том, как однажды приказал уничтожить транспорт с перцем.

РОЗА. Вы приказали?

ГЕРЦОГ. Тому назад несколько лет. Это было в Иерусалиме, во время крестового похода. Рыцари требовали доли в торговле пряностями. И я должен был пойти на это. Корабль, на котором они возвращались на родину, тогда потонул. Такое сложное дело, как торговля пряностями, не терпит соперников, и потому соперников нужно сбрасывать... *(Запинаятся.)*

РОЗА. Что с вами?

ГЕРЦОГ. Вот опять!

РОЗА. Что?

ГЕРЦОГ. Шорох!

РОЗА. Я ничего не слышала.

ГЕРЦОГ. А я слышал совершенно отчетливо, Роза-Мария. Будто громкое дыхание или как будто стон. Тихо!

Тишина. Потом дальний колокольный звон.

РОЗА. Монастырские колокола.

ГЕРЦОГ. Уже полночь. Мне нужно возвращаться домой, во дворец.

КУНИФРИД. Он ушел. А на следующий день к нему постучался посетитель.

ГЕРЦОГ. Ах, это ты, Раупен... м-м...

КУНИФРИД. ...биль.

ГЕРЦОГ. Ты заявил слуге, что дело срочное и большой для меня важности?

КУНИФРИД. Поклянитесь мне, что я смогу свободно уйти отсюда?

ГЕРЦОГ. Но-но, милейший, что за тон?

КУНИФРИД. Поклянитесь, если вам дорога ваша честь.

ГЕРЦОГ. Моя честь безупречна.

КУНИФРИД. Есть кое-что, что может ее запятнать, я-то знаю.

ГЕРЦОГ. Каждый может...

КУНИФРИД. Клянитесь!

ГЕРЦОГ. Ну, клянусь. Но должен сказать, Раупенбиль, что твое поведение крайне глупо.

КУНИФРИД. По окончании крестового похода вы умышленно потопили судно, на котором плыли крестоносцы, закупившие перец.

ГЕРЦОГ. Чепуха. Это был несчастный случай.

КУНИФРИД. Вы сами признались в этом. Сегодня ночью. И я это слышал.

ГЕРЦОГ. Ты слышал. *(Быстро.)* Так это было твое дыхание.

КУНИФРИД *(элегически)*. И мое сердце было разбито.

ГЕРЦОГ. Чего ты хочешь?

КУНИФРИД. Того, что вы у меня украли,— двадцать фунтов золотом.

ГЕРЦОГ. Негодай! Что ты себе позволяешь! Я велю тебя схватить!

КУНИФРИД. Вы поклялись мне. Кроме того, поблизости мои друзья. Если вы меня все-таки схватите, они оповестят всех обманутых крестоносцев, а ваша связь с Розой-Марией станет известна всему миру. То же я сделаю в случае, если вы мне не заплатите.

ГЕРЦОГ. Какая подлость! Вымогатель!

КУНИФРИД. Но он заплатил. Я вышел. Вскочил в седло. Ускакал.

Звук копыт.

История с друзьями была просто выдумкой, но она сослужила хорошую службу.

ЧЕЛОВЕК. Эй, браток, куда путь держишь?

КУНИФРИД. На юг.

ЧЕЛОВЕК. Нам по пути. Можно с тобой?

КУНИФРИД. Едем, коль хочешь.

Они скачут.

ЧЕЛОВЕК. Дорога какая плохая!

КУНИФРИД. Бывают и похуже.

ЧЕЛОВЕК. Давно ты в пути?

КУНИФРИД. Часа три.

ЧЕЛОВЕК. Я — четыре.

КУНИФРИД. Жаркий денек сегодня.

ЧЕЛОВЕК. Хочется промочить глотку.

КУНИФРИД. Я тоже не прочь.

ЧЕЛОВЕК. А вот и кабак.

КУНИФРИД. Ты тут бывал?

ЧЕЛОВЕК. Это славное местечко. Здесь доброе вино и веселая музыка.

КУНИФРИД. Тогда я спешиваюсь.

ЧЕЛОВЕК. Я тоже.

Шаги. Открывается дверь. Шум и звуки скрипки.

КУНИФРИД. Эй, слуга, два кувшина вина!

ПЕВЕЦ (*поет*):

Великим и малым

Отрада одна —

Веселая песня

И чарка вина.

КУНИФРИД. Веселый певец!

ЧЕЛОВЕК. Будь здоров, брат!

КУНИФРИД. Эй, слуга, еще два кувшина! — Скажу тебе, брат, ну и повезло же мне сегодня!

ПЕВЕЦ (*поет*):

И если подружка

Тебе не верна,

Залей свое горе

Чаркой вина.

КУНИФРИД (*захмелев*). Слуга, еще два кувшина!

ПЕВЕЦ (*поет*).

Легко попадает
В ловушку, кто пьян.
Для рыбы есть сети,
Для дичи — капкан.

ЧЕЛОВЕК. Может, еще выпьешь? Я угощаю!

КУНИФРИД (*храпит*).

ЧЕЛОВЕК. Навыка нет. Спит уже.

КУНИФРИД Когда я проснулся, голова моя трещала, а сам я сидел в подземелье герцога, где и сижу до сих пор. Ах, жизнь, вроде моей, горька и бессмысленна. Если б еще раз мелькнула возможность отомстить герцогу за все, что он мне причинил... Но какие на это надежды!

Решетка раскрывается.

СТОРОЖ. Готовься, узник!

КУНИФРИД. К чему?

СТОРОЖ. Палач ждет в крытой галерее.

КУНИФРИД. Ну, вот и до этого дошло!

СТОРОЖ. В половине одиннадцатого тебе отрубят голову. Осталось десять минут. Монах ждет во дворе.

КУНИФРИД (*рыдая*). Да, да.

СТОРОЖ. Герцог, правда, поручил сказать тебе, что ты можешь избежать казни, если согласишься...

КУНИФРИД (*быстро*). Я согласен на все, что бы он ни предложил.

СТОРОЖ. Он не предлагает ничего хорошего. Ты должен отличиться в бою, сражаясь на переднем крае в самых опасных местах.

КУНИФРИД. А что, война началась?

СТОРОЖ. Начнется скоро.

КУНИФРИД. Где?

СТОРОЖ. На святой земле. Язычники захватили и осквернили гроб господень. Собирается новый крестовый поход. Четвертый.

Генрих БЕЛЬ

Концерт
для четырех
голосов

Голоса:

БАС
ТЕНОР
АЛЬТ
СОПРАНО

БАС. Мой начальник все жалуется, что мне не хватает честолюбия. Мою изобретательность, организаторскую хватку, аккуратность сравнивает с тремя колесами и говорит, что если б к ним добавить четвертое колесо — честолюбие, то получился бы не работник, а чудо... Сравнение, конечно, не бог весть какое удачное и уж совсем не образное, но ведь начальники никогда не блещут образной речью. Я на него не обижаюсь. В конце концов, не нужно — как бы это сказать? — требовать от человека слишком многого. На то он и начальник, чтобы сравнивать как придется. Мое же дело — работать, исполнять, так сказать, свой долг. (*Смеется.*) Хотя звучит это странно: я ведь продаю шляпы. За прилавком, правда, стоять не приходится — не умею устанавливать прямой контакт с публикой. Мешает цинизм — качество, которое начальник упорно не хочет во мне замечать; что делать, люди не могут жить без иллюзий. Я даже не рисую шляпы, я их планирую. Я лишь произношу: пора быть новым шляпам — и на мой стол уже сыплются проекты. Мне остается определить, какой из них запускать в производство. До сих пор я ни разу не ошибся. Начальник называет это инстинктом. Он не знает, что рекламные методы я заимствовал из прошлого. Чтобы сделать мои шляпы модными, я пользуюсь правилами, принятыми в салонах. То есть начинаю с верхушки, а верхушка для меня — это интеллигенты. Не понимаю, почему они все жалуются, что не имеют влияния, что их недооценивают, что ими пренебрегают? Стоит мне только навязать новую шляпу нескольким радиоредакторам, киношникам или телевизионщикам, как, глядишь, дело сделано, шляпа пошла. Чего им еще нужно? Народ носит те же шляпы, что и они, или те, о которых идет молва, что они их носят. Интеллигентность ведь в моде, и интеллигентами все хотят быть. А встречают человека, как известно, по одежке. Поэтому главное в моей работе — навязать новую модель этому народу с радио и телевидения, а уж как это мне удастся — секрет. Во всяком случае, шляпа скоро приобретает поэтический ореол мужественности. Порой, конечно, меня гложет совесть, — это неизбежно, когда веришь в высшие ценности, а я в них верю. Иногда бывает не по себе, как подумаешь, сколько в жизни зависит от глупости тех, на кого равняются. Стороннему человеку — а бывают такие? — и представить себе невозможно, как народ сходит с ума из-за шляп, когда они входят в моду. Их у нас тогда буквально вырывают из рук. Уж сколько раз в лавках дело доходило до драки, когда партия модных шляп подходила к концу. А это еще подливало масла в огонь. Кто же вырывает у нас эти шляпы из рук?

Интеллигенты. Я бы мог, конечно, назвать имена, привести примеры из числа известных лиц, не устающих болтать о массовом обществе, да секреты фирмы не позволяют. Но как бы там ни было — совесть меня гложет. Так всегда: сделаешь что-нибудь, в чем не очень уверен, — мучайся потом раскаянием. Что тут будешь делать? Для начала, конечно, поговорил с женой. Бесплезно. Даже не поняла, в чем вся соль. Шляпы? — говорит, что ж им теперь, не носить, что ли, шляпы, или ты заставляешь насильно их покупать? Да, говорю, в известной степени я заставляю их покупать шляпы — принуждаю, навязываю. Ну и радуйся, говорит, что это у тебя получается. Словом, говорить с ней — никакого толку. Она жена и мать, а не аналитик. Куда податься порядочному католику со своими угрызениями? Конечно, к священнику. Пошел к нему. Совершенно бесполезная затея. Он, знай, талдычит о боге. Бог-де создал дождь и ветер, снег, солнце и стужу. Читали ль вы, говорит, что писал о солнце Франциск Ассизский в своих духовных стихах? Нет? Обязательно почитайте сейчас же, здесь, я вам подарю экземпляр. Дождь, ветер, солнце, снег, стужа — а что делаете вы? Шляпы. Весьма, весьма полезная деятельность. Когда я попытался объяснить, что мои шляпы не от дождя и снега, он прервал меня и сказал: значит, для красоты. И полчаса говорил о красоте, о задаче человека созидать красоту. Ушел я, не испытав утешения. Разве не цинично, что после этого визита мне пришел в голову церковный фасон, который стал у нас так моден?

СОПРАНО. Отец — душа, он очень добрый, ни на кого не дует. Иногда, правда, бывает в меланхолическом настроении. По-моему, у него комплексы. Далась ему эти шляпы. Мало того, что он круглый год ходит с непокрытой головой — в любую погоду, в дождь и стужу, — он теперь перестал по воскресеньям ходить в церковь. Говорит, видеть не может, как они все — ну, это он, конечно, преувеличивает — надевают его шляпы после службы. А шляпы у него такпе шикарные. По-моему, это уж слишком — не ходить из-за шляп в церковь. Он вообще больше никуда не ходит. Изредка только в гости к начальнику или на прием в какой-нибудь отель, где дискутируют (*смеется*) о шляпах, заседают. Шляпное заседание — смех, конечно, но что бывает, то бывает. Отец ведь делает и солидные шляпы — для государственных деятелей, деловых людей и прочих, как он говорит, шишек. Эти дорогие шляпы продаются по каким-то удостоверениям или рекомендациям. Так хочется помочь бедняге отцу, что-то он у нас загрустил.

АЛЬТ. Эрвин — настоящий талант. Он всегда знает, на что будет

спрос. Даже низкую шляпу с широкими полями — и ту он продвинул, хотя я очень на ее счет сомневалась. Теперь вот цилиндр. Увидишь, говорит, цилиндры пойдут, как... Сравнение так и не пришло ему в голову — надоело, видно, сравнивать с горячими пирожками. И что же — инстинкт его не подвел. Люди гоняются за традиционными образцами. Можно не сомневаться, Эрвин и молодежь обратит в поклонников цилиндра. Он бывает циничен. Недавно говорит: жаль, что рынок сбыта кардинальских шапочек так узок, у меня в этой области интересные идеи. Но что меня не на шутку тревожит — так это то, что Эрвин пренебрегает своими религиозными обязанностями. Оставь, говорит, меня с этим в покое, я читаю Франциска Ассизского, пока вы в церкви. Подходящее чтение для человека, который имеет дело со шляпами. Я разговаривала с нашим священником. Он на редкость мягкий человек. Говорит, ваш супруг находится в кризисе, который обещает быть для него плодотворным. Угрызения совести, говорит, — что-то вроде болезни. Благая крепость супружеских уз, сердечное тяготение к детям излечат его, и он вновь будет производить свои шляпы без всякой внутренней укоризны. Вы говорите, он читает святого Франциска? Великолепно. Терпение, терпение... Но как раз терпения мне не хватает. Мне все кажется, нужно срочно что-то предпринимать. Эрвин все больше опускается, совершенно не следит за собой: уходит на службу небритый, не умывшись, в грязной рубашке, с перекосившимся галстуком. Его начальник часто звонит мне, говорит нужно что-то предпринимать. Так дальше нельзя. Эрвин хоть и по-прежнему неистощим и невероятно полезен на работе, фирма не может без него обойтись, но что слишком, то слишком. И у странностей должны быть свои границы, а когда от человека дурно пахнет, то это уж слишком. Да, так и сказал: дурно пахнет. *(Вздыхает.)* Нужны были радикальные меры. Я просто забрала у Эрвина белье, пока он спал, и отдала в стирку, а утром ему пришлось одеваться во все чистое. К счастью, погода оказалась на моей стороне — было холодно, он порывлся в корзине с бельем, не нашел свою грязную одежду и надел чистую. Ругался он при этом безбожно. И вот последствия моего вмешательства: с тех пор он ложится в постель не раздеваясь. Даже галстук не снимает. А утром поест и даже крошки с бороды не стряхнет — так и пойдет на службу. *(Разражается рыданиями.)*

ТЕНОР. Утром я уйду, когда отец еще спит, а возвращаюсь вечером — он уже в постели. Поэтому я и не знал обо всей этой истории. Вижу только, что мать чем-то удручена, да сестра

все время на что-то намекает, а... запаха я никакого не замечал. По воскресеньям я уйду из дома рано — с девяти до двенадцати мы поем в церкви, а вечером возвращаюсь поздно — мы дискутируем о проблемах массового общества. В самом деле, когда последовал панический звонок его шефа, я вдруг установил, что я не видел отца уже шесть недель, а именно в последние шесть недель и возник, по-видимому, этот кризис. Факты соответствуют заявлению: от отца действительно пахнет. Никак иначе это не назовешь. Разумеется, объяснение может быть только одно: запоздалая половая жизнь. Война выбила его поколение из равновесия. Отец никогда не говорил об этом, но я уверен: все дело в комплексах. Отсутствие душевной гигиены выражается в болезненном желании быть негигиеничным и физически. Средства против этого: психотерапия и ванна. Я думаю, мы должны быть суровыми: его упрямство не оставляет нам выбора. Может быть, тут замешан и секс. Что ни говори, мужчина в пятьдесят лет... В воскресенье сразу после мессы схожу к Губерту, у его отца лучшая психиатрическая клиника в городе. И надо же было этому случиться как раз теперь, когда отец — как сказал мне его начальник по телефону — до зарезу нужен фирме: у него великолепный инстинкт, всегда полно интересных идей. Фирма не может обойтись без него — шеф так и сказал. Разговаривал с матерью, но без толку — одни слезы да причитания. Полная неспособность вникнуть в суть дела. Сестра просто дура: ей, видите ли, нравится, как выглядит отец. Наверно, у нее не все в порядке с обонянием. Я пропустил два урока математики и один латыни, в воскресенье позже обычного пошел в церковь — чтобы только понаблюдать за ним. По-моему, сплошной романтический бред — недаром он ни днем, ни ночью не расстается с Франциском Ассизским. Не удивительно, что ему хочется походить на нищего. А на самом деле он совсем не похож на нищего. На месте прежней щетины уже выросла борода, хоть она и не очень ухожена. Костюм у него высшего качества, мать все время чистит его щеткой, поэтому он выглядит почти сносно. Все это может еще сойти за художническую небрежность. Вот только — запах... Ночью он все-таки снимает пиджак и брюки, мать могла бы не только чистить тайком, как она делает, но и смачивать эссенциями, убивающими запах нижнего белья. Но она никак не додумается до такой простой вещи. Можно было бы во время сна поменять ему также галстук — старый его совсем истрепался. Жаль, что женщины так туго соображают. Конечно, все это временные меры, а не окончательное решение проблемы, этим не изде-

чишь. Но важно выиграть время. И потом: зря она показы-
вает всем своим видом, что с ним что-то неладно: плачет, жа-
луется, ходит как в воду опущенная. Все это — бальзам на ду-
шу такому романтику, как мой отец. Я вот веду себя с ним,
как будто он вполне нормальный. Вчера подал ему руку, поце-
ловал в щеку, как всегда при встрече. Он, правда, отреагиро-
вал странно на мой поцелуй, сказал: «У Иуды это получалось
лучше». Хорошо, хоть сказал спокойно, почти равнодушно, мне
было легче вести себя как ни в чем не бывало: я сел напротив
него, налил кофе, сделал бутерброд: при этом успел заметить,
что аппетит у него не испортился. Факт любопытный — обычно
у ипохондриков пропадает аппетит. Он съел три бутерброда с
маслом и два — с ветчиной, выпил три чашки кофе, закурил,
уткнулся в газету — я специально запоминал все подробности,
чтобы облегчить диагноз отцу Губерта. Я спросил его о ра-
боте, он равнодушно ответил, что вынашивает идею новой
тиары. Должно быть, очередная циничная шутка. Он без них
никогда не обходится, говоря о религии. Когда я снова хотел
его поцеловать на прощанье, он отвернулся. Я успел заметить,
что руки он все-таки моет по-прежнему тщательно. Наверно,
это что-то вроде комплекса Пилата.

АЛЬТ. Я долго думала, что это обычная депрессия перед весенним
сезоном. Он всегда нервничает в это время. Ведь иногда он по-
ставлял на рынок довольно рискованные модели. В последний
раз он превзошел самого себя: модель из козлиной шкуры
действительно напоминает кардинальскую шапочку, хотя не
такая круглая и более плоская. Когда он мне показал эту шля-
пу, я сказала: в ней все похоже на клоунов, а когда на квар-
тире у шефа стали примерять их манекенам, они были ужасно
смешны и в самом деле походили на клоунов, а какой молодой
мужчина согласится выглядеть как пауч? Но шеф сказал: те-
перь уже поздно возвращаться, нам остается только идти
вперед и вперед; а Эрвин сказал: так точно, господин генерал,
нападение — лучшая защита. Еще хуже велюровая модель, ко-
торую он предложил для мужчин от тридцати пяти до пяти-
десяти, — какая-то заостренная, как средневековые еврейские
колпаки. Супруга шефа заплакала, увидев их на манекенах.
Алоис, сказала она мужу, этого никто не станет носить, все
кончено, мы разорились. Настроение у всех было подавленное.
За столом почти никто не ел, кроме Эрвина. По совету сына
я вычистила ночью его костюм с помощью эссенций и выгла-
дила — так что он выглядел вполне прилично и... от него не
пахло. А ел он действительно с аппетитом. И за первым и
за вторым блюдом не отказывался от добавки. За десертом

вел себя не очень корректно, курил за мороженым и настоял, чтобы ему к мороженому принесли кофе. Супруга шефа шепотом призналась мне, сколько вложено в эти новые шляпы. Вы представить себе, говорит, не можете, как поднялись в Париже цены на козлиные шкуры, когда там узнали, сколько их нам нужно. Ваш муж, говорит, ведет себя как гений, но боюсь, он уже исписался. За коньяком Эрвин вдруг встал и обратился к шефу с тостом: вперед, господин генерал, нападение — лучшая защита. По-моему, это ребячество. Но произошло чудо: обе модели имеют неслыханный успех. Когда я впервые увидела на улице эти шляпы, меня чуть не задушил смех, но, странно, вскоре я привыкла. Между тем на рынке появились цилиндры Эрвина для молодежи: такой же успех. Вошло в моду ходить в цилиндре на танцы, свидания, экзамены, считается «шикарным» ездить в цилиндре на мотоцикле. Автопромышленники вот только стали жаловаться, что роскошные низкие машины перестали пользоваться спросом, с тех пор как вошли в моду цилиндры. Эрвин не растерялся и тут, быстро разработал модели складных цилиндров, которые в машине превращаются в плоские шляпы. Нельзя же, говорит, наносить ущерб индустрии. Увы, Эрвин опроверг предположения, его депрессия была вызвана нервозностью накануне весеннего сезона. С тех пор как я ночью вычистила его костюм, а он разразился проклятиями и перевернул весь дом, разыскивая свое грязное белье, он опять спит в костюме и ботинках. Мне не осталось ничего другого, как покинуть спальню и устроить себе ночлег в гостиной. Священник тоже считает, что я имела на это право. Есть все же границы, и что слишком, то слишком. Как будет дальше, не знаю. Просто ума не приложу — что делать. Насильно ведь не отведешь его к психиатру, а врач, который притворился клиентом и внимательно его осмотрел, пришел к потрясающему выводу: вполне здоровый интеллигент со склонностью к коварству. Фирме он нужен, нужнее, чем когда-либо, и для нас он все-таки отец и супруг. Священник наш ведет себя как-то неблагоприятно, все увиливает от прямых ответов. Говорит, писание гласит: пока не разлучит смерть. Мол, не запах, а смерть... но я не стала слушать.

СОПРАНО. Как я волновалась и радовалась, когда смогла наконец сообщить священнику, что отец обещал снова ходить в церковь. Мне стоило такого труда его уговорить. Вообще я не могу сказать, чтобы он был особенно мрачен. Разве только с матерью. Говорит, она его предала. Преувеличивает, конечно, но что-то в этом есть. Итак, я помчалась к священнику сообщить ему радостную весть. Он сказал: дитя мое, я не

сомневался, что он возвратится в лоно церкви. У него такое доброе щедрое сердце. А то, что он решился изменить свой взгляд на гигиену... Тут я его перебила и сказала, что в этом я не смогла его переубедить. Священник сказал: но ты ведь не хочешь сказать, что он в таком виде собирается в церковь? Именно в таком, говорю. Священник сказал: дитя мое, заклинаю тебя, воспрепятствуй ему в этом. Грешно быть нечистым, грешно перед богом и человеком. Я сказала, что не могу обещать, а священник сказал: лучше пусть совсем не приходит, чем придет в таком виде.

БАС. Шеф не хочет поддержать мою идею — создать тиару. Согласитесь, говорит, что для нее будет всего один-единственный клиент. Да, говорю, но какой? В конце концов, наша фирма производит головные уборы, а тиара — головной убор. У вас, говорит, склонности к святотатству, и вообще, между нами, католиками, — тут он перешел на шепот — выполняете ли вы свои христианские обязанности? Насколько мне дозволено, говорю. Священник передал с моей дочерью, что в таком виде он не хочет видеть меня в церкви. Понимаю, говорит шеф, вам-то ясно, что ваш вид действительно не совсем в порядке? Почему же? — спрашиваю. Дорогой мой, говорит, ведь от вас пахнет! Ну и что, говорю, мало ли от кого пахло, не я первый. Но, дорогой мой, говорит шеф, мы живем в такое время... Тут я прервал его и говорю: откуда вам знать, в какое время мы живем?..

Зигфрид ЛЕНЦ

Время невинных

Действующие лица:

ИНЖЕНЕР
СЛУЖАЩИЙ БАНКА
КРЕСТЬЯНИН
БАРОН
ШОФЕР
СТУДЕНТ
ВРАЧ
ХОЗЯИН ОТЕЛЯ
ТИПОГРАФИК
САЗОН
МАЙОР
СТРАЖНИК

Слышно, как негромко, но возбужденно переговариваются несколько мужчин. Затем открывается дверь камеры, шаги.

ИНЖЕНЕР. Пора бы уже. Я с самого утра ничего не пил.

Пауза.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мне нужно позвонить по телефону. Никто не знает, где я. Необходимо сообщить жене и в банк. Они должны все узнать.

КРЕСТЬЯНИН. Наверняка это ошибка — чистойшей воды ошибка.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мы должны настаивать на том, чтобы нашим домашним сообщили о случившемся. Они должны обо всем узнать — это самое важное.

ИНЖЕНЕР. Важнее, по-моему, чтобы нам дали напиток.

КРЕСТЬЯНИН. Конечно, это ошибка — чистойшей воды ошибка.

БАРОН. В наше время ошибок не бывает. По мнению правительства, сегодня каждый в чем-нибудь виноват.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Оставьте ваш цинизм, барон. Мы все здесь невиновны, вы это хорошо знаете. Нам это даже подтвердили.

БАРОН. Но только устно. А я бы не прочь иметь письменное свидетельство на этот счет, чтобы, например, в паспорте значилось, как профессия: невиновный.

ШОФЕР. У меня грузовик полный остался. А в порту из-за этого задерживается погрузка.

Шаги.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Тихо! Кто-то идет.

Шаги двух человек.

Стражник, стражник!

КРЕСТЬЯНИН. Тихо! Кто-то спускается по лестнице.

СТРАЖНИК. Да?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мне нужно позвонить по телефону!

СТРАЖНИК. Понимаю, господин.

БАРОН. Его недостаток: он все понимает, но ничем не может помочь. Как ящик для жалоб перед нашей старой церковью — прихожане все бросают в него свои записочки с просьбами, но их давно уже никто не вынимает.

СТРАЖНИК. Все в порядке, господин майор!

МАЙОР. Благодарю!

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Я вынужден протестовать, майор. Меня некому заменить в отеле. Вы не имеете права меня здесь задерживать. Диктагор часто останавливался у меня.

МАЙОР. Знаю. Но теперь он принимает вас у себя.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мы настаиваем на том, чтобы были поставлены в известность наши родственники. А также сослуживцы. Они ведь должны знать. Мы уже почти день здесь.

Одновременно:

КРЕСТЬЯНИН. Это ошибка.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Я протестую!

ИНЖЕНЕР. Когда нам дадут пить?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мы не виновны!

Небольшая пауза.

МАЙОР. Господа, никто из нас не сомневается в том, что вы невиновны. Мы знаем также, что во всем городе было бы трудно отыскать более безупречных граждан, чем вы. Но именно поэтому вас и собрали сюда. Ни один из вас не оказался бы здесь, будь у него на совести хоть малейшее пятнышко. Вас это, возможно, удивит, но своим заточением вы обязаны вашей полной невиновности.

Легкое замешательство.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Никто не знает, где мы находимся.

МАЙОР. От вас самих зависит срок вашего пребывания здесь. У диктатора к вам просьба. Диктатор ведь вправе обратиться к гражданам с просьбой, тем более к тем гражданам, которые пользуются покровительством и защитой государства. Речь идет о простой любезности, в которой может отказать лишь тот, кто не хочет признать молчаливое соглашение, заключенное каждым из нас с правительством. Об этом соглашении оказывать друг другу взаимные услуги диктатор и хотел бы вам напомнить — вам, господа, в чьей абсолютной невиновности он искренне убежден.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Завтра начнется конгресс зубных врачей. И почти все делегаты живут в моем отеле. Мне поручено организовать их питание. Знаете, что это значит?

МАЙОР. Диктатору виднее.

ШОФЕР. Мой грузовик остался около кино, из которого вы меня вытащили.

МАЙОР. Все зависит от вас, господа, вам вполне по силам за полчаса выполнить скромную просьбу диктатора. Сумеете вы это — и дверь моментально откроется, и вы сможете вернуться к своим родным и к своей работе.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Чего он хочет от нас? Сегодня у нас в банке ревизия.

МАЙОР. Авторитет диктатора поможет вам оправдаться.

КРЕСТЬЯНИН. А моя коза, господин, она все еще привязана, а ее уже давно пора доить во второй раз.

МАЙОР. Итак, выслушайте просьбу диктатора. Я приведу к вам одного человека. Его арестовали два дня назад — после неудавшегося покушения на жизнь диктатора и его семьи. Человек этот участвовал в покушении. Он в этом уже признался, как признался и в том, что сам стрелял по машине. Но он отказывается назвать своих сообщников, тех, кто его направлял. Он не раскаивается, и по-прежнему придерживается убеждений, которые привели его к покушению. Он был достаточно высокомерен, чтобы заявить, что снова возьмется за оружие, если окажется на свободе. Теперь, я полагаю, вы представляете себе, кто таков ваш будущий сосед.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. А нам-то какое до всего этого дело!

МАЙОР. Диктатор просит вас о содействии. Ему пришла в голову мысль — выдать этого человека, которого, кстати, зовут Сазон и о котором заведомо известно, что он виновен, — вам, почтенным гражданам этого города, невиновность которых вне всяких сомнений! Диктатор предоставляет вам полное право поступать с ним, как вам будет угодно, лишь бы он вам назвал сообщников либо согласился отказаться от своих убеждений и работать на нас. Мы пытались добиться этого, но безуспешно. Диктатор надеется, что вам это удастся скорее. И как только вам это удастся — вы будете выпущены на свободу. Крикните стражнику, когда все будет сделано.

ИНЖЕНЕР. Пусть мне дадут пить. Я с ума сойду от такой духоты.

МАЙОР. Все моментально будет к вашим услугам, как только вы выполните просьбу диктатора. Сазон знает, что вы невиновны и лишь из-за него терпите эти лишения. Мы надеемся, что в нем это пробудит раскаяние.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. А если он откажется? Если мы ничего не узнаем и не добьемся? Дело может затянуться, а у нас ревизия в банке...

МАЙОР. Диктатор очень доверяет вам, он целиком на вас полагается.

Недовольный ропот.

Стражник!

СТРАЖНИК. Да, господин майор!

МАЙОР. Вводите!.. Благодарю вас, господа!

Шаги, стук двери. Тишина.

ВРАЧ. У вас кровь на спине.

САЗОН. Да?

ВРАЧ. Ложитесь на нары. Больно? Вас пытали?

САЗОН. Ничего, постою. Пройдет.

ВРАЧ. Ложитесь, ложитесь.

Пауза.

Тут только ссадины.

САЗОН. Итог нашей беседы с Юлиусом.

БАРОН. Юлиусом? В результате последнего опроса он оказался самым популярным полицейским.

ВРАЧ. Ссадины и синяки.

БАРОН. Полиция знает, что можно себе позволить, не рискуя популярностью.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*раздраженно*). Перестаньте, барон. Вы, кажется, единственный, кого наше положение забавляет. Раз уж вас ничто не выводит из равновесия, то хоть нас пощадите; мы-то не находим в этой ситуации ничего занятного.

БАРОН. Нам не нужно было отпускать майора. Ну, ведь это просто фантастика: по дороге на работу, в день ревизии, тебя вдруг хватают и волокут в тюрьму, где заставляют разбираться в том, что входит в компетенцию полиции. Какое мне дело до всяких там сообщников и убеждений человека, который в чем-то замешан.

КРЕСТЬЯНИН. Нас это не касается. Наверняка это ошибка.

СТУДЕНТ. Это не ошибка. Это их новый метод. Они испробовали его еще в нашем университете, когда у нескольких студентов нашли оружие. Они передали этих студентов невиновным и заставили тех решать участь провинившихся.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Ну и что они решили?

СТУДЕНТ. То же самое, что решим мы.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Вы сумасшедший.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Зачем диктатору понадобился этот трюк?

СТУДЕНТ. Это не трюк. Это новая возможность убивать. Вероятно, ему кажется, что он создаст видимость иного уклада жизни, если изменит порядок убийств. Он действует теперь руками невиновных.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Но зачем? Чего он этим добивается?

БАРОН. Власть имущие любят иной раз показать, сколь мудреная штука — управлять государством. Поэтому они отдают на некоторое время власть другим — своим шутам, своим честолюбивым сыновьям или таким, как мы. Скажем, дают им поуправлять городом один день или принять важное решение в судебной тяжбе — и уж всегда позаботятся о том, чтобы их преемники опозорились. Если власть никогда не уничтожается

до того, чтобы сомневаться на свой собственный счет, то она и никогда не упустит возможности продемонстрировать всем, как тяжело ей приходится.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Как вы думаете, зачем диктатору все это?

СТУДЕНТ (*нерешительно*). Не знаю, может быть, он хочет оправдаться. Если он заставит невиновных делать то же, что и он сам, то тем самым он будет оправдан в собственных глазах.

ИНЖЕНЕР. Здесь духотища, как в обезьяньем питомнике. Умереть можно от жажды. Стражник!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Бросьте! Он вам не поможет.

ИНЖЕНЕР. Сколько же это может длиться?

КРЕСТЬЯНИН. Некому накормить козу и подоить ее второй раз!

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Заткнись ты со своей козой!

КРЕСТЬЯНИН. Она ведь у меня одна, господин. И дает больше, чем все другие козы в деревне.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Нам сейчас не до этого. Что же будет?

БАРОН. Наша задача определена достаточно точно.

ВРАЧ. Надеюсь, вы это не серьезно? Этому человеку больно. Его пытали.

ИНЖЕНЕР. Отчего же? Что же тут стыдного, если барон напоминает нам о том, зачем нас здесь заперли? В самом деле, перед нами определенная задача.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Бывают задачи, решать которые недостойно человека. Я отказываюсь от роли следователя при диктаторе.

БАРОН. Отменно сказано. Так могут говорить только мужественные люди. Увы, я к ним не принадлежу. Я, признаться, слишком слаб.

ИНЖЕНЕР. Во всяком случае, нужно что-то предпринять. Если я в чем-то и уверен, то лишь в том, что все это — не сон. А поэтому нужно действовать.

ВРАЧ. Говорю вам еще раз, этот человек глубоко страдает. Неужели вы всерьез думаете, что вам он выдаст то, что, несмотря на истязания, утаил от полиции? То, что требуют от нас, просто абсурдно.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Кроме того, среди нас нет никого, кто бы владел навыками допроса. Я отказываюсь играть в эту игру.

ИНЖЕНЕР. Мы не можем заранее отказываться — не попытавшись. Тем более, мы все знаем, что зависит от такой попытки.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Этот человек — такой же, как мы. Точно такой же.

ИНЖЕНЕР. Это заблуждение. Он не такой. Он принимал участие в покушении на жизнь диктатора и признался, что стрелял по машине. Тем самым он признал свою виновность. Мы же — и он знает это — мы невиновны. Он также знает, что мы здесь

только по его милости и сразу выйдем на свободу, как только он сообщит нам фамилии сообщников. Разве не ясна разница между им и нами?

СТУДЕНТ. Вы правы. Для диктатора тоже есть разница: этого человека он ненавидит, а нас презирает. И лишь потому, что он не испытывает к невиновным других чувств, кроме презрения, он принуждает нас поступать, как ему хочется.

ИНЖЕНЕР (*сердито*). Что-то не припомню, чтобы я интересовался вашим мнением.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. И тем не менее это соответствует истине.

ИНЖЕНЕР. Ах, бросьте болтать!

Пауза. Слышно, как кто-то ходит.

БАРОН. Ни у кого не найдется сигареты?

КРЕСТЬЯНИН. У меня есть табак, господин. Можем скрутить по сигарке.

БАРОН. Прекрасно, но нужна бумага. У кого-нибудь есть бумага?

Пауза.

Нету... Стражник!

СТРАЖНИК. Да, господин.

БАРОН. Принеси, дружок, бумаги или лучше сигарет.

СТРАЖНИК. К сожалению, нельзя, господин.

БАРОН. Ну, тогда не приноси. Ладно. Придется отвыкать от курения. И от многого еще. А уж когда отвыкнем от всего, то это уже не будет приключением...

ТИПОГРАФСЧИК (*с чувством*). Стражник! Ты слышишь?!

СТРАЖНИК. Да, господин.

ТИПОГРАФСЧИК. Открой сейчас же! Мне нужно домой.

СТРАЖНИК. Убери руки с решетки, господин.

ТИПОГРАФСЧИК. Я здесь совсем ни при чем. Меня сняли с ночной смены.

СТРАЖНИК. Руки, господин! Нельзя касаться решетки.

ТИПОГРАФСЧИК. У меня больны жена и ребенок. Мне нужно домой, слышишь. Открой сейчас же!

СТРАЖНИК. Шаг назад, господин!

БАРОН. Отойдите, а то он ударит.

Свист и удар бича. Вскрик и причитания типографщика.

СТРАЖНИК. Очень сожалею, господин. Но нельзя руками касаться решетки.

ТИПОГРАФСЧИК. Мои руки!.. Смотрите, что стало с моими руками.

ВРАЧ. Садитесь на нары.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Диктатор часто у меня останавливался. Я сообщу ему обо всем. Я буду протестовать.

БАРОН. И окажете ему любезность: протесты — любимое чтение власть имущих. В них они видят подтверждение собственной правоты.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Я больше не выдержу. Мне просто нельзя больше думать об этом.

БАРОН. О чем?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. У нас ревизия сегодня, весь день. Соберется все начальство, а меня нет.

БАРОН. Друг мой, вы себе льстите. Вас объял бы ужас, когда бы вы узнали, с какой легкостью начальство может обойтись без вас. Каждый из нас легко заменим, как это ни жутко. Мы, правда, уверены, что не можем пожертвовать миром. Он же в любой миг пожертвует нами не моргнув глазом. Так что следует постепенно привыкать к тому, что мы заменимы.

ИНЖЕНЕР. Ах, да здесь задохнуться можно. Нам надо на что-то решиться.

БАРОН. Не на что-то. У нас конкретное, точно сформулированное задание.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Стыдитесь, барон.

БАРОН. Не удивляйтесь, но бывают ситуации, в которых меня не трогают подобные упреки.

ИНЖЕНЕР. Предлагаю проголосовать.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. За что?

ИНЖЕНЕР. Стоит ли нам браться за поставленную перед нами задачу.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Других возможностей выйти отсюда нет.

ИНЖЕНЕР. Итак?

Пауза.

Видно, никто ни за, ни против.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. По крайней мере нам надо бы попытаться.

ВРАЧ (*предостерегающе*). Вы же знаете, что человек этот испытывает страдания.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мы их не увеличим.

Пауза.

ИНЖЕНЕР (*принужденно*). Оставайтесь на нарах. Пожалуйста, не вставайте. (*Нерешительно.*) Вы знаете, что мы невинновны и что только от вас зависит, выйдем ли мы на свободу и когда это произойдет. Вы ничего нам не сделали, и мы вам тоже, и тем не менее теперь нас связала судьба. Мы зависим от вас. (*Нерешительно.*) Могу я предложить свой платок? Он чистый,

я поменял его только сегодня утром... Видите ли, мы отлично понимаем, что вы не могли ничего сказать полиции или не хотели это сделать. Никто не предаст своих друзей... Оставьте платок себе... Но теперь речь идет совсем о другом — здесь вот девять человек, и все невиновны, но будут выпущены лишь тогда, когда вы все скажете. В вашей воле решить нашу участь.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Поймите же нас, пожалуйста. Как только вы все скажете, нас выпустят.

САЗОН. Я понимаю вас. Любой на моем месте понял бы.

ИНЖЕНЕР (*непринужденно*). Я знал, что вы не отнесетесь к нам равнодушно. Вы один. А нас девять человек, и почти у каждого семья, работа, обязанности, выполнение которых мы вынуждены были прервать. Кого же это оставит равнодушным!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Девять судеб важнее одной.

САЗОН. Важнее? В каком отношении важнее?

БАРОН. Он имеет в виду — в количественном.

ИНЖЕНЕР (*с усилием*). Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вы женаты?

САЗОН. Нет.

ИНЖЕНЕР. А мы почти все женаты. Мы нужны нашим семьям, нашим детям. Мы готовы считаться с вами, надеюсь, что и вы в свою очередь посчитаетесь с нами.

КРЕСТЬЯНИН. Козу ведь тоже нужно кормить и поить.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*в раздражении*). Заткнись! Я уже сыт по горло твоей козой.

ИНЖЕНЕР. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? Вы, одиночка, держите в своих руках судьбу девяти человек, а одиночка, как правило, подчиняется интересам большинства.

САЗОН. Как правило? А где это записано? Мне, во всяком случае, не приходилось читать, что во всех спорных случаях одиночка непременно должен быть жертвой. Не я распорядился привести вас сюда. Не я виноват в том, что вы от меня зависите.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Но ведь вы признаете, что участвовали в покушении на жизнь диктатора. Вы сами стреляли по машине.

САЗОН. Да, стрелял.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. И не попали в него.

САЗОН. Телохранители заслонили его своей грудью.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. И вы убили двоих из них.

САЗОН. Да? Да, кажется.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Значит, вы знаете, что вас ожидает. Или у вас есть на этот счет сомнения?

САЗОН. Нет, сомнений у меня нет. Я знал, на что иду. Они могут только убить меня. Для меня это лучший исход, потому что

если они сделают это, то покушение приобретет смысл, хотя оно и было неудачным. Смерть оправдает нашу попытку.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Если вы уверены в своем конце, то я не понимаю, почему вы отказываетесь нам помочь. Вы не стремитесь выйти отсюда. Мы же очень стремимся. Почему вы отказываетесь нам помочь?

ВРАЧ. Пожалуйста, перестаньте. Говорят вам: этого человека пытали.

САЗОН. Мне уже лучше, доктор, спасибо.

ИНЖЕНЕР. В этом-то все и дело! Для вас уже ничто не изменится, но у вас есть возможность помочь нам. Ну разве это так трудно? Подумайте, в каком положении мы находимся.

САЗОН. У меня положение другое, и в этом вся штука. Вы хотите узнать имена моих друзей, принимавших участие в покушении...

ИНЖЕНЕР. И ничего больше.

САЗОН. А у меня и нет ничего больше. Их имена — единственное, что осталось. Покуда их никто не знает, кроме меня, мне все равно, когда и как меня убьют. Для меня многое изменилось бы, если б я их вам выдал: меня ждала бы совсем другая смерть.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. А мы? Мы ведь говорим о нас.

САЗОН. Мои друзья борются и за вас.

ИНЖЕНЕР. А за что они борются?

САЗОН. Вы разве не знаете? За достоинство человека.

БАРОН. Это слово мы уже здесь слышали.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Замолчите, барон.

БАРОН. Есть множество способов молчать — какого вы ожидаете от меня?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. А, подите вы к черту.

Пауза.

ИНЖЕНЕР. Стражник! Поди сюда.

СТРАЖНИК. Да, господин.

ИНЖЕНЕР (*нетерпеливо*). Поближе! Вот так. А теперь слушай: поднимись к твоему майору, передай привет от меня и скажи, что без воды мы не продвинемся дальше. Пусть нам пришлют напиток. (*С угрозой.*) Если мне сейчас же не дадут пить...

СТРАЖНИК (*монотонно*). Руки, господин, убери руки с решетки.

ИНЖЕНЕР. Ступай же, да поскорей!

СТРАЖНИК. Мне очень жаль, господин, но мне нельзя покидать пост.

БАРОН. Это сближает его с нами. Ему, бедняге, тоже не сладко.

ИНЖЕНЕР. Тогда позови твоего майора.

СТРАЖНИК. Майор уехал к диктатору.

ИНЖЕНЕР. Ну, позови другого... Или мне самому позвать?

СТРАЖНИК. Никто не услышит, господин, а если даже и услышит, не имеет права войти сюда.

БАРОН. Ваш крик впустую сотрясает воздух. Вам следовало бы знать: у власти на редкость дифференцированные чувства, она слышит и видит лишь то, что предвещает ей успех. Вот единственная волна, которую она принимает.

ШОФЕР. Эй, стражник, подожди-ка. Слушай. Мне плевать, что они сделают с моей машиной. Развалюга стоит как раз напротив кино. Стало быть, там, где запрещено. Но мне плевать. Не платить, как говорится. Но если увидишь этого типа, нашего начальника, вели, чтобы он прислал мне поесть. А то тут долго и скопытиться, понял? Жрать хочется так, что сил нет.

СТРАЖНИК. Сожалею, господин. Но мне нельзя отсюда уходить.

ШОФЕР. Пока вы не принесете мне поесть, я ни на что не гожусь. Понял?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Можете не стараться. Мы предоставлены здесь самим себе. Нас выпустят лишь после того, как мы представим диктатору то, что он от нас ждет. А что он ждет, мы прекрасно знаем. Его поручение абсолютно ясно.

БАРОН. Таких людей, как диктатор, нельзя хвалить прежде, чем они умерли.

ИНЖЕНЕР. Перестаньте острить, барон. Нам нужно действовать наконец. У нас один путь, и он ведет через этого вот человека.

САЗОН. Я уже вам ответил.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Ну хорошо. Я могу понять, что вы хотите спасти ваших друзей, участвовавших в покушении. Себя самого вы спасти не можете — вы это знаете — до тех пор по крайней мере, пока не откажетесь от своих убеждений. Но ведь вы сами слышали, что есть и другой путь к спасению — для вас и для нас. По всей вероятности, вам удалось бы даже сохранить себе жизнь. Вы могли бы выйти вместе с нами на свободу. Вас бы помиловали.

САЗОН. Помиловали бы за что? За предательство?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Вы стреляли в диктатора. А он все равно оставляет вам возможность сохранить жизнь.

БАРОН. Доброта власть имущих загадочна, и на кого она обрушится, тому не до смеха. Аминь.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. От вас требуется только дать согласие работать на диктатора.

ИНЖЕНЕР. Тем самым вы помогли бы не только себе.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Понимаете, что это значит?

САЗОН. Догадываюсь.

ИНЖЕНЕР. Почему же вы не решаетесь?

САЗОН. Если я останусь в живых, то это будет означать, что наша попытка была ни к чему. Можно ошибиться и в выборе смерти. Я же искал именно этой смерти — единственной, которую я принимаю. Поймите же и вы меня — конечно, я знаю, что мое предательство или отступничество освободит и меня и вас. Теоретически возможно, что я согласился бы работать на диктатора. Но тогда я утрачу право на смерть, которая придает моей жизни смысл и очищает ее от всего дурного. Моя дальнейшая жизнь, как вы ее себе представляете или как представляет ее себе диктатор, была бы кощунством над нашими жертвами, издевательством над страданиями, которые претерпели мои товарищи. Наши убеждения превратились бы просто в грязное тряпье, которое сбрасываешь с себя за ненужностью. Я не могу потешаться над смертью моих товарищей — не могу принять ваше предложение.

ИНЖЕНЕР (*с легкой угрозой*). Вы не должны забывать, что мы не откажемся от своего права на жизнь.

САЗОН. А я не откажусь от своего права на смерть.

Пауза.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Черт побери, мы так не договоримся. Не разговор, а сплошная карусель. Вы ведь знаете, что поставлено на карту.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Признаться, я разочарован.

БАРОН. Разочарованы в чем? В том, как у нас идет дело? Но вы ведь видите, перед нами не просто террорист, а кандидат в мученики. А это самый опасный сорт людей. Я предвидел трудности. Все мученики в известном смысле террористы, смысл их пламенной проповеди сводится к тому, чтобы убедить нас, что есть нечто, за что следует отдать жизнь. Своим примером они даже призывают нас делать то же. Их несколько не смущает кровопролитие, лишь бы кровь лилась не за пошлые, а за возвышенные цели. А страдания лишь подстегивают их одержимость. Так что для меня тут нет ничего удивительного. Я прекрасно понимаю, что не мог бы жить среди таких спасителей. Нас с вами объединяет равнодушие; пожалуй, нужно учредить орден равнодушных.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*измученно*). Ну что вы несете, барон? Перестаньте же наконец.

ИНЖЕНЕР (*обессиленно*). Я больше не могу говорить. Я хочу пить.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Но нам нельзя сидеть и ждать сложа руки.

Единственный, кто может себе это позволить, — диктатор. Мы должны что-нибудь предпринять.

ВРАЧ. Только не теперь. Вы должны считаться с тем, что его пытали.

Дайте ему прийти в себя.

ШОФЕР. Я, во всяком случае, чуток вздремну. Всю ночь провел за баранкой. А потом — жрать охота. Разбудите, если что случится.

БАРОН. Ничего здесь не случится, по крайней мере — ничего удивительного.

Длинная пауза.

СТУДЕНТ (*тихо*). Больно руку?

ТИПОГРАФЩИК. Чертовски! Все пальцы вздулись от кнута. Господи, как жжет! И колет! Вот свинья-то!

СТУДЕНТ. Что же делать...

ТИПОГРАФЩИК. Пусть меня выпустят.

СТУДЕНТ. Среди нас врач. Он мог бы вам помочь. Но у него ничего нет с собой, даже бинта. Его арестовали прямо под душем и привели сюда.

ТИПОГРАФЩИК. Пусть меня выпустят.

СТУДЕНТ. Хорошо бы, конечно...

ТИПОГРАФЩИК. Мы всегда хотели ребенка, ждали его четырнадцать лет. И вот он родился — больной, с уродливыми ногами. Сколько нас будут здесь держать! Жена не может подняться с постели!

СТУДЕНТ. Что делать...

ТИПОГРАФЩИК. Дую, дую на руку, а толку чуть. Прямо готов отрубить пальцы... О чем вы думаете?

СТУДЕНТ. У меня никого нет. Я думаю об этом парне, на нарах.

ТИПОГРАФЩИК. Это он во всем виноват.

СТУДЕНТ. Нет. Он невиновен так же, как мы. Он уже примирился со смертью.

ТИПОГРАФЩИК. Он признался, что ему легко умирать.

СТУДЕНТ. Умирать всем трудно, даже тем, кто видит в своей смерти протест. Может быть, он надеется найти себе оправдание в смерти, но ведь до смерти нужно еще дожить...

ТИПОГРАФЩИК. Вы на его стороне!

СТУДЕНТ. Да. У него была одна-единственная цель — убить диктатора. Это так мало. Поэтому мне его жалко. Я на его стороне.

ШОФЕР (*вскакивая*). Что за черт! Кто здесь трезвонит? Даже двух часов поспать не дадут.

БАРОН. Стоит ли жаловаться? Я был бы доволен и одним часом.

ШОФЕР. В вашем возрасте, может, вообще можно не спать, почему я знаю. А я всю ночь провел за баранкой.

БАРОН. Такому доводу мне действительно нечего противопоставить. Единственное, что меня по ночам тяготит,— это обильное пото- выделение, уже целых три месяца.

ШОФЕР. Заткнитесь. Зудите тут, как муха. И хоть бы что дельное сказали, а то все как шут гороховый.

БАРОН. Знакомство с судьбами человеческими учит не пренебрегать шутами, может быть, вы это поймете, проведя сотню-другую бессонных ночей. Вообще на месте господина я подарил бы всему человечеству сотню бессонных ночей и скверные железы.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. А который, собственно, час? У кого-нибудь есть часы?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Кажется, я крепко заснул.

БАРОН. Тогда позвольте приветствовать вас по случаю бодрого пробуждения.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. А уж вы тут как тут, барон.

БАРОН. Стоит ли этому удивляться? С тех пор как мне дозволено находиться под одной сенью с вами, вы могли бы привыкнуть к тому, что я неотлучен.

КРЕСТЬЯНИН. Бяша, бяша, бяша...

БАРОН. Что вы изволили молвить?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Это он о козе. (*Презрительно.*) Глаза не продрал, а уже кличет свое сокровище.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Неужели уже утро? Стражник!

СТРАЖНИК. Да.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Который час?

СТРАЖНИК. Сожалею, господин, но у меня нет часов. Я не знаю, который час.

БАРОН. Стражники часов не наблюдают — и отличаются тем самым от нас.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Ну, мне это уже надоело.

ИНЖЕНЕР. Язык прямо прилипает к гортани.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Мы невиновны — все, кроме этого, на нарах. И все из-за него. Я за то, чтобы принять решение.

БАРОН. Любое решение я привык расценивать как бестактность. Но иногда можно позволить себе и это. Такая же неприятная необходимость, как бритье по утрам.

ИНЖЕНЕР (*хрипло, в тоне приказа*). Встаньте!

ВРАЧ. Ему нельзя вставать. Ему больно.

ИНЖЕНЕР. Нам тоже больно.

САЗОН. Ничего, доктор, я встану. (*Приподнимается.*)

ИНЖЕНЕР (*несколько растерянно*). Вы слышали, мы должны принять решение. Поймите же нас. Здесь девять ни в чем не повинных мужчин ждут вашего решения — имеют право на него.

САЗОН. О каком решении вы говорите?

ИНЖЕНЕР. Назовите нам имена ваших сообщников. Ведь кроме вас еще кто-то участвовал в покушении?

САЗОН. Да, еще четверо. Один бросил с крыши бомбу, но она не разорвалась. Остальные трое ждали на главной улице. И ждали напрасно. После того как я стрелял, машина поехала к порту переулками.

ИНЖЕНЕР. Назовите их имена, и я обещаю предупредить их, как только мы будем на свободе. Клянусь вам, им удастся спастись. Только скажите наконец их имена, чтобы это все прекратилось!

САЗОН. Я ничего не могу сказать. Я забыл их имена во время пыток. И никогда не вспомню их снова — ни за что.

ИНЖЕНЕР (*вскакивая*). А мы? Стало быть, свобода девяти невиновных человек ничего не значит?

САЗОН. Одну жизнь нельзя измерить другой.

ИНЖЕНЕР (*насмешливо*). Ну еще бы! Когда за тобой убеждения, всемогущие убеждения, легко так рассуждать! Но это самый чудовищный эгоизм из всех. Такие убеждения бесчеловечны, потому что не допускают отказов.

САЗОН. Вы ошибаетесь. Они не требуют ничего другого, кроме отказов. Один мой друг в двадцать лет стал кандидатом наук. Перед ним открывалась блестящая научная карьера. Его ждало солидное наследство. Он от всего отказался, когда на него пал жребий и ему пришлось убить курьера диктатора, потому что нам были нужны документы. Он отказался от всего и сделал это.

ИНЖЕНЕР (*резко*). Я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня поучали, а тем более посвящали в ваши дела.

БАРОН. Еще немного, и он нам докажет, что террор — это религия.

ИНЖЕНЕР. Я требую — от имени этих неповинных людей я требую, чтобы вы нашли человеческий выход из этой ситуации.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. А за нами не станет. У меня хорошие связи. Диктатор часто останавливался в моем доме. Можете не сомневаться, вы не просчитаетесь.

САЗОН. За что же вы собираетесь платить? За предательство или «человечное» поведение?

ИНЖЕНЕР (*с угрозой*). Предупреждаю вас. Высокомерие меня бесит.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Послушайте, батенька, вы, кажется, до сих пор не взяли себе в толк, с кем вы здесь находитесь.

ВРАЧ. Можно ему сесть?

ИНЖЕНЕР. Нет. Он превосходно чувствует себя стоя. Во всяком случае, его ответы свидетельствуют об этом.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*дружески*). Послушайте. Есть ведь что-то, во что мы все верим, назовем это справедливостью, или достоинством, или, скажем, любовью. Вы понимаете, что я хочу сказать: есть нечто, что заставляет нас принимать ту или иную сторону. Мне рассказывали об одном раненом партизана, которого товарищи взяли с собой, несмотря на погоню. Они не бросили его, даже когда попали в окружение. Они отказывались бросить его. Раненый же знал, что закрывает им путь к свободе. Знал, что от него одного зависит — жить им или умереть. И он поступил так, как велел ему долг, — поскольку у него не было оружия, он покончил с собой иначе, перегнулся через носилки и бросился в пропасть. Его товарищи пробилась к своим и всегда помнили, кому они были обязаны спасением.

САЗОН. Ему было легко, он жертвовал только собой.

ИНЖЕНЕР (*в бешенстве*). Ни черта мы не добьемся такими историями, можете больше не стараться. Он прячется, как улитка, в свои убеждения, и ничем его не проймешь. Вот что меня бесит.

БАРОН. В таком случае не худо бы тоже обзавестись убеждениями. Ему в противовес. К сожалению, мне это не под силу. Я неспособен чем-либо воодушевляться в этом мире — разве что вот золотыми рыбками или часами с боем. Но ведь этого, видимо, недостаточно?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Послушайте, батенька, поговорим разумно. Вы знаете, почему вы здесь: вы виноваты. Мы же не знаем, за что должны все это терпеть. Никто из нас не сделал того, что сделали вы. Вам ведь ясно, что вы участвовали в преступлении?

ШОФЕР. Вот и я так думаю: этот малый — преступник!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Одну минутку. А всякий, совершивший то, что вы совершили, должен быть готов к покаянию. Вам для покаяния нужно совсем не много. Вы легко можете уменьшить вашу вину тем, что поможете другим — невиновным. Логично, не правда ли?

САЗОН. Во имя логики еще никогда не лилась кровь. Поэтому она ничего не оправдывает.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Оставьте вы ваш фанатизм. Здесь нам может помочь только разум. Ну представьте, что на нашем месте оказались бы ваши родные — отец, мать, братья и сестры — и вы должны были решать жить им или умереть, как бы вы поступили? Разве вы не выдали бы имена ваших сообщников? Разве вы не постарались бы любой ценой добиться свободы для своих близких?

САЗОН. Я бы обнял их и не сказал бы ни слова. Может, попросил бы их понять смысл моего молчания, но, поскольку они знают меня, это бы и не понадобилось.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Стало быть, вам ничего не стоило бы ради убеждений пожертвовать счастьем вашей семьи? Вы способны на такую жестокость?

САЗОН. Это не жестокость. Смерть может быть актом служения идее любви.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Вы слышали? И от такого человека зависит наша жизнь.

ШОФЕР. Я же сказал, он — преступник. Ясное дело. И из-за такой дряни мы вынуждены торчать здесь и щелкать зубами.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Подойди сюда.

САЗОН. Я?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Ты, кто же еще. (*С угрозой.*) Подойди ко мне.

Пауза.

Ну скажи, тебе не стыдно? Да если б я натворил такое, я был бы сейчас тише воды, ниже травы. Я бы помнил, что провинился перед людьми.

САЗОН. Вина перед людьми переносится легче, чем вина перед самим собой.

ИНЖЕНЕР. Проклятье, я помру от жажды.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Лучше не зли меня.

Пауза.

Так как же все-таки? Договоримся мы наконец? Осознаешь ты свой долг перед девятью невинными людьми или нет? Невинными, я подчеркиваю.

САЗОН. Невинным теперь можно быть лишь в том случае, если возьмешь на себя определенную вину...

ШОФЕР. Да врежь ему разок-другой. Он заслужил.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Позвольте мне сказать еще несколько слов. Я хочу предложить вам следующее. Диктатор, как вы знаете, обещал выпустить нас всех, как только вы согласитесь работать на него. Для этого от вас вовсе не требуется предавать своих друзей, во всяком случае, на первых порах от вас этого не ожидают. Вы просто соглашаетесь и — мы все на свободе, и вы сами тоже. Свобода же, как вы понимаете, заключает в себе множество самых разных возможностей. Вы могли бы использовать ее, как нашли бы нужным. Повторяю, вы могли бы распорядиться свободой по своему усмотрению. И у вас были бы свидетели, которые всегда подтвердят, в каких условиях вы согласились на это сотрудничество. Вы бы таким

образом ничем не рисковали, и в то же время помогли бы нам всем. Вы только вдумайтесь во все хорошенько. Подумайте, чего вы могли бы добиться таким путем...

САЗОН. Я уже думал об этом. Но я ничем не могу вам помочь. Я не могу согласиться работать на диктатора. Не могу и притвориться, что согласился. На войне ты должен убивать или быть убитым. Я был готов к этому с самого начала. Для нас вовсе не все средства хороши для достижения цели...

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Да подумайте вы хоть раз в жизни не о себе!

САЗОН. Разве я думаю только о себе?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Да. Другие для вас вообще не существуют.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Оставьте его, не тратьте зря сил. Он просто не хочет понять нас. Он нас презирает — за то, что мы не такие, как он. Подите прочь! Ложитесь на свои нары. Я не хочу вас больше видеть. С меня довольно.

САЗОН. Чего вы хотите от меня? Все время вы напоминаете мне о цифровом соотношении: нас, дескать, девять, а ты один. Если б мы были последними людьми на земле, тогда б вы меня убедили. Тогда бы я знал, что мне делать. Но ведь снаружи живут миллионы, стоны которых я слышу даже здесь, и я мог бы с тем же правом спросить вас, почему вы не хотите считаться с этими миллионами, а требуете от меня выдачи друзей, которые борются за их освобождение. Раз уж вы так уверены, что меньшинство должно жертвовать собой ради большинства, почему же вы не делаете этого? Нет, я никогда не соглашусь работать на диктатора. Так что я вынужден вас разочаровать.

ШОФЕР. Заткните же ему глотку. Слышать не могу этот бред.

БАРОН. Иной бред заставляет задуматься.

ШОФЕР. Вы, я вижу, тип той же марки.

БАРОН. Глубоко признателен вам за это указание, пашедшее живой отклик в моей душе.

ШОФЕР. Только это не сразу заметно.

БАРОН. Вероятно, дело в том, что я тугодум.

ШОФЕР. Вот прочистят вам мозги, глядишь, оно и пойдет побыстрее.

БАРОН. Тугодумие льстят моему честолюбию.

Пауза.

КРЕСТЬЯНИН. Одну минутку, господин.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*со вздохом*). Ну, этот опять начнет сейчас про свою козу.

КРЕСТЬЯНИН. Ты слышишь меня, господин?

САЗОН. Конечно.

КРЕСТЬЯНИН. Я хочу тебе кое-что сказать.

САЗОН. Да.

КРЕСТЬЯНИН. Когда буря поломала много деревьев, нам разрешили их собирать. Я набрал много и поменял дрова на лодку, и ловил на ней рыбу в реке. Потом наступило жаркое лето и речка высохла. Тогда я поменял лодку на семена. Я посеял семена, но буря уничтожила посевы. Тогда я...

САЗОН. Зачем ты рассказываешь мне все это?

КРЕСТЬЯНИН. Подожди, господин, подожди. Тогда я снова поменял свой клочок земли на лодку, потому что в реке опять появилась вода и я мог ловить рыбу. Но вот она снова высохла. Тогда я поменял лодку на доски и бревна, чтобы построить сарай. Только я начал строить, как пришел один знакомый и предложил за бревна козу. Он живет здесь, на окраине, его зовут Слим. Я отволок к нему бревна, и он отдал мне козу. На обратной дороге они остановили меня и привели сюда.

САЗОН. История невеселая, но я-то здесь при чем?

КРЕСТЬЯНИН. Ты можешь освободить нас, господин, я понял, что все зависит от тебя. И я очень прошу тебя, господин,— освободи нас.

САЗОН. Ты ошибаешься. Может быть, это только так кажется, что я могу освободить вас, на самом деле я ничего не могу. Выше головы не прыгнешь, как ни разбегайся.

КРЕСТЬЯНИН. Может, пожалеешь нас?

САЗОН. Есть кое-что и посильнее жалости.

КРЕСТЬЯНИН. Что, господин?

САЗОН. Слезы детей, которые они проливают над замученными отцами. Я их видел, можешь мне верить. Я видел, как пытали одного из нас, пекаря — прямо в пекарне, на глазах его детей. Они еще потом охлаждали мукой его раны.

КРЕСТЬЯНИН. Стало быть, ты считаешь, что не можешь помочь нам?

САЗОН. Моя помощь слишком мала по сравнению с ее последствиями. Они были бы слишком ужасны.

ИНЖЕНЕР. Так что ступай, бьяша, на свое место. Тебе тоже не удастся сделать из камня человека. Камень ничем не растрогаешь. Ступай, побереги свои силы. Кто знает, на что они тебе еще понадобятся.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Признаюсь, я разочарован. Я не ожидал встретить такое упрямство. Разумеется, я сделаю соответствующие выводы.

ИНЖЕНЕР. Мы все помрем здесь от жажды.

ШОФЕР. И от голода.

БАРОН. Человека следует судить не по его возможностям, а по тому, что для него невозможно,— только тогда картина будет верная.

ИНЖЕНЕР (*вскакивая*). Да это просто какое-то безумие! Один малый мучает девять ни в чем не повинных людей, заставляет их упрашивать его, умолять, заискивать перед ним. А он? Прячется за овою убеждения и только бросает оттуда высокомерные ответы. Есть чему удивляться. Я удивляюсь тому, что мы миримся с его высокомерием и его презрением. Мы относимся к нему как к нашему покровителю, хотя это он должен был бы так относиться к нам.

БАРОН. Что ж, даже от очень дальнего родственника можно вдруг получить наследство.

ИНЖЕНЕР. Я сыт по горло. Нужно взяться за дело по-другому, иначе нам не выйти отсюда.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Я предлагал это с самого начала.

ШОФЕР. В конце концов, этот малый — преступник.

БАРОН. Преступник тоже способен испытывать отчаяние — как и мы.

ШОФЕР. У вас, видно, на все готов ответ, а?

БАРОН. Соглашаюсь, что с этим невозможно бороться.

ИНЖЕНЕР. Предлагаю голосование.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Голосовать? Для чего?

ИНЖЕНЕР. Для полной ясности.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Но за что тут голосовать?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Я — за.

ИНЖЕНЕР. Чтобы прояснить ситуацию. Будем хоть знать, кто на чьей стороне.

БАРОН. Любое голосование — уже приговор.

ИНЖЕНЕР. Пусть так. Будем твердо знать, кто готов согласиться с поведением этого человека. Или, говоря иначе: кто за него, а кто против...

Пауза.

Надо ведь прийти к какому-нибудь результату. Поэтому я вас спрашиваю: кто — за, кто — против?

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Я — против.

ШОФЕР. Конечно, против.

ИНЖЕНЕР. А вы?

ТИПОГРАФЩИК. Должен ведь он понять...

ИНЖЕНЕР. А все-таки?

ТИПОГРАФЩИК. Против.

ИНЖЕНЕР. Ты?

КРЕСТЬЯНИН. Очень жаль, господин, но ведь ты не хочешь нам помочь.

ИНЖЕНЕР. Против него?

КРЕСТЬЯНИН. Да, хотя мне его жалко.

ИНЖЕНЕР. А вы?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Он ведет себя так, что тут не о чем думать.

ИНЖЕНЕР. Стало быть, тоже против. Дальше.

СТУДЕНТ. Я его понимаю.

ИНЖЕНЕР. То есть — за него.

СТУДЕНТ. Да, за.

ИНЖЕНЕР. Барон?

БАРОН. Воздержался.

ИНЖЕНЕР. Вы должны решить.

БАРОН. Пardon, я уже решил: у меня нет мнения на этот счет.

ИНЖЕНЕР. Вы должны отвечать «да» или «нет», «за» или «против».

БАРОН. Ну, это уже не добрая воля, а принуждение.

ИНЖЕНЕР. Стало быть, воздержались. Доктор?

ВРАЧ. Этому человеку больно.

ИНЖЕНЕР. За или против?

ВРАЧ. За.

Пауза.

ИНЖЕНЕР. Ну вот, теперь мы хоть знаем, что к чему. Вы слышали приговор этих людей?

САЗОН. Я ожидал его. Я ничего не могу изменить.

ИНЖЕНЕР (*в бешенстве*). Значит, вам наплевать, что из-за вас страдают девять невинных — из-за того, что вы совершили преступление и не хотите раскаиваться в нем?

САЗОН. То, что я сделал, я сделал независимо от вас. В решающий момент я рисковал только собой. Я не виноват, что диктатор ваше освобождение поставил в зависимость от моего согласия выдать друзей или сотрудничать с ним. Между тем, что я сделал, и вашим положением нет никакой связи.

ИНЖЕНЕР. Для вас — конечно, никакой связи нет. Но мы-то очутились и торчим здесь только из-за вас.

САЗОН. Никто не говорил, что диктатор поместил вас здесь как заложников.

ИНЖЕНЕР (*гневно*). Молчите! Попридержите язык. Если вы будете еще болтать, то я за себя не отвечаю. (*После паузы, с угрозой*). Предупреждаю вас в последний раз. Людей вашего пошиба, видно, можно убедить только силой. Так что подумайте — в последний раз... Иначе... Иначе вам будет не сладко...

Длинная пауза.

СТУДЕНТ (*осторожным шепотом*). Вы спите?

САЗОН. Нет. Почему вы спрашиваете?

СТУДЕНТ. Дайте руку.

Пауза.

САЗОН. Зачем?

СТУДЕНТ. Возьмите. Это вам пригодится — в случае чего.

САЗОН. Что это?

СТУДЕНТ. Капсула с ядом. Раздавите зубами, и через двадцать секунд вас уже нет. Это самое ценное, что у меня есть.

САЗОН. Зачем она вам?

СТУДЕНТ. Она была зашита у меня в брюках... Агония будет длиться всего двадцать секунд... Чувство будет такое, будто вас бьют молотками, но это всего двадцать секунд — и конец.

САЗОН. Мне не нужен яд.

СТУДЕНТ. Он сократит вам путь. Даст гарантию.

САЗОН. Гарантию чего?

СТУДЕНТ. Свободы.

САЗОН. Может быть, оно и так. Есть даже свое преимущество: я бы мог тогда сам назначить время. Нужно было бы только решиться.

СТУДЕНТ. Ну и?

САЗОН. Нет.

СТУДЕНТ. Сохраните ее у себя, она может вам пригодиться.

САЗОН. Зачем?

СТУДЕНТ. Она защитит вас.

САЗОН. От кого?

СТУДЕНТ. От нас. От невиновных.

САЗОН. Спасибо, мне не нужен яд.

СТУДЕНТ. Мне нелегко отказываться от него.

САЗОН. Я уверен, что обойдусь без него.

ШОФЕР (*возмущенно*). Тихо, вы! Что вы там все болтаете?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*просыпаясь*). Уф, господи! Сколько времени? Неужели еще одна ночь прошла? Не может быть.

ШОФЕР. Ну все, теперь я проснулся, а когда я просыпаюсь, то уж не могу заснуть. Опять из-за этого малого с его болтовней.

БАРОН. Вот уж не думал, что моя бессонница сослужит мне когда-нибудь хорошую службу. По-видимому, пользу можно извлечь даже из пороков, нужно только запастись терпением.

ШОФЕР. Что-то необыкновенно умное сказанул, да?

БАРОН. Совсем нет, просто я пытаюсь себя утешить, а в любом утешении, пожалуй, мало разумного.

ШОФЕР. Ну и надоели вы мне.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Есть хочется... Прямо невозможно терпеть.

БАРОН. Терпение, говорят, есть искусство надеяться — что возвращает нас к нашей теме.

ИНЖЕНЕР. Он все еще здесь?

ШОФЕР. Где ж ему быть. Вот он, на парах. Самое удобное место у малого.

Пауза.

ВРАЧ. Простите...

САЗОН. Да, доктор?

ВРАЧ. Мне нужно поговорить с вами. Я долго ждал, вы знаете.

САЗОН. Знаю. Я вам многим обязан.

ВРАЧ. Поэтому вы, я надеюсь, поймете...

ШОФЕР. Вы только послушайте, как доктор с ним говорит! С этим преступником! Прямо сюсюкает!

ВРАЧ. Я долго ждал... Но теперь я должен сказать, что дальше так продолжаться не может. Мы должны что-нибудь решить.

САЗОН. От меня это не зависит.

ВРАЧ. Мне крайне необходимо попасть в клинику. Понимаете, уже целый год у меня лечится одна больная, очень тяжелый случай. По моему настоянию клиника закупила очень дорогой препарат для нее — в виде исключения. Это своего рода эксперимент. Он удался, я уверен в этом. Понимаете, что это значит? Если мне удастся вылечить эту женщину...

САЗОН. Понимаю, доктор. Но чего вы ждете от меня? Что я спасу эту женщину, предав своих друзей?

ВРАЧ. Дело не только в женщине. Если мне удастся вылечить ее, то, стало быть, мои предположения оправдались и точно так же можно будет вылечить сотни других.

САЗОН. Разве предательство можно оправдать количеством спасенных людей?

ВРАЧ. Не в количестве дело, а в спасенных жизнях.

САЗОН. Я не доверяю аргументам, выдвигаемым во имя жизни.

ВРАЧ. А во имя чего же вы стреляли в диктатора?

САЗОН. Во имя совести.

БАРОН. Звучит почти убедительно. Меня смущает только бойкость, с которой отвечает наш снайпер. Примечательно, что человеку, уютно расположившемуся в кресле своих убеждений, неведомы муки сомнений, у него на все готов свой ответ. Он почти достоин зависти, но только почти.

ВРАЧ (*требовательно*). Стало быть, вы не хотите ни с кем считаться? Я уже не говорю о нас, девяти невиновных, но ведь есть еще люди, которые зависят от нас.

САЗОН. Бывают ситуации, доктор, когда человек неизбежно причиняет страдания окружающим. Поверьте, сам он при этом страдает не меньше.

ШОФЕР. Да врезать ему хорошенько, чтоб поменьше трепался.

ВРАЧ. Вы не видите никакой возможности нам помочь?

САЗОН. Если бы я видел, я бы давно вам помог, доктор.

ВРАЧ. Тогда я должен сказать вам...

САЗОН. Я знаю...

ВРАЧ (*возмущенно*). Нет вы не знаете... Я должен сказать, что ваше поведение внушает мне страх. Под предлогом солидарности со своими друзьями вы пренебрегаете другой солидарностью — большей. Вы говорите о совести, но ведете себя так, что мы вынуждены усомниться в вашей собственной совести.

БАРОН. Я бы назвал это подвижной совестью — она функционирует по усмотрению.

ВРАЧ. Мне больше нечего вам сказать.

ШОФЕР. Ладно. Придется мне с ним поговорить.

Шаги.

Ну-ка, встань!

Сазон поднимается с нар.

Живее! Стань вот сюда, к стене. Так. А теперь слушай меня: я человек простой и не люблю треп. Я признаю только «да» или «нет», понял?

САЗОН. Все, что мог, я уже сказал.

ШОФЕР. Глупости. Ты еще много можешь сказать. Итак?

САЗОН. Могу только повторить.

ШОФЕР. Со мной это не пройдет. Мне этого мало. Посмотри, вот перед тобой девять человек, все без единого пятнышка, а должны тут маяться только потому, что ты стрелял в диктатора. Девять невиновных сидят в тюрьме и стучат зубами от голода из-за одного преступника! Ну вот. А теперь...

Пауза. Звук удара кулаком по лицу. Вскрик.

...теперь выкладывай имена. Живо! Ты меня понял?

БАРОН. Перестаньте его бить. Не могу припомнить, чтобы кулак когда-нибудь имел власть над убеждениями.

ШОФЕР. Зато кулак помогает иногда кое-что раскумекать. Итак, кто принимал участие в покушении?

Пауза. Звук удара кулаком по лицу. Вскрик.

Имена! (*Кричит.*) А ну выкладывай имена!

Удар.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Все-таки не бейте его так сильно.

ШОФЕР. Так он лучше меня поймет, а?

ИНЖЕНЕР. У нас почти нет надежды на это.

ШОФЕР. Ну, что ж ты теперь молчишь? Язык отсох? Ты понимаешь хоть, что от тебя требуется? Имена сообщников! Я с тобой говорю!

Удар.

СТУДЕНТ. Да оставьте вы его!

ШОФЕР. А вы не вмешивайтесь. Вы, небось, все еще за него, а? Тогда вы — единственный. Слышали, что сказал ему доктор?

СТУДЕНТ. Слышал.

ШОФЕР. Ну так чего ж вы хотите?

СТУДЕНТ (*презрительно*). Просто хочу сказать, что ваши кулаки слишком мягки. Вы их отобьете себе, и только.

ШОФЕР. Он ведь может защищаться. Почему он не защищается?

СТУДЕНТ (*презрительно*). Это ниже его достоинства, он привык иметь дело с равными себе.

ШОФЕР. Подите вы к черту.

Пауза.

Ты меня понял? Я хочу знать имена. Мы все требуем, чтобы ты вернул нам свободу — как ты отнял ее у нас.

Удар.

Живо! Ты ведь у нас такой говорун. Мы столько от тебя наслушались, а тут вдруг ты прикусил язык.

Пауза. Слышно что-то тяжелое дыхание.

КРЕСТЬЯНИН (*орет*). Глядите! Глядите, что он сделал! Отрубил себе пальцы... Ножом... Два пальца... Глядите же, господин... вот они лежат...

ИНЖЕНЕР. Кто? Что случилось?

ТИПОГРАФЩИК (*сдерживаясь, чтобы не кричать от боли, с мрачным удовлетворением*). Вы должны меня вывести. Теперь вы должны меня вывести. (*Стонет.*)

ИНЖЕНЕР. Он отрубил себе пальцы. Стражник!

СТРАЖНИК. Да, господин.

ВРАЧ. Что, в самом деле? Скорее повязку!

ТИПОГРАФЩИК. Вы должны отвести меня домой!

ИНЖЕНЕР. Стражник! Открой сейчас же! Скорее! Он отрубил себе пальцы. Мы должны его вывести.

СТРАЖНИК. Сожалею, господин. Мне нельзя открыть дверь раньше времени.

ИНЖЕНЕР (*вне себя*). Раньше времени? Что это значит? Ты что, не понимаешь, в чем дело? Не видишь, что он истекает кровью? Два пальца...

СТРАЖНИК. Руки с решетки, господин. Решетку нельзя трогать.
ИНЖЕНЕР. Плевать я хотел. Открой сейчас же, слышишь!

Удар бича, вскрик.

Ну, подожди, собака...

КРЕСТЬЯНИН. Вот они лежат — два пальца...

ВРАЧ. Снимите пиджак, закатайте рукава.

ТИПОГРАФЩИК. Вы должны меня вывести. Теперь-то.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Стражник!

СТРАЖНИК. Да, господин.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Ты должен сказать майору. Сейчас же. Ему нужна помощь.

СТРАЖНИК. Это невозможно.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Когда же, когда это будет возможно?

СТРАЖНИК. Когда вы все исполните, господин.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Но его нельзя оставить без помощи.

СТРАЖНИК. Ему окажут помощь, господин.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Она нужна ему сейчас.

ТИПОГРАФЩИК. Вы должны меня отпустить.

ВРАЧ. Сядьте.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Это негуманно.

БАРОН. Боюсь, наоборот.

КРЕСТЬЯНИН (*взволнованно*). Я и не видел, как он это сделал.

Слышу только — какой-то звук, смотрю, а он уж откинулся на спину и нож тут вот валяется. Втихаря сделал.

ВРАЧ. Сидите, сидите.

БАРОН (*разрывает рубашку*). Вот, доктор, можете взять для перевязки. Правда, запонки мне пригодятся.

ВРАЧ. Это мало поможет. Ему нужен укол.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. А вы-то видели, как он это делает!

САЗОН. Мне жаль его. И я ему благодарен.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Благодарны?

САЗОН. Я знаю, почему он это сделал.

ШОФЕР. Ну, уж не ради тебя. Ради нас. Хотел, чтобы нас выпустили.

Но твоей башке этого не понять. Стой, как стоял! Попробуй только сесть на нары!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Похоже, что его не пронять. Все ему нипочем, даже страдания этого человека.

САЗОН (*устало*). Делайте со мной что хотите. Я не могу назвать вам имена моих друзей. И не могу согласиться работать на диктатора. Ни за что. Вам меня не понять. Вы приговорили меня. Для вас то, что с нами происходит, — лишь тягостный эпизод, который скоро забудется. Для меня же это — последняя возможность оправдать наши жертвы. Разумеется, когда-

нибудь забудутся и наши страдания. Но пока мы живы, мы должны оправдывать наши страдания,— это единственное, что для нас неоспоримо.

БАРОН. Безукоризненно. Меня все это убеждает, хотя и не меняет нашего положения. Тут горькая истина, которую я всегда читал.

ШОФЕР. Стой, как стоял! На лары ты больше не ляжешь.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Что же делать теперь?

ТИПОГРАФСЧИК. Вы так и не вытащите меня отсюда?

ВРАЧ. Потерпите еще немного. Должно ведь что-нибудь произойти.

ИНЖЕНЕР (*вставая*). В самом деле, давайте с этим кончать.

БАРОН. Мы бы с радостью, да не знаем как.

ВРАЧ. Этому человеку нельзя здесь оставаться. Его нужно перевязать, сделать укол.

ШОФЕР (*с угрозой*). Ты слышишь? Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Или тебе это все до лампочки?

САЗОН. Я прошу у него прощения.

ШОФЕР. Чего, чего? Прощения?

Удар, вскрик.

Хватило наглости! Сначала довел человека до такого состояния, потом попросил прощения и думает, что все в порядке. Нет уж, сейчас ты у меня заговоришь по-другому!

Пауза, удар, вскрик, падение тела.

А ну, вставай! Живо!

СТУДЕНТ. Он не может встать. Вы же видите, он без сознания.

ШОФЕР. Он должен встать.

Серия хлестких ударов.

СТУДЕНТ (*презрительно*). Чего уж там возиться, приводить его в сознание. Делайте сразу, что задумали. Так будет всего вернее.

ШОФЕР. А вас не спрашивают.

БАРОН. Иногда полезны и непрошенные советы.

ШОФЕР. Вставай, говорю.

Серия хлестких ударов, тихий стон.

СТУДЕНТ (*презрительно*). Диктатор все передал в наши руки.

БАРОН. Убийство как акт любви к ближнему...

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Этот преступник нас не пощадит. Может быть, он даже надеется, что умрет не один.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. И я так думаю. От него избавления не дождешься.

ИНЖЕНЕР. Перестаньте же без конца говорить — сделайте что-нибудь.

БАРОН. Не беспокойтесь, мы уже сделали кое-что. Правда, пока только в мыслях.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Что это значит?

БАРОН. Дорогой мой, каждый из нас уже столько раз желал смерти своим соседям — врагам, как и друзьям, что наберется на порядочное частное кладбище. Я убежден, что на земле никогда бы не возникла проблема перенаселения, если бы сбывалось то, что мы желаем нашим соседям. Однако между желанием и действием — перегородка, иногда она бывает тонкой, как папирус.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ (*раздраженно*). Послушайте, барон: этот малый не скрывает, что презирает нас. Он мог бы вполне равнодушно убить нас. Вам это безразлично? Вам не приходит в голову защищаться?

БАРОН. Вас это, пожалуй, удивит, но я не знаю. Не могу решить.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Подумайте вон о том человеке. Ему нужна помощь. Его жизнь ничего не значит?

БАРОН. Можно ведь делать что-то, даже не находя аргументов в защиту того, что делаешь.

ШОФЕР. Вставай, говорю. Это еще только начало.

ИНЖЕНЕР. Кончайте же!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Да, кончайте.

Длинная пауза с музыкальной заставкой.

СТУДЕНТ (*шепотом*). Доктор! Вы спите?

ВРАЧ. Что случилось?

СТУДЕНТ. Одному из нас нельзя спать.

ВРАЧ (*устало*). А в чем дело?

СТУДЕНТ. Чтоб не было беды. Я чувствую, тут что-то затевается. У вас нет такого чувства?

ВРАЧ. Он опять его бьет?

СТУДЕНТ. Они оба спят.

ВРАЧ. Он не должен его бить. Нам нельзя допускать, чтобы он его убил.

БАРОН (*тихо*). Если позволите, я присоединюсь к вам. Я готов подежурить.

ВРАЧ. Нельзя допускать, чтобы его били еще.

СТУДЕНТ. Мы все испробовали и на самое крайнее дали согласие. Теперь нам остается только одно — делать то, чем мы обязаны самим себе.

БАРОН. Нужно караулить его. Странно: бывают случаи, когда нам становится дорог наш губитель.

ВРАЧ. Зачем мы только допустили это!

СТУДЕНТ. Я думаю, надо разделить дежурства.

БАРОН. Между нами троими? Надо бы опросить и других. Может быть, еще кто-нибудь согласится. *(С печальной иронией.)* Сторожить сон человека, который отказался помочь нам. Если быть точным — сторожить сон нашего судьи, который приговорил нас. Понимаете?

СТУДЕНТ. Теперь он — такой же, как и мы. Судья всех ближе приговоренному.

БАРОН. Думают ли так же другие?

СТУДЕНТ. Не уверен, что их нужно спрашивать.

ВРАЧ. Они бы все согласились.

СТУДЕНТ. Может быть, но каждый из них понял бы свою задачу по-своему.

КРЕСТЬЯНИН. Я все слышал, что вы говорили. Я хочу дежурить первым. Он будет спокойно спать, и никто его не тронет. Никто.

ВРАЧ. Я тебе верю.

СТУДЕНТ. Все для этого не годятся.

БАРОН. Или все, или никто. Ведь мы стережем его от себя самих. Мы защищаем не его, а себя самих, и каждый будет стараться, чтобы в его дежурство ничего не случилось.

ВРАЧ. Начну я.

БАРОН. Позвольте мне это сделать.

СТУДЕНТ. Или мне.

КРЕСТЬЯНИН. Я сменю первого, господин.

ВРАЧ. Хорошо. Я начну, а ты меня сменишь.

Пауза с музыкальной заставкой. Сазон стонет, сначала тихо, потом внезапно так, словно его душат. Тишина.

ШОФЕР. Что здесь случилось?

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ *(заикаясь)*. Скажи стражнику — пусть открывает.

СТУДЕНТ. Что произошло?

КРЕСТЬЯНИН. Вон он как лежит, господин. Я думаю, он мертв.

СТУДЕНТ. Мертв? С чего ты взял?

КРЕСТЬЯНИН. Видишь, как он лежит — ничком. И руки сжаты, как в судороге.

ВРАЧ. Было твое дежурство.

КРЕСТЬЯНИН. Я, наверно, заснул, господин.

СТУДЕНТ. Он мертв. Его задушили.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Позовите стражника. Теперь он откроет.

ВРАЧ. Кто, кто это сделал?

ШОФЕР. Его ведь задушили. Я бы не стал этого делать — никогда!

ВРАЧ. Кто же?

КРЕСТЬЯНИН. Я, наверно, заснул, господин. А когда проснулся, было уже поздно.

ВРАЧ. Это — вы!

ИНЖЕНЕР. Позвольте, я даже ничего не слышал.

ВРАЧ. Тогда — вы!

СЛУЖАЩИЙ БАНКА. Я? Вы считаете меня убийцей?

ВРАЧ. Но ведь кто-то это сделал!

СТУДЕНТ. Теперь уже не важно, кто. Мы все предполагали эту возможность. Каждый из нас совершил это в мыслях. Поэтому мы все виновны.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Стражник!

СТРАЖНИК. Да, господин.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Иди и убедись, что он мертв. А потом открой нам.

СТУДЕНТ. Ему незачем проверять. Он с самого начала был уверен в исходе дела. Для таких, как он, нет безвыходных положений.

БАРОН. Прошу вас, господа. Дверь сейчас откроют.

Всеобщее движение.

Невиновных отпускают домой.

ТИПОГРАФИК (с мрачным удовлетворением). Видите, нас выпускают. Теперь мы свободны.

БАРОН. Мы это заслужили. Мы выполнили свой долг именно так, как от нас ожидали. Прошу вас, господа. Помилование нам было отпущено впрок, еще когда нас везли сюда.

СТРАЖНИК. Внимание! Идет майор.

Тишина, потом шаги.

МАЙОР (с элегантной небрежностью). Вижу, вижу, господа, вы справились со своей задачей — справились так, как сочли уместным. Примите мою благодарность.

ХОЗЯИН ОТЕЛЯ. Что же, теперь-то нас отпустят домой?

МАЙОР. Разумеется, господа. Вы даже превзошли ожидания диктатора. Разумеется, вы свободны... Стражник, открой им...

Слышно, как, гремя ключами, стражник открывает дверь. Музыка.

Гюнтер АЙХ

Девушки из Витербо

Голоса:

ГОЛЬДШМИД
БОТАРИ
ЖИРАЛЬДИ
ЭМИЛИО
ГАБРИЭЛА
ГОСПОЖА ВИНТЕР
АНЖЕЛИКА БОТАРИ
АНТОНИЯ
ЛЮЧИЯ
ЛЕНА
МАРИЯ
БИАНКА

ГАБРИЭЛА. Проснись! Проснись!

ГОЛЬДШМИД (*просыпаясь*). Да? Что случилось, Габриэла?

ГАБРИЭЛА (*шепотом*). На лестнице шаги!

ГОЛЬДШМИД. Шаги?

Прислушиваются.

Нет, это не к нам. К кому-нибудь ниже или выше.

ГАБРИЭЛА. Я так и думала...

ГОЛЬДШМИД. И все-таки разбудила меня.

ГАБРИЭЛА. Когда не спишь — спокойнее. Ты сам так говоришь, дедушка.

ГОЛЬДШМИД. Да, спокойнее.

ГАБРИЭЛА. Я никогда не сплю. А мне бы следовало — в семнадцать-то лет. Как ты думаешь?

ГОЛЬДШМИД. В твоём возрасте полезно много спать.

ГАБРИЭЛА. А в твоём, дедушка?

ГОЛЬДШМИД. Можно спать меньше.

ГАБРИЭЛА. Ох уж эти мне истины!

ГОЛЬДШМИД. Что ты хочешь сказать?

ГАБРИЭЛА. Они не стоят выеденного яйца — эти благоглупости, которыми ты меня кормишь весь день.

ГОЛЬДШМИД. Ну, не так уж это все скверно, а, Габриэла?

ГАБРИЭЛА. Картофель едят только вилкой, в семьдесят мало спят. Мой мудрый дедушка, признайся, что ты спишь с наслаждением, если не с жадностью.

ГОЛЬДШМИД. Я рад, что ты меня разбудила.

ГАБРИЭЛА. Я это сделала, чтобы не быть наедине со страхом.

ГОЛЬДШМИД. Когда я только открыл глаза, мне показалось, что я где-то в другом месте.

ГАБРИЭЛА. Ну, уж полосатые обои ты мог бы узнать.

ГОЛЬДШМИД. А вот не узнал.

ГАБРИЭЛА. Триста шестьдесят пять полосок, я сосчитала. Странное совпадение, не правда ли?

ГОЛЬДШМИД. Пожалуй.

ГАБРИЭЛА. Или?

ГОЛЬДШМИД. Что — или?

ГАБРИЭЛА. Полосок столько, сколько дней в году.

ГОЛЬДШМИД. Я так и понял. Странное совпадение, как ты говоришь.

ГАБРИЭЛА. Я в это не верю. В то, что в году триста шестьдесят пять дней. Очередная благоглупость, которыми ты меня

кормишь, ты и госпожа Винтер. В году триста шестьдесят пять полосок.

ГОЛЬДШМИД (*вздыхая*). Конечно, конечно. Монотонность существования в этой нашей добровольной тюрьме...

ГАБРИЭЛА. Если б ты хоть не соглашался со всем, что я говорю!

ГОЛЬДШМИД. Ах, Габриэла!

ГАБРИЭЛА (*передразнивая*). Ах, Габриэла!

ГОЛЬДШМИД. Когда я проснулся...

ГАБРИЭЛА. Тебе показалось, что ты где-то в другом месте. Ты уже говорил. Может быть, там, где мы находимся на самом деле.

ГОЛЬДШМИД. На самом деле мы, к сожалению, здесь: Берлин, Принцрегентштрассе...

ГАБРИЭЛА. Октябрь тысяча девятьсот сорок третьего года. Все в высшей степени невероятно.

ГОЛЬДШМИД. Что?

ГАБРИЭЛА. Адрес, дата, полоски на обоях. Я в это не верю.

ГОЛЬДШМИД. Когда я проснулся, у меня было такое же чувство.

ГАБРИЭЛА. Когда проснулся! А я никогда в это не верю. Здесь все, все неправильно. Я смотрю в окно, и мне кажется, что идет дождь. А ты говоришь, что это просто серая стена соседнего дома. Разве это объяснение?

ГОЛЬДШМИД. Что еще я могу сказать?

ГАБРИЭЛА. Скажи, что это кошмарное наваждение. Семидесятилетний старик и его внучка целых три года прячутся в квартире одной сердобольной съемщицы и не могут носа показать на улицу — ну разве это не бредни какой-нибудь выжившей из ума старухи, слишком глупые, чтобы быть правдой, ты так и скажи!

ГОЛЬДШМИД. Ах, Габриэла!

ГАБРИЭЛА (*всхлипывая*). Я больше не выдержу. (*Берет себя в руки.*) Так что было, когда ты проснулся?

ГОЛЬДШМИД. Я не узнал тебя. Ты показалась мне девушкой, которую звали Антонией.

ГАБРИЭЛА. Антонией?

ГОЛЬДШМИД. Я же сам...

ГАБРИЭЛА. Разве это не было возможно? Чтобы меня звали Антонией, чтобы обои были другими, чтобы все было совсем по-другому и без госпожи Винтер?

ГОЛЬДШМИД. Я же был учителем. Даже помню, как меня звали — Петро Ботари.

ГАБРИЭЛА. Петро?

ГОЛЬДШМИД. Ботари. А были мы из Витербо.

ГАБРИЭЛА. И действительность была такой же прекрасной, как эти имена и названия...

ГОЛЬДШМИД. Я с классом женской гимназии на экскурсии где-то в Риме или в Неаполе.

ГАБРИЭЛА. Да, мой милый дедушка, давай проснемся где-нибудь в Неаполе или в Риме.

ГОЛЬДШМИД. Да, в Неаполе или в Риме. Мы были в катакомбах и заблудились.

ГАБРИЭЛА (*задумчиво*). Откуда я все это знаю?

ГОЛЬДШМИД. Могу тебе сказать.

ГАБРИЭЛА. Это — действительность, не правда ли?

ГОЛЬДШМИД. Это — иллюстрированный журнал, дитя мое. Один из старых номеров, которые приносила нам госпожа Винтер. Очерк о катакомбах, помнишь?

ГАБРИЭЛА (*чуть не плача*). Не хочу я этого помнить!

ГОЛЬДШМИД. Там писали о классе, который заблудился в катакомбах. Думаешь, это лучше, чем сидеть здесь?

ГАБРИЭЛА. Лучше!

ГОЛЬДШМИД. Да, пожалуй.

ГАБРИЭЛА. Иллюстрированный журнал! И это все?

ГОЛЬДШМИД. Нет, не все. Потому что одновременно мы были в Берлине, в этом доме, в этой квартире.

ГАБРИЭЛА (*сердито*). Какая буйная фантазия! Какие веселенькие рассказы!

ГОЛЬДШМИД. В семнадцать я не был еще таким насмешником.

ГАБРИЭЛА. Зачем мне казаться глупее, чем я есть? Разве ты не понимаешь, что я бы хотела забыться хотя бы ненадолго?

ГОЛЬДШМИД. Понимаю.

ГАБРИЭЛА. Но?

ГОЛЬДШМИД. Разве я сказал — но?

ГАБРИЭЛА. Оно подразумевалось.

ГОЛЬДШМИД (*нерешительно*). Сейчас не время забываться, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Это в семнадцать-то лет не время?

ГОЛЬДШМИД. Мне показалось, что мое забытие было последним.

ГАБРИЭЛА (*решительно*). Расскажи твой сон!

ГОЛЬДШМИД. Во сне главное — вкус. Его еще чувствуешь на языке, как только что сказанное слово. А рассказывать почти нечего.

ГАБРИЭЛА. А катакомбы, Берлин?

ГОЛЬДШМИД. Мы покинули Берлин и приблизились к границе.

ГАБРИЭЛА. Я была худшего мнения о твоей фантазии. Она порхает по старым журналам и садится в невзрачных квартирках. А теперь...

ГОЛЬДШМИД. Теперь у нее на уме такая малость, как Зигфрид Израиль Хиршфельд и Эдит Сара Хиршфельд.

ГАБРИЭЛА. Видеть сны о Хиршфельдах. Откуда ж тут взяться приятному вкусу.

ГОЛЬДШМИД. Мы были на границе.

ГАБРИЭЛА. Мы?

ГОЛЬДШМИД. И писали открытку девушке по имени Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Габриэла Сара Гольдшмид.

ГОЛЬДШМИД. И ее дедушке. Писали, что все прошло благополучно.

ГАБРИЭЛА. Кстати, карточка от Хиршфельдов должна была бы уже прийти. Наверно, она в сумочке у госпожи Винтер.

ГОЛЬДШМИД. А потом...

ГАБРИЭЛА. Говори же, мой изобретательный предок! Встряхни свою фантазию, дай ей порезвиться! Что ты медлишь?

ГОЛЬДШМИД. Потом было что-то, что я никак не могу вспомнить.

ГАБРИЭЛА. Ты кричал во сне.

ГОЛЬДШМИД. Кажется, нас искали в катакомбах.

ГАБРИЭЛА. Или в Берлине? Или на границе?

ГОЛЬДШМИД. И нашли. Не помню уже, хорошо это было или плохо, но нас нашли.

ГАБРИЭЛА. Но ты кричал.

ГОЛЬДШМИД. Да, при этом произошло что-то ужасное.

ГАБРИЭЛА. Все же нашли. Что может быть ужаснее?

ГОЛЬДШМИД. Что же это было? Уже не помню. Только горький привкус остался.

Где-то вдалеке бьют часы.

ГАБРИЭЛА. ...пять, шесть.

ГОЛЬДШМИД. Темнеет.

ГАБРИЭЛА. Потому что пробило шесть? Разве существует еще что-нибудь кроме темноты? Только ее оттенки. Но ты их не замечаешь.

ГОЛЬДШМИД. Возможно.

ГАБРИЭЛА. Тебя ничто не трогает. Ни чувства, ни желания. Я, например, хочу есть.

ГОЛЬДШМИД. Госпожа Винтер скоро вернется.

ГАБРИЭЛА. Потому что пробило шесть.

ГОЛЬДШМИД. Я почему-то не хочу есть.

ГАБРИЭЛА. Дед, Роберт Израиль Гольдшмид!

ГОЛЬДШМИД. Что?

ГАБРИЭЛА. Я ненавижу тебя за то, что ты не хочешь есть.

ГОЛЬДШМИД. Ничего ты не знаешь! Потому что это неправда. Иногда это бывает, пожалуй, правдой. Невольно легко озлобляет.

ГАБРИЭЛА. Могла ли я себе представить, что у меня найдется время быть злой! Конечно, нет. А теперь... Ну разве может быть подлинная добродетель, бабушка?

ГОЛЬДШМИД. Нет, дитя мое.

ГАБРИЭЛА. Опущу-ка я шторы.

ГОЛЬДШМИД. Было бы хорошо.

ГАБРИЭЛА. Не хорошо, а совершенно бессмысленно. Потом я замечаю, что ничего не делаю, не возвестив сначала об этом. Я думаю, если б я встретила самое себя, я показалась бы себе невыносимой.

ГОЛЬДШМИД. С любимым было бы то же самое.

ГАБРИЭЛА. Эта мне мудрость! Стоит только обобщить любую глупость, и вот ты уже мудр. Все хорошо, что хорошо кончается. Кто это сказал? Наверно, какой-нибудь висельник, болтаясь на перекладине.

Вой сирен — воздушная тревога.

ГОЛЬДШМИД. Третья тревога сегодня.

ГАБРИЭЛА. Бог любит троицу. Не хвали день спозаранку. Все подходит. Особенно к нам, ведь мы спим днем, а ночью дежури́м. Утренний сон сладок. Дело мастера боится. Пойду посмотрю, есть ли вода в ведрах.

ГОЛЬДШМИД. Госпожа Винтер хорошо следит за этим.

ГАБРИЭЛА. К тому же это совершенно не важно. Но я все-таки схожу. Это придает определенный ритм жизни и поддерживает порядок.

ГОЛЬДШМИД. Иди, только не болтай.

ГАБРИЭЛА. А, тебе уже надоело? Ну тогда еще из старика Гёте: «Есть нечто, чем люди живут. Что это? Труд!» Примерно тот же уровень фантазии, что и у тебя. Ему и в голову не приходило, что существуют другие возможности жить. Ну, я пошла. Но не очень обольщайся: через минуту я вернусь. *(Выходит. Дверь тихо скрипит.)*

ГОЛЬДШМИД. Хоть несколько секунд побыть одному. Подумать, к примеру, о том, брать с собой галстук или нет. Нужно ли быть в галстучке, когда за тобой приходят? Может быть, это важно. Может быть, от этого все зависит. Об этом нужно подумать, одному и не медля, потому что сегодня это случится. Сегодня — это не просто день между вчера и завтра, это пик и это пропасть. Откуда-то изнутри к губам подступает привкус соли — единственный привкус, никакого другого у крови, как известно, нет.

ГАБРИЭЛА *(возвращаясь)*. Ведро в порядке.

ГОЛЬДШМИД. А все остальное?

ГАБРИЭЛА. Вероятно, это единственное, что в порядке.

ГОЛЬДШМИД. Так широко я это себе не мыслил. Спокойно в доме?

ГАБРИЭЛА. Пожалуй.

Звонок в дверь.

Если не считать одного маленького визита.

ГОЛЬДШМИД (*шепотом*). Портье. Или пожарник.

ГАБРИЭЛА. Портье. Он так всегда звонит. В убежище не досчитались госпожи Винтер.

ГОЛЬДШМИД. Стал бы он ее искать при менее сильном налете?

ГАБРИЭЛА. Надо было мне включить радио.

ГОЛЬДШМИД. Избави бог, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Да-да. Правила игры мне известны. Осторожность превыше всего. Кто слишком рискует, тот много проигрывает.

ГОЛЬДШМИД. Слышишь? Уходит.

ГАБРИЭЛА. При каждом звонке меня так и подмывает распахнуть дверь. Правда, бабушка, больше всего хочу — видеть других и чтобы меня видели! Раз и навсегда.

ГОЛЬДШМИД. Ты знаешь, что это значит.

ГАБРИЭЛА. Жизнь нужно беречь, как зеницу ока. Копейка рубль бережет. Я подозреваю, что и монеты уже все стали фальшивыми, не говоря о бумажных деньгах.

ГОЛЬДШМИД. Мир состоит не из одних фальшивомонетчиков.

ГАБРИЭЛА. Из кого же еще?

ГОЛЬДШМИД. И все это ты говоришь несерьезно.

ГАБРИЭЛА. К своим желаниям я отношусь серьезно.

ГОЛЬДШМИД. Так побереги же их, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Пока они высохнут. И этот гербарий я протяну тогда господу богу. Смотри, как я была добродетельна, как бережлива!

Гул моторов. Стрельба зениток. Вдали взрывы бомб.

ГОЛЬДШМИД. Бомбят...

ГАБРИЭЛА. Госпожа Хиршфельд сказала, что с ума бы сошла, если б ей пришлось пережить в квартире еще хоть один налет. Любезное прощание с нами, нечего сказать.

ГОЛЬДШМИД. Я уже говорил тебе...

ГАБРИЭЛА. Нам ведь тоже нельзя в подвал.

ГОЛЬДШМИД. ...она очень нервная.

ГАБРИЭЛА. Нужно уметь держать себя в руках, если собираешься ночью переходить границу.

ГОЛЬДШМИД. Теперь они уже перешли.

ГАБРИЭЛА. Я бы тоже хотела сойти с ума.

ГОЛЬДШМИД. Прошлой ночью.

ГАБРИЭЛА. А мы! Ведь мне семнадцать. Я совсем еще не жила.

ГОЛЬДШМИД. Да, быть бы сейчас где-нибудь в Швейцарии.

В Шафхаузене. Или уже в Цюрихе.

ГАБРИЭЛА. Разве тебе не приснилось, что их нашли?

ГОЛЬДШМИД. Девушек из Витербо...

ГАБРИЭЛА. Выпускной класс, не так ли? Наверно, все моего возраста. Вечерами гуляли вдвоем или втроем по Витербо.

ГОЛЬДШМИД. Неделю назад в городском театре гастролировал молодой тенор.

ГАБРИЭЛА (*удивленно*). Кто гастролировал?

ГОЛЬДШМИД. Они говорят о нем и хихикают. Завтра у них экскурсия в Рим. Площадь перед театром. Чудесный вечер.

ГАБРИЭЛА. Это все ты сам придумал, дедушка?

ГОЛЬДШМИД. Учусь.

ГАБРИЭЛА. Просто чудо.

Гул самолетов приближается.

ГОЛЬДШМИД. Тенор пришел мне в голову, когда я подумал о галстук.

Габриэла смеется.

Ты ведь знаешь мой галстук. В красно-синюю полоску.

ГАБРИЭЛА. Да, очень милый.

ГОЛЬДШМИД. Не знаю, брать мне его с собой или нет.

ГАБРИЭЛА (*смеясь*). Почему бы нет?

ГОЛЬДШМИД. Ты думаешь? Когда я был Петро Ботари, у меня тоже был галстук.

ГАБРИЭЛА. Да?

ГОЛЬДШМИД. Положение было незавидное. Бедные девочки, что они чувствовали?

ГАБРИЭЛА. Вероятно, то же, что и мы. Хотя им было чуточку легче. На них все-таки не падали бомбы.

ГОЛЬДШМИД. Не обращай внимания на них. Думай о катакомбах и девушках из Витербо.

ГАБРИЭЛА (*задумчиво*). Я их себе хорошо представляю. В поездку они надели самые нарядные платья. Многие в розовом, а также голубом, желтом, одна в белом. Красивые платья с воротником и поясом, а на шее ожерелья, которые теперь уже вышли из моды.

Шум налета внезапно обрывается.

В катакомбах.

БОТАРИ. Побережем свечку. Потуши ее, Бианка.

БИАНКА. Хватит ли ее до тех пор, пока нас найдут?

БОТАРИ. Конечно, хватит.

БИАНКА. Я потушу.

МАРИЯ. Нас уже ищут.

ЛЕНА. Но, наверно, нас найдут все-таки не сразу. Что, если мы опоздаем на последний поезд?

МАРИЯ. Что скажут родители?

ЛЮЧИЯ. Что мы приедем утром.

Смех.

По-моему, это даже интересно.

БИАНКА. По-моему, нет. Мне страшно.

БОТАРИ. Страшно? Глупости!

ЛЮЧИЯ. Вот видишь!

БОТАРИ. Но я хотел бы знать, почему так вышло. Я был последним. А кто шел первым?

МАРИЯ. Кажется, ты, Лючия?

ЛЮЧИЯ. Я была третьей или четвертой.

БОТАРИ. А кто был перед тобой?

ЛЮЧИЯ. Они все время менялись.

БОТАРИ. Как получилось, что мы отстали от всех и потеряли из виду священника?

Молчание.

Кто был впереди, когда мы это заметили?

ЛЮЧИЯ. По-моему, мы остановились все как-то разом и стояли кучей.

БОТАРИ. Почему вы остановились?

ЛЕНА. Потому что вдруг увидели, что впереди никого нет.

БОТАРИ. Итак, первой не было?

БИАНКА. Теперь трудно сказать.

БОТАРИ. Теперь трудно сказать... Тогда виноват я.

БИАНКА. Вы уж, во всяком случае, не виноваты, господин Ботари. Ведь вы шли последним.

БОТАРИ. Вашим родителям все равно, шел ли я первым или последним.

ЛЮЧИЯ. Я скажу своим родителям, что вы здесь ни при чем.

БИАНКА. Я своим тоже.

МАРИЯ. Мы все скажем. Можете не сомневаться, господин Ботари,

БОТАРИ. Это ведь мне пришло в голову затеять экскурсию в каткомбы. Вот они меня и упреknут.

АНТОНИЯ. О чем, собственно, разговор? Что случилось? Мы сбились с дороги и вернемся на несколько часов позже. Только и всего.

ЛЕНА. Антония права.

МАРИЯ. Сколько сейчас времени?

БОТАРИ. Без четверти семь.

МАРИЯ. Ну так они нас скоро найдут. В восемь отходит последний поезд.

ЛЕНА. Тихо! По-моему, кто-то кричит.

Тишина. Дальнейший разговор шепотом.

ЛЮЧИЯ. Антония?

АНТОНИЯ. Лючия?

ЛЮЧИЯ. Я хочу тебе кое-что сказать.

АНТОНИЯ. Да?

ЛЮЧИЯ. Это была я.

АНТОНИЯ. Что — ты?

ЛЮЧИЯ. Я была первой. Я нарочно повернула не туда, и никто не заметил. Это ужасно, как ты считаешь?

АНТОНИЯ. Нет. А зачем ты это сделала?

ЛЮЧИЯ. Не знаю. Мне было так скучно. Мне вообще все кажется скучным, вся жизнь. Понимаешь?

АНТОНИЯ. Понимаю.

ЛЮЧИЯ. А вот теперь мне страшно.

АНТОНИЯ. Глупости.

ЛЮЧИЯ. Вдруг они нас не найдут?

АНТОНИЯ. Наверняка найдут.

Дальнейший разговор опять громко.

БОТАРИ. Кто там все время шепчется? Перестаньте!

ЛЕНА. Сколько времени, господин Ботари?

БОТАРИ (*нерешительно*). В прошлый раз, кажется, тоже было без четверти семь?

ЛЕНА. У вас остановились часы?

БОТАРИ. У кого-нибудь еще есть часы?

Молчание.

ЛЕНА. Нет, наверно, ни у кого.

БИАНКА. Может быть, и тогда уже было больше.

МАРИЯ. Стало быть, на поезд мы уже не успеем.

БОТАРИ. Переждем в зале ожидания. Это еще не самое страшное.

ЛЕНА. Или здесь.

АНТОНИЯ. Это еще тоже не самое страшное.

ЛЮЧИЯ. Может, нам лучше куда-нибудь идти!

АНТОНИЯ. Пусть решает господин Ботари!

Мария внезапно начинает плакать.

БОТАРИ (*раздраженно*). Ну, что случилось? В чем дело?

БИАНКА. Что с тобой, Мария?

ЛЕНА (*хихикая*). Есть хочет.

МАРИЯ. Не хочу я есть.

БОТАРИ. Что же тогда?

МАРИЯ. А вдруг они нас не найдут?

БОТАРИ. Не болтай чепухи.

АНТОНИЯ. Давайте поедим! И ляжем спать.

БИАНКА. Спать? На такой грязи? А мое светлое платье?

ЛЕНА. Ну так стой. Все равно мы здесь все перепачкаемся.

БИАНКА. Жалко все-таки платье. Мне его сшили специально для Рима. Спать? Но здесь сыро и холодно, а потом сквозняк. И со стен капает.

БОТАРИ. Ты все выдумываешь.

ЛЮЧИЯ. Нам надо бы петь.

БИАНКА. Петь?

ЛЕНА. Чтобы вообще ничего больше не слышать?

ЛЮЧИЯ. Чтобы у вас поднялось настроение.

БОТАРИ. У всех здесь хорошее настроение. И все довольны, не так ли?

АНТОНИЯ (*после того как никто не ответил*). Да.

БОТАРИ. В конце концов это ведь приключение. А ведь вы их так любите! Только представьте, как вы будете рассказывать об этом вашим родителям, братьям и сестрам. Вы вдруг окажетесь в центре внимания всего Витербо. Разве это пустяки? О вас напишут в газетах.

МАРИЯ. Стало быть, дело обстоит настолько скверно.

БОТАРИ. Приключения обычно мало приятны.

ЛЕНА (*про себя*). Бывают и приятные приключения.

Кто-то хихикает.

БОТАРИ. Что там за смех?

БИАНКА. Лена говорит, бывают и очень приятные приключения.

ЛЕНА (*поспешно*). Это приключение, конечно, не из таких. Сидеть мне тут очень жестко.

ЛЮЧИЯ. Родители теперь пришли за мной на вокзал.

МАРИЯ. Мои тоже!

ЛЮЧИЯ. Они думают, что мы приедем с последним поездом.

АНТОНИЯ. Последний поезд прибывает около полуночи в Витербо.

Все наши родители соберутся на вокзале.

ЛЮЧИЯ. Они еще не знают, что и с последним поездом мы не приедем.

БОТАРИ. Хватит болтать!

ЛЮЧИЯ. Да, что это я вдруг заговорила об этом?

БОТАРИ. Покричу, пожалуй, это, во всяком случае, не повредит.
(Кричит.) Эй! Эй! Э-э-эй!

Крики постепенно смолкают.

Пауза.

3

Сирена, извещающая об окончании тревоги.

ГАБРИЭЛА (ставя точку). Ну вот.

ГОЛЬДШМИД. Отбой?

ГАБРИЭЛА. Все кончается, кроме...

ГОЛЬДШМИД. Прекрати!

ГАБРИЭЛА. Или тебе больше нравится: чего нет, то может возникнуть.

ГОЛЬДШМИД. У меня еще оставалась чудовищная надежда, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Ты еще менее исправим, чем я.

ГОЛЬДШМИД. Надежда на то, что мне не придется заботиться о своем галстуке.

ГАБРИЭЛА. Эта шутка мне непонятна.

ГОЛЬДШМИД. Она вообще не удалась.

ГАБРИЭЛА. В этом все дело.

ГОЛЬДШМИД. Все дело в том, что вкус зависит не от языка.

ГАБРИЭЛА. Твои сны зависят от голода. Куда же запропастилась госпожа Винтер?

ГОЛЬДШМИД. Ее задержала тревога.

ГАБРИЭЛА. Она должна была вернуться еще до тревоги, иначе зачем же пробило шесть часов? На кухне ни крошки хлеба.

По-моему, она нарочно медлит.

ГОЛЬДШМИД. Она все для нас делает.

ГАБРИЭЛА. До сих пор мы ей платили за это.

ГОЛЬДШМИД. Платили? А опасность, которой она себя подвергает? Во сколько ты ее оцениваешь?

ГАБРИЭЛА. Да-да. Только, произнося это, нужно закатывать глаза и бухаться на колени. О, я их всех ненавижу за это, не одну госпожу Винтер.

ГОЛЬДШМИД. Деда своего тоже.

ГАБРИЭЛА. Всех.

ГОЛЬДШМИД. Ну, это всего удобнее.

ГАБРИЭЛА. А особенно — самое себя.

ГОЛЬДШМИД. Сказано патетически, прямо-таки фраза девушки твоего возраста.

ГАБРИЭЛА. А чувствую я себя шестидесятилетней старухой. Да что я? Сто шестидесятилетней! Ах, дедушка, дедушка! Ты, конечно, прав.

ГОЛЬДШМИД. Прав в чем?

ГАБРИЭЛА. В том, что мы почти одного возраста. Пятьдесят лет не имеют значения, каждый день здесь равен году.

ГОЛЬДШМИД. Это еще слишком мало.

ГАБРИЭЛА. А годы до этого? Когда они убили отца, угнали мать? А тетушка Эсфирь, а тот молодой человек, наш сосед, который звал на помощь? Это стоит целых столетий. Взгляни только на меня внимательно: разве я не косматая карга?

ГОЛЬДШМИД. А желания?

ГАБРИЭЛА. Превращают меня в семнадцатилетнюю, верно. Но они так неопределенны.

ГОЛЬДШМИД. Может быть, гулять в ночном парке?

ГАБРИЭЛА (*серьезно*). С кем-нибудь, кто меня любит. Но меня никто не любит.

ГОЛЬДШМИД. Ну, это преувеличение.

ГАБРИЭЛА. Я уродина?

ГОЛЬДШМИД. Нет.

ГАБРИЭЛА. Но и не очень-то симпатичная, к сожалению! Больше всего я хотела бы быть красавицей. В опере все бинокли направлены на мою ложу. На улице на меня оборачиваются: Гольдшмид, та самая!

ГОЛЬДШМИД. Габриэла Сара.

ГАБРИЭЛА. Тебе не нравится это имя? Красота все бы изменила. Оно зазвучало бы совсем иначе: Гольдшмид! А потом...

ГОЛЬДШМИД. Тихо!

ГАБРИЭЛА. Шаги на лестнице?

ГОЛЬДШМИД (*шепотом*). Наверно, госпожа Винтер.

Они прислушиваются. Входная дверь открывается. Шаги в коридоре.

ГАБРИЭЛА. Может быть, принесла рыбу. Треска бы меня утешила.

Шаги приближаются. Дверь медленно открывается.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. А, вы здесь.

ГОЛЬДШМИД (*смеясь*). Звучит так, словно вы этому удивляетесь.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Так уж как-то получилось. Какой только глупости не скажешь иной раз.

ГАБРИЭЛА. Мы бы предпочли быть в другом месте.

ГОЛЬДШМИД. Только поймите правильно Габриэлу.

ГАБРИЭЛА. Это не в том смысле, что мы вам не благодарны, и так далее.

ГОСПОЖА ВИНТЕР (*приветливо*). Короче говоря, ничего не случилось.

ГАБРИЭЛА. Кроме трех налетов и двух звонков.

ГОЛЬДШМИД. А как ваши дела, госпожа Винтер?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Мои?

ГОЛЬДШМИД. Что-нибудь случилось?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Нет.

ГОЛЬДШМИД. Вид у вас какой-то растерянный.

ГАБРИЭЛА. У нас, наверно, тоже. Как-никак, только что был налет.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Это около Лихтерфельде.

ГАБРИЭЛА. О, это далеко отсюда.

ГОЛЬДШМИД. Для многих очень близко.

ГАБРИЭЛА. На это возразить нечего. Дойдет очередь и до нас, милый дедушка.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ну, я приготовлю ужин.

ГАБРИЭЛА. А я пока запасусь пословицами.

ГОЛЬДШМИД. Помоги лучше госпоже Винтер!

ГАБРИЭЛА. Ты знаешь, она этого не любит. Слишком близко от входной двери.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Я принесла треску.

ГАБРИЭЛА. Итак? Ну, что ты скажешь, дедушка? Мои предчувствия вернее твоих.

ГОЛЬДШМИД. Просто ты лакомка.

ГОСПОЖА ВИНТЕР (*выходя*). А вот открытка от Хиршфельдов.

ГАБРИЭЛА. Дай мне, дедушка!

ГОЛЬДШМИД (*читает*). «Наша поездка проходит успешно. Сердечно кланяемся вам, Рихард и Клара».

ГАБРИЭЛА (*смеется*). Рихард и Клара!

ГОЛЬДШМИД. Как условились.

ГАБРИЭЛА. Плюс прелестный вид на открытке. Об этом уже не договаривались. Счастье редко приходит в одиночку.

ГОЛЬДШМИД. Дай мне взглянуть.

ГАБРИЭЛА. «Вид на Зинген».

ГОЛЬДШМИД. Стало быть, они уже в Зингене.

ГАБРИЭЛА. Ты слышал о таком городе? Невероятное название. Таких городов не бывает.

ГОЛЬДШМИД. Теперь они, наверно, уже двинулись дальше.

ГАБРИЭЛА. Знать бы только наверняка! Ты знаешь, я весь день

думала: если открытка придет, то это добрый знак, мы выдержим.

ГОЛЬДШМИД. Да.

ГАБРИЭЛА. Ты тоже так думаешь, дедушка?

ГОЛЬДШМИД. Но почему госпожа Винтер не обрадовалась открытке?

ГАБРИЭЛА. Разве она не обрадовалась?

ГОЛЬДШМИД. Мне так показалось. Отдала ее нам напоследок, и ни слова не сказала.

ГАБРИЭЛА. Она, должно быть, и нам желает того же.

ГОЛЬДШМИД. Да, добрая душа.

ГАБРИЭЛА. Тем более что платить нам больше нечем.

ГОЛЬДШМИД. Ты опять, Габриэла?

ГАБРИЭЛА. Не все ли равно, обрадовалась она или нет? Важно, что мы рады. Все идет хорошо. Девушек из Витербо найдут.

ГОЛЬДШМИД. Их не нашли.

ГАБРИЭЛА. Да?

ГОЛЬДШМИД. Они так и не вернулись.

ГАБРИЭЛА (*нерешительно*). Не думаю, чтобы в катакомбах можно было заблудиться. Все это придумали, чтобы пощекотать нервы читателям иллюстрированных журналов. Нет, дедушка, конец всегда хороший — как у нас!

ГОЛЬДШМИД. Как у нас?

ГАБРИЭЛА. Счастливый день — просто первый класс!

ГОЛЬДШМИД. Во-первых, треска.

ГАБРИЭЛА. Не насмешничай!

ГОЛЬДШМИД. Потом открытка, которой почему-то не рада госпожа Винтер.

ГАБРИЭЛА. Я уже сказала — зато я рада. И я уверена, что могу спасти девушек из Витербо. Сегодня у меня есть на это право и сила.

ГОЛЬДШМИД. Используй же их, Габриэла! Стало быть, их еще ищут?

ГАБРИЭЛА. Ищут.

ГОЛЬДШМИД. И один из монахов...

ГАБРИЭЛА. Нет, все должно быть красивее.

ГОЛЬДШМИД. Красивее?

ГАБРИЭЛА. Говоря точнее — трогательнее до слез.

ГОЛЬДШМИД (*смеется*). Значит — не монахи, не пожарники, не полицейские?

ГАБРИЭЛА. Нет, профессия не может спасти.

ГОЛЬДШМИД. Любовь, не так ли?

ГАБРИЭЛА. Да.

ГОЛЬДШМИД. Любовь их отыщет.

ГАБРИЭЛА. Я так утверждаю.

ГОЛЬДШМИД. Хотя она отыскать не в силах.

ГАБРИЭЛА. То есть как?

ГОЛЬДШМИД. У нее нет ни веревок, ни фонарей, она никого не вытащит из подземелья. Она бессильна.

ГАБРИЭЛА. Это неправда. Я дам ей силу.

ГОЛЬДШМИД. Дай ей счастье.

ГАБРИЭЛА. Счастье — не случайность, как я поняла. Слушай!

4

В катакомбах.

ЛЮЧИЯ. Ты не спишь, Антония?

АНТОНИЯ. Ты тоже, Лючия?

ЛЮЧИЯ. Все думаю. А ты?

АНТОНИЯ. Не знаю. Не знаю, чем заполнить такую уйму времени. Оно пугает меня.

ЛЮЧИЯ. Меня пугают мои мысли.

АНТОНИЯ. Я даже не знаю, есть ли они у меня.

ЛЮЧИЯ. О своем отце ты думаешь?

АНТОНИЯ. Думаю.

ЛЮЧИЯ. А о матери?

АНТОНИЯ. И о матери.

ЛЮЧИЯ. А о сестрах?

АНТОНИЯ. И о сестрах тоже.

ЛЮЧИЯ. А еще о ком-нибудь?

АНТОНИЯ. Еще о ком-нибудь? *(После паузы, спокойно.)* О Петро Ботари, нашем учителе.

ЛЮЧИЯ. О!

АНТОНИЯ. Довольна?

ЛЮЧИЯ. А Ботари? Он знает об этом?

АНТОНИЯ. Откуда? Я и сама узнала, только когда ты спросила.

ЛЮЧИЯ. Я бы хотела с тобой дружить, Антония.

АНТОНИЯ. Осталось ли у нас еще время на это?

ЛЮЧИЯ. Говорить с тобой обо всем, обо всем.

АНТОНИЯ. Говори же.

ЛЮЧИЯ. Вот если о ком-нибудь думаешь больше, чем о других...

АНТОНИЯ. Да?

ЛЮЧИЯ. То это и есть любовь?

АНТОНИЯ. Откуда мне знать? Спроси Маргариту. Она знакома со всеми молодыми людьми в Витербо.

ЛЮЧИЯ. Поэтому-то мне и кажется, что она не знает.

АНТОНИЯ. А мы знаем лучше?

ЛЮЧИЯ. Не смейся. Скажи: это и есть любовь?

АНТОНИЯ. Пожалуй.

ЛЮЧИЯ (*торжествуя*). Тогда я люблю Эмилио Фостино.

АНТОНИЯ. Да?

ЛЮЧИЯ. Это не произвело на тебя впечатления.

АНТОНИЯ. Я ведь не знаю его.

ЛЮЧИЯ. Ему семнадцать лет, он работает помощником столяра, за несколько домов от нас. Я его тоже почти не знаю.

АНТОНИЯ. Возраст хороший.

ЛЮЧИЯ. Однажды у него упал комод с тележки. Прямо против нашей двери. Я так смеялась.

АНТОНИЯ. А он?

ЛЮЧИЯ. Взбесился. Это теперь так мучит меня.

АНТОНИЯ. Смехом да гневом это часто и начинается. А кто сказал, что это не может начаться с комода?

ЛЮЧИЯ. Ты думаешь?

Антония вздыхает.

Или ты совсем не слушаешь?

АНТОНИЯ (*принужденно*). Слушаю.

ЛЮЧИЯ. О чем ты думаешь?

АНТОНИЯ. Ни о чем. Я бы хотела знать, о чем думает Петро Ботари.

ЛЮЧИЯ. Он спит.

АНТОНИЯ. Ты уверена?

Изменение акустики.

БОТАРИ. Послеобеденный бильярд с господином бургомистром, в будний день, в пять часов. Удостоен визита. Как раз в это время Анжелика в гостях у Жиральди. Можно знать об этом, а можно и нет, по настроению. По улице, по пыльному солнцу проходит директор. Здоровается через стекло, сейчас войдет. Марио, кофе! Как погода? Что супруга? В сумерках бильярдного зала словно растворено почтение горожан. Сорок пять лет, учитель, жспат, детей нет. Пальцем по пошевелил, чтобы его заметили — не на земле, так на небе. Стук шаров, приглушенные голоса, шорохи паркета. Темнота... Я всегда жил в пещерах.

Партнер мелом заносит цифры на доску. Дела у него идут блестяще, цифры на доске растут и растут, вот она — нужная сумма. Достиг, чего должен был, — места во мраке. В бильярдных залах, расселинах, катакомбах, привет вам, мои пещеры, последние прибежища мои! Я тут. Призраки исчезают — стул, спички, часы; но пустот не бывает, все легко заполнит собой

темнота. Колени поджаты, голова на камне, спать бы только да спать, сплошная идиллия — достаточно, впрочем, *нескладная*, чтобы не считать зазорным мало-мальский уют.

Шары красные и белые, фигурки, бегущие по *зеленому полю*. С кем это играет сегодня господин бургомистр? Марио, *счет!* В это мгновение Анжелика уже надевает туфли. Тетрадки проверены, кофе выпит, на улице ни души. Упущен момент умереть незаметно, а главное — необременительно. Никогда не стремился выделиться, привлечь внимание, а теперь эта беда грозит мне пятнадцатикратно. Вот она наступает на меня — в их вздохах, вскриках, столах, бормотаньях во сне. Достиг, чего должен был, — места среди виновных. Пятнадцатикратно виновен, и ни одна вина не исчезнет, ни одной пустоты, которую сотрет темнота.

Игрок в бильярд, с обыкновенными заслугами, и вот вдруг отмечен — за что? Ну, жил, как удобнее, но разве не все так? Нес на себе грех равнодушия и уныния, но кто его мог заметить? Разве что Анжелика. Она одна видит достоинства только в других, во мне — одни недостатки. Особенно я проигрываю в сравнении с Жиральди, с коллегой Жиральди. Он организует теперь спасательную экспедицию, он прекрасный организатор, этот болван, и ему даже удастся не найти нас. Официант открыл дверь. Сквозит — это твое дыхание, господи, я чувствую, как оно уносит меня. Добрый вечер, господин Ботари. Я замечен, это уже приговор. Понимаю, согласен, возражений нет. Но виноват я один, а не эти пятнадцать.

Поставить стулья на стол да выключить свет — не так это просто, господин бургомистр. Или как вы считаете?

В катакомбах.

ЛЮЧИЯ. Ложись поближе, Антония.

АНТОНИЯ. Ботари говорит во сне.

ЛЮЧИЯ. Обними меня.

АНТОНИЯ. Так лучше?

ЛЮЧИЯ. Да. Не так страшно. Помнишь, что патер говорил о здешней пыли?

АНТОНИЯ. Помню.

ЛЮЧИЯ. В которую перемололись старые кости...

АНТОНИЯ. Ну и что?

ЛЮЧИЯ. Тебя это пугает?

АНТОНИЯ. Обычная экскурсия, а никакое не пророчество.

ЛЮЧИЯ. А может быть, то и другое? Перемешано, как кости с пылью. Ах, Антония, трава мне была бы милее.

АНТОНИЯ. Трава? Нет, на лужок меня не тянет. Такая пыль мне как раз по сердцу.

ЛЮЧИЯ. Тебе хорошо!

АНТОНИЯ. Разве мне лучше, чем другим?

ЛЮЧИЯ. Он рядом с тобой.

АНТОНИЯ. И все-таки дальше, чем Витербо. Расстояния трудно измерить, ты не находишь? Твоей Эмилио, например...

ЛЮЧИЯ. Да?

АНТОНИЯ. Гораздо ближе; его отдаленность — лишь случай. Она — вплотную к счастью.

ЛЮЧИЯ. А близость Ботари?

АНТОНИЯ (*задумчиво*). Эта физика с какими-то другими законами.

ЛЮЧИЯ. Теоретическая, катакомбная?

АНТОНИЯ (*не обращая внимания*). Целые главы закрываются — теплота, оптика — бог мой! Зато магнетизм, формулы меланхолии...

ЛЮЧИЯ. Для них я предложила бы несколько значков, подавленных вздохов и фразу «Когда я снова буду в Витербо!»

АНТОНИЯ. Трудно вставить. Да и с каким знаком?

ЛЮЧИЯ (*внезапно*). Антония, я извещу Эмилио.

АНТОНИЯ. Конечно, Лючия. У входа висит почтовый ящик.

ЛЮЧИЯ. Он не годится в нашу науку! Ты ведь сама говорила: тут законы другие. Эмилио! Что, если я изо всех сил буду думать о нем?

АНТОНИЯ. Какую кашу я заварила!

ЛЮЧИЯ. Он почувствует?

АНТОНИЯ. Конечно. Ты укажешь ему путь.

ЛЮЧИЯ. А почему бы и нет?

АНТОНИЯ. Трижды налево, трижды направо. Как вязанье на спицах.

ЛЮЧИЯ. И к нам! Стоит испробовать эту прикладную физику.

АНТОНИЯ. Попытайся.

ЛЮЧИЯ. От меня к нему и от него ко мне мысли пойдут как по проводам.

АНТОНИЯ. Ты смешишь меня, Лючия!

ЛЮЧИЯ. И он пойдет по этому проводу.

АНТОНИЯ. Это если он знаком с этой наукой. А если нет?

ЛЮЧИЯ. Изучит ее за несколько минут!

АНТОНИЯ. Я бы хотела, чтоб ты оказалась права. Думай об Эмилио.

(*Со вздохом.*) А я тем временем буду думать о Ботари.

ЛЮЧИЯ. Глупости, я знаю.

АНТОНИЯ. Все равно — в нашем положении. Оно и так достаточно смешное.

ЛЮЧИЯ. Я бы не сказала.

АНТОНИЯ. Наверху тоже этого бы не сказали. Но что остается нам?

Милая Лючия, ты даже не представляешь, какой дурачки смешной я себе кажусь. Сходишь с ума по Ботари! Если Ботари всего лишь имя, которым я называю совсем другого.

ЛЮЧИЯ. Другого?

АНТОНИЯ. Импересно? И даже не знаю, есть ли он, этот другой.

Но госпожа Ботари есгь, это точно.

ЛЮЧИЯ. Говорят, госпожа Ботари...

АНТОНИЯ. Чего только не говорят.

Комната в доме Ботари.

АНЖЕЛИКА. Все ли мы делаем, что могли бы?

ЖИРАЛЬДИ. Ты ведь была в Риме, все сама видела. Пожарники, полицейские, следопыты, поисковые группы. Организовано как нельзя лучше.

АНЖЕЛИКА. Я имею в виду нас. Все ли мы делаем?

ЖИРАЛЬДИ. Что мы можем сделать, Анжелика? Мы слишком беспомощны. В таких случаях должна действовать общественность. У государства есть свои обязанности перед гражданами.

АНЖЕЛИКА. Я говорю о нас.

ЖИРАЛЬДИ. Нам остается запастись терпением, Анжелика.

АНЖЕЛИКА. Короче говоря...

ЖИРАЛЬДИ. Прошло уже пять дней. Надо принимать вещи такими, как они есть. В ход пущены новейшие средства, заняты сотни людей. Ты ведь видела их, этих людей в шлемах, их серьезные лица под шлемами, они полны решимости сделать все, что в их силах, они знают, о чем идет речь. Разве тебе не показалось, что на них можно положиться?

АНЖЕЛИКА. Ты не упомянул еще о солнце, которое отражается на их шлемах,— для полноты картины. На организацию поисков, распределение групп можно положиться. А на нас, Лоренцо?

ЖИРАЛЬДИ. Дай же мне сказать до конца: даже такие усилия не увенчались успехом. В катакомбах слишком много разветвлений, никто не знает толком их план, а кроме того, им нечего есть.

АНЖЕЛИКА. Этим ты меня хочешь утешить?

ЖИРАЛЬДИ. Нет, конечно. Я только хотел сказать, что сами мы могли добиться еще меньшего, вообще ничего. Будь мы хоть в Риме. Поехали бы туда...

АНЖЕЛИКА. И сделали бы вид, что что-то делаем.

ЖИРАЛЬДИ. Остается только ждать.

АНЖЕЛИКА. Чего?

ЖИРАЛЬДИ. Чего?

АНЖЕЛИКА. Принимать вещи такими, как они есть, как ты сказал! А какие они? Солнце сверкает еще на шлемах? А что выражают сосредоточенные лица?

ЖИРАЛЬДИ. Ты полагаешь, наши отношения...

АНЖЕЛИКА. Стали притчей во языцех всего Витербо. Только и слышишь — Жиральди и госпожа Ботари да госпожа Ботари и Жиральди...

ЖИРАЛЬДИ. Это не убавляет моего счастья.

АНЖЕЛИКА. Вот тебе вещи, как они есть, без глянца,— изволь. Сплошь полинялые краски.

ЖИРАЛЬДИ. Уже?

АНЖЕЛИКА. И тебе никто не мешает приходиться ко мне когда угодно. Непредвиденное счастье. Муж удалился, положим, на неопределенное время. Может быть, навсегда. Лоренцо, чего ж нам еще нужно?

ЖИРАЛЬДИ (*неуверенно*). В самом деле.

АНЖЕЛИКА (*хрипло*). Без конца твержу себе одно и то же: еще несколько дней, еще несколько дней, и ты свободна — внутренне, понимаешь? Скажи, чего ты ждешь, Лоренцо?

ЖИРАЛЬДИ. Тебя.

АНЖЕЛИКА. Разумно, не так ли? Вещи, как они есть. Поворот судьбы (*тише*), предусмотренный богом.

ЖИРАЛЬДИ. Его мысли нам неизвестны. Но насколько мы можем догадываться...

АНЖЕЛИКА. Они утешительны.

ЖИРАЛЬДИ. Так что лучше нам не думать об этом.

АНЖЕЛИКА. Но что же делать?

ЖИРАЛЬДИ. Забыть. Предаться друг другу.

АНЖЕЛИКА. И все?

ЖИРАЛЬДИ. Пройти мимо, дальше.

АНЖЕЛИКА. Но куда?

ЖИРАЛЬДИ. Сюда, куда же еще. Торопиться ловить время нашей любви. Эти волосы, брови, близость, объятия — разве все это, по-своему, не конец мира?

АНЖЕЛИКА. Конец, Лоренцо.

ЖИРАЛЬДИ. Что ты хочешь сказать?

АНЖЕЛИКА. А теперь — уходи!

ЖИРАЛЬДИ. Не понимаю.

АНЖЕЛИКА. Я хочу остаться одна.

ЖИРАЛЬДИ. Ты упрекаешь меня?

АНЖЕЛИКА. Себя. Я должна была остаться в Риме по крайней мере. Но я препоручила свои заботы пожарным и полицейским. Слезы мои были лицемерием, ожидание у катакомб — тягостью для меня. Сейчас у меня такое чувство,

словно я со всего маху с головой провалилась в грязь, так что пошли пузыри — это все, что от меня осталось.

ЖИРАЛЬДИ. Ты обижаешь меня, Анжелика.

АНЖЕЛИКА. Обижаю? И только?

Звонок в дверь.

ЖИРАЛЬДИ. Еще только минуту!

АНЖЕЛИКА. Ни минуты! *(Выходит в прихожую, открывает дверь.)*

ЭМИЛИО. Я хотел бы говорить с вами, синьора.

АНЖЕЛИКА. Какие-нибудь новости?

ЭМИЛИО. Нет. Никаких.

АНЖЕЛИКА. А что же? Кто вы?

ЭМИЛИО. Меня зовут Эмилио Фостино, я из мастерской Ругьеро.

АНЖЕЛИКА. Не помню.

ЭМИЛИО. Да это и не относится к делу.

АНЖЕЛИКА. А в чем, собственно...

ЭМИЛИО. Я просто подумал, что, если дверь откроет госпожа Ботари, я ей все скажу, и она поймет.

АНЖЕЛИКА. Что же вам нужно?

ЭМИЛИО. Тысяча лир. *(После паузы.)* Я хотел попросить у вас тысячу лир взаймы, чтобы съездить в Рим.

АНЖЕЛИКА. Там кто-нибудь из вашей семьи?

ЭМИЛИО. Нет. Я только немного знаю одну девушку. Простите, теперь и мне это кажется глупо.

АНЖЕЛИКА. После того как открылась дверь и вы увидели меня?

ЭМИЛИО. Нет-нет! Что вы!

АНЖЕЛИКА. Подождите. *(Убегает в комнату.)*

ЭМИЛИО *(ей вслед)*. Просто вы как-то так посмотрели на меня..

Я вам все верну, синьора! Можете не сомневаться...

АНЖЕЛИКА *(возвращаясь)*. Я тоже поеду.

ЭМИЛИО *(радостно)*. Можете не сомневаться — мы их найдем!

Дверь захлопывается. На улице.

Когда я проснулся сегодня ночью, то вдруг все и понял, сегодня ночью, внезапно, сидел на кровати, и вдруг меня осенило! *(Его голос удаляется.)* Я вдруг понял, нельзя это дело предоставлять одним пожарникам да полицейским!

В катакомбах.

ЛЕНА. Сколько уже? Как вы думаете?

БИАНКА. Пять дней.

МАРИЯ. Шесть.

ЛЮЧИЯ. Или четыре.

БОТАРИ. Когда день не отличить от ночи, легко запутаться.

ЛЕНА. Запутаться вообще легко. (*Тише.*) Особенно учителям.

БОТАРИ. Теряется чувство времени. Мне вот кажется, что мы здесь всего три дня.

МАРИЯ. Раз легко запутаться, то, может быть, уже и восемь.

ЛЕНА. Был бы хоть свет!

АНТОНИЯ. Все равно время мы бы не узнали.

ЛЕНА. Зато сыграли бы в карты.

АНТОНИЯ. Если б они были.

ЛЮЧИЯ. Если бы... На каждом шагу это если бы. Кто-нибудь еще может обойтись без него?

ЛЕНА. Сколько можно прожить без еды? Без еслн бы?

БИАНКА. Мировой рекорд равняется сорока пяти дням.

МАРИЯ. Тогда у нас еще есть время.

БОТАРИ. Кончайте молоть эту чушь!

ЛЕНА. К сожалению, ни о чем другом я не могу думать. Красные помидоры, спагетти, сыр... Вообще я не очень-то любила сыр.

БИАНКА. Кофе с пирожными.

АНТОНИЯ. Не важно, сколько мы уже здесь, нас все равно освободят. И каждый день приближает освобождение.

МАРИЯ. Я в это уже не верю.

ЛЮЧИЯ. Кто это сказал?

МАРИЯ. Я, Мария. И могу повторить: я в это не верю.

ДРУГИЕ. Я тоже не верю. Я тоже.

АНТОНИЯ. А я верю.

ЛЮЧИЯ. Я тоже.

ЛЕНА. Только двое?

ЛЮЧИЯ. Почему вы молчите, господин Ботари?

БОТАРИ. Потому что я прислушиваюсь, а вы мне мешаете вашей дурацкой болтовней.

АНТОНИЯ. К чему вы прислушиваетесь?

ЛЕНА. Вы все время что-то слышите, господин Ботари.

БИАНКА. Господин Ботари ведь сказал: когда день не отличишь от ночи, легко запутаться.

Хихиканье.

БОТАРИ. Тихо!

Тишина.

Мне показалось, что меня зовет жена.

Лена смеется.

АНТОНИЯ. Что ты смеешься, Лена? Дура!

ЛЕНА. Сама дура! Зазнайка!

ЛЮЧИЯ. Мне показалось, что кричал Эмплю.

БИАНКА. Кто это — Эмилио?

МАРИЯ. Эмилио!

Смех.

ЛЕНА. Каждому свое.

МАРИЯ (*насмешливо*). Давайте тоже слушать! Может быть, мы все вместе...

БОТАРИ. Тихо!

Вдали слышны слабые крики.

Слышите?

ЛЕНА. Я ничего не слышу. Как бы мне ни хотелось!

БИАНКА. Ничего.

ЛЮЧИЯ. А я слышу!

Всеобщее беспокойство.

БОТАРИ (*кричит*). Эй, кто здесь? (*Громче.*) Кто здесь?

АНЖЕЛИКА (*издалека*). Мы идем.

ЭМИЛИО (*чуть ближе*). Мы идем.

Девушки отчаянно кричат.

ЛЮЧИЯ. Эмилио!

БИАНКА. Кто это — Эмилио?

ЛЕНА. Дай бог, чтобы они захватили с собой еду!

МАРИЯ. Монахи?

Смех.

ЛЕНА. Они нас нашли!

АНТОНИЯ. Они нас нашли!

ЭМИЛИО (*приближаясь*). Мы идем... Мы идем...

Тишина.

5

ГОЛЬДШМИД. Спасены.

ГАБРИЭЛА. Да.

ГОЛЬДШМИД. Приятно слышать.

ГАБРИЭЛА. Что ты хочешь сказать, дедушка?

ГОЛЬДШМИД. А кто их спас?

ГАБРИЭЛА. Ну, разве не ясно?

ГОЛЬДШМИД. Эмилио, Эмилио Фостино.

ГАБРИЭЛА (*смущенно*). Так я его назвала.

ГОЛЬДШМИД. Мило придумано, очень. Имя, и что он подмастерье, вся эта история с комодом, тысяча лир...

ГАБРИЭЛА. Но? Что ты хочешь сказать? Ты спрашиваешь, кто их спас.

ГОЛЬДШМИД. Не Эмилио, а ты, Габриэла.

ГАБРИЭЛА (*неуверенно*). Потому что я выдумала всю эту историю.

ГОЛЬДШМИД. Да, выдумала. И неплохо. Так что трюк почти незаметен. Раз, два, три — кролик вылезает из шляпы. Три, два, раз — исчезает в манжетах. Или в жилете.

ГАБРИЭЛА. Кролик? Но у меня речь шла не о кроликах.

ГОЛЬДШМИД. Все равно чудеса. Но разве рассказывают о фокусниках? Это слишком легко.

ГАБРИЭЛА. Это было непросто.

ГОЛЬДШМИД. Непросто, поэтому и легко. Нет, в таком виде история неправдива.

ГАБРИЭЛА. Я оставляю ее такой, как она есть.

ГОЛЬДШМИД. А я думаю, тебе бы нужно начать ее снова.

ГАБРИЭЛА. Но кто может меня заставить?

Входит госпожа Винтер.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Вот, еда готова.

Слышно, как накрывают на стол.

ГАБРИЭЛА. Рыба!

ГОСПОЖА ВИНТЕР. С картофелем и петрушкой.

ГОЛЬДШМИД. Особенный день.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Нет, пусть лучше будет, как все.

ГОЛЬДШМИД. Я имею в виду треску.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Даже если и это...

ГАБРИЭЛА. На сей раз ты попался, дедушка.

ГОЛЬДШМИД. Признаю и раскаиваюсь.

ГАБРИЭЛА. К тому же неважно выкручиваешься. Сегодня ты не в ударе.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Опять — сегодня.

ГАБРИЭЛА. А теперь я. Чтобы уравнять счет. День как день. Приятного аппетита!

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Если б он у меня был.

ГОЛЬДШМИД. У вас тоже нет?

ГАБРИЭЛА. Зато у меня — превосходный.

Стук ножей и вилок.

Как сегодня шли дела в конторе?

ГОЛЬДШМИД. Дай госпоже Винтер поесть!

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Два часа вела стенограмму. Отправила семнадцать писем. Ничего особенного.

ГАБРИЭЛА. Ваш стол у окна, и иногда вы выглядываете наружу, верно?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Иногда, машинально. Смотреть особенно нечего, коричневые униформы, серые, синие, черные — все одно и то же.

ГОЛЬДШМИД. Машины, плащи — нет, правда, окна того не стоят. В некоторых странах их обкладывают налогом. Соус, между прочим, замечательный. Вот стоящая тема для разговора.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Благодарю. Это рецепт моей матушки.

ГАБРИЭЛА. Надо будет записать его себе. Боюсь, я никогда не научусь готовить.

ГОСПОЖА ВИНТЕР (*поспешно*). Да это и совсем не обязательно. Есть ведь рестораны, кухарки, консервы наконец.

ГАБРИЭЛА. Госпожа Винтер, на вашей улице растут деревья?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да, платаны, кажется.

ГАБРИЭЛА. А сейчас ведь осень, да?

ГОЛЬДШМИД. Пятое или шестое октября. Не задавай глупых вопросов, Габриэла.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Седьмое.

ГАБРИЭЛА. Осень...

ГОЛЬДШМИД. Ну, ясное дело, осень.

ГАБРИЭЛА. Что делается с платанами осенью?

ГОЛЬДШМИД. У них желтеют листья. А что делается с тобой, Габриэла? Можно подумать...

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да, листья совсем желтые. Это так красноразлично.

ГАБРИЭЛА. Правда? В самом деле желтые?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Уверю тебя.

ГАБРИЭЛА. Вы меня вдохновляете.

ГОЛЬДШМИД. Что это значит, Габриэла?

ГАБРИЭЛА. Листья желтые, а что потом?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Потом они падают.

ГАБРИЭЛА. Падают?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Сейчас еще нет. Или немного. Но скоро они опадут.

ГАБРИЭЛА. Это вы говорите мне в утешение?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Что же здесь утешительного?

ГАБРИЭЛА. В этом можно не сомневаться — листья непременно пожелтеют и опадут? Так бывает каждый год?

ГОЛЬДШМИД. Надо думать.

ГАБРИЭЛА. Слава богу!

ГОСПОЖА ВИНТЕР. А ты в этом сомневалась?

ГАБРИЭЛА. Я уже перепутала, на самом ли деле все так или я себе все придумала. Я сомневаюсь теперь очень во многих вещах, но как-то все боязно спрашивать. Вот бомбы и тюрьмы действительно существуют. Но деревья? Или эти зверьки, что почти слепыми живут в земле и называются кротами? Или страна с названием Швейцария? Иногда мне кажется, что все это создала моя фантазия.

Госпожа Винтер кладет вилку на тарелку.

Что с вами, госпожа Винтер?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Я наелась.

ГАБРИЭЛА. Мне всегда больше всех достается!

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Между прочим, кролики действительно существуют, и Швейцария тоже.

ГАБРИЭЛА. Расскажите что-нибудь, а?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ничего веселого я не припомню.

ГАБРИЭЛА. Ничего, я уже привыкла.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Когда вдруг началась тревога, я уже возвращалась домой и забежала в убежище в зоопарке. Темнота там жуткая. Нет, правда, что тут рассказывать.

ГАБРИЭЛА. А открытка, госпожа Винтер? С видом на Зинген?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да, я ее видела.

ГАБРИЭЛА. Мы так рады, что Хиршфельдам это удалось.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ну, ты кончила есть, Габриэла?

ГАБРИЭЛА. Да. А вы, госпожа Винтер?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ну, так я уберу.

ГАБРИЭЛА. Вы разве не рады?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Нет.

Молчание.

Я говорила с людьми, которые видели Хиршфельдов.

ГАБРИЭЛА. В Зингене?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. В Берлине.

ГАБРИЭЛА. В Берлине?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. В тюрьме Моабит.

ГАБРИЭЛА. А открытка?

ГОЛЬДШМИД. Ничего не значит? Они не перешли границу?

Молчание.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Тихо!

ГАБРИЭЛА. Шаги, ничего особенного. Это мимо.

Госпожа Винтер вздыхает.

ГОЛЬДШМИД. Мне снилось сегодня, что я тоже готовлюсь к переезду.

ГАБРИЭЛА. Ты был учителем из Витербо. И вас нашли.

ГОЛЬДШМИД. Нас нашли, и я закричал во сне. Хотя нас нашли.

Или потому что нас нашли? Габриэла...

ГАБРИЭЛА. Что?

ГОЛЬДШМИД. Я вспомнил.

ГАБРИЭЛА. Что ты вспомнил?

ГОЛЬДШМИД. Нас спросили, где мы пропадали. И я назвал наш адрес.

ГАБРИЭЛА. Наш адрес?

ГОЛЬДШМИД. Как-то вырвалось. Но тут же я спохватился и закричал от отчаяния, что выдал...

ГАБРИЭЛА. Наш адрес.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Я сегодня весь день ни о чем другом не могу думать.

ГАБРИЭЛА. Ну вот, теперь и вы о том же, госпожа Винтер. День совершенно особенный: сны, треска, открытка из Зингена, наш адрес. Чего еще не хватает?

ГОЛЬДШМИД. Может быть, это ошибка, и это не Хиршфельды.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Возможно.

ГОЛЬДШМИД. И, может быть, речь шла совсем не об адресе.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да-да, возможно.

ГОЛЬДШМИД. А если и об адресе, то был назван, быть может, совсем другой.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да.

ГАБРИЭЛА. Сколько «может быть» да «возможно»! *(После паузы.)*

Хотя вы в них совсем не верите.

ГОЛЬДШМИД. Нам нужно уходить.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Куда?

ГАБРИЭЛА. Хотя бы в леса.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. А где они, твои леса?

ГОЛЬДШМИД. Паспортов у нас нет, нет и денег, чтобы их купить.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Паспорт — еще не спасение, как вы могли убедиться.

ГАБРИЭЛА. Вы думали целый день, госпожа Винтер, весь этот необычный день.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Перепрятаться бы на некоторое время. Пока не минует опасность.

ГОЛЬДШМИД. Уйти, хотя нас не заметили?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Оставаться слишком опасно. Для меня тоже, я думаю.

ГАБРИЭЛА. Прощай, треска, бесплатный ужин, картинки из иллюстрированного журнала.

ГОЛЬДШМИД. Ты дерзишь, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Это оттого, милый дедушка, что госпожа Винтер слишком избаловала нас своим уютом.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Уют скоро кончится.

ГАБРИЭЛА. Вот видишь!

ГОЛЬДШМИД. Но куда нам перепрятаться? Мы никого не знаем.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Я пока тоже никого не знаю.

ГАБРИЭЛА. Пока — сказала госпожа Винтер. Я всегда считала ее нашим ангелом.

ГОСПОЖА ВИНТЕР (*несколько растерянно*). Для меня речь идет хотя бы о том, чтобы спать, чтобы спокойно спать, не вздрагивая по ночам. Потом я не знаю, удастся ли мне что-нибудь найти. В восемь часов... Сейчас сколько?

ГОЛЬДШМИД. Половина восьмого.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ну, я пойду. В восемь госпожа Кальморген должна быть дома.

ГАБРИЭЛА. Значит, ее зовут Кальморген.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Между десятью и одиннадцатью я вернусь.

ГОЛЬДШМИД. И посмотрите, здесь ли мы еще.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Я не думаю, что можно до полуночи...

ГОЛЬДШМИД. Как знать.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Ведите себя, как всегда, не шумите, но будьте готовы. Вещей никаких, только пальто и, может быть, сумку.

ГОЛЬДШМИД. Сейчас светло ночью?

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Достаточно темно.

ГАБРИЭЛА. Великолепно. Прогулка при луне.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Тут минут двадцать ходьбы.

ГАБРИЭЛА. Так мало.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Да и это еще дело неверное. Может, госпожа Кальморген откажется. А больше мне никто не приходит в голову. Подумайте, что бы нам тогда предпринять. Я тоже подумаю, пока буду идти туда.

ГОЛЬДШМИД. И на обратном пути, может быть, тоже.

ГАБРИЭЛА. Кальморген... Звучит неплохо, я бы сказала, даже обнадеживающе.

ГОСПОЖА ВИНТЕР. Помою пока посуду. За мытьем мне в голову приходят лучшие мысли. Нет-нет, я сама, Габриэла.

Выходит.

ГАБРИЭЛА. Подумайте, она сказала. Я предпочла бы мыть посуду и нахваливать день. Он так хорошо начался.

ГОЛЬДШМИД. Он хорошо начался?

ГАБРИЭЛА. Мне так показалось утром. Один из таких дней, на встречу которым торопишься, от которых чего-то ждешь.

ГОЛЬДШМИД. Что ж, ждать осталось недолго.
ГАБРИЭЛА. Жаль, что это именно сегодня.
ГОЛЬДШМИД. Но меня не оставляет надежда.
ГАБРИЭЛА. Может, тогда сразу уйдем? Потихоньку откроем дверь, башмаки в руки и сиганем от посуды да от журналов?
ГОЛЬДШМИД. Куда?
ГАБРИЭЛА. О лесах ты не хочешь и слышать. Может быть, к морю?
ГОЛЬДШМИД. Его нам только недоставало.
ГАБРИЭЛА. Тогда ты сам предложи.
ГОЛЬДШМИД. Может быть — в нашу историю?
ГАБРИЭЛА. Тебя не оторвешь от иллюстрированных журналов, дедушка! Единственное, что ты кроме них признаешь, — это играть в уголки да петь дуэтом.
ГОЛЬДШМИД. Нет, меня сейчас интересуют не уголки и не иллюстрированные журналы — но сама история!
ГАБРИЭЛА. Рассказывать друг другу истории! Час назад это было бы еще понятно, но теперь?
ГОЛЬДШМИД. (*нерешительно*). По-моему, именно теперь.
ГАБРИЭЛА. Девушек нашли. Что же дальше?
ГОЛЬДШМИД. Мы уже говорили о твоей ошибке.
ГАБРИЭЛА. Стало быть, их не нашли. Тоже неплохо.
ГОЛЬДШМИД. Я не знаю, нашли их или нет.
ГАБРИЭЛА. Я тоже не знаю. Может быть, госпожа Кальморген знает?
ГОЛЬДШМИД. Начнем сначала. Уравнение еще не решено.
ГАБРИЭЛА. Стараемся, стараемся, а в ответе — нуль!
ГОЛЬДШМИД. Попробуй еще раз!
ГАБРИЭЛА. Нет, теперь ты. Ведь мы одного возраста.
ГОЛЬДШМИД. Но зрение у тебя лучше. Я за лесом уже не вижу деревьев.
ГАБРИЭЛА. Лес нам враждебен и деревья тоже, лес детства — полный ужасов, с разбойниками в придорожных кустах. История ждет меня, чего-то хочет от меня.
ГОЛЬДШМИД. Может быть, нам удастся разгадать этот лес. Может быть, в глубине его скрыт малинник?
ГАБРИЭЛА. Только терновник, дедушка. Но идем, если хочешь. Я поведу тебя моей старой, дряхлой рукой.

6

ЛЕНА. Может, нам лучше разделиться, господин Ботари?
БОТАРИ. Я думаю, лучше от этого не станет.
БИАНКА. Хуже тоже некуда.
ЛЕНА. Может, тогда хоть кого-нибудь бы нашли.

БОТАРИ. И наоборот, может, тогда бы кого-нибудь не нашли.

МАРИЯ. У меня такое чувство, что мы здесь уже целую вечность.

АНТОНИЯ. Ты забыла, что мы уже пять раз меняли место.

БОТАРИ. Действительно. А какое все-таки лучше?

ЛЕНА. Было бы это хорошим, нас давно бы нашли.

БОТАРИ. Может, они как раз идут сюда. А если мы перейдем, нас не найдут.

ЛЕНА. Или наоборот.

БОТАРИ. Все может быть.

БИАНКА. Предоставь решать господину Ботари, Лена.

ЛЕНА. Ничего он не решает, мы просто сидим здесь, и все. Нельзя ли хоть кричать время от времени? (*Кричит.*) Эй! Эгей!

БОТАРИ. Перестань — горло пересохнет.

ЛЮЧИЯ. И пить еще больше захочется.

БИАНКА. Предоставь и это господину Ботари, Лена!

ЛЕНА. Тогда мы никуда не выйдем и помрем здесь от голода.

БОТАРИ. У нас хватит сил продержаться, пока нас найдут.

ЛЕНА (*насмешливо*). Пока нас найдут. Но мне хочется, чтобы это произошло поскорее. Я ухожу. Кто со мной?

МАРИЯ. Как будто мы здесь в прятки играем!

БИАНКА. Скоро нам не останется ничего другого.

ЛЮЧИЯ. Я останусь здесь.

АНТОНИЯ. Я тоже.

БОЛЬШИНСТВО. Я ухожу.

— Ухожу.

— Я не могу здесь больше.

— Мы все уходим!

БИАНКА. Пусть решит господин Ботари!

МАРИЯ. Что вы скажете, господин Ботари?

Все смолкают.

БОТАРИ. Я уже сказал, по-моему, разумнее остаться здесь.

ЛЕНА. Но ведь вы не лучше нас знаете, что тут разумнее.

БИАНКА. Оставайся, Лена!

ЛЕНА. Нет, мы уходим. Беритесь за руки. (*Удаляясь.*) Осторожно, справа выступ. Нагибайтесь, здесь ход ниже.

БИАНКА. Лена!

МАРИЯ. Оставь их, Бианка.

БИАНКА. А вдруг мы вернемся домой, а их с нами не будет! Господин Ботари, это ужасно.

АНТОНИЯ. Вдруг мы вернемся...

БИАНКА. Вы еще слышите их?

МАРИЯ. Я уже ничего не слышу.

БОТАРИ. Кто ушел с Леной?

МАРИЯ. Маргарита, Клара, Анна...

БИАНКА. Эльвира.

МАРИЯ. Еще четверо.

БИАНКА. Вы не должны были им разрешать, господин Ботари.

БОТАРИ. Ты думаешь?

АНТОНИЯ. Однако господин Ботари разрешил.

БИАНКА. Да. Я этого не понимаю.

АНТОНИЯ. А я понимаю.

БОТАРИ. Помолчи, Антония!

БИАНКА. Что это значит?

МАРИЯ. Да, что это значит?

ЛЮЧИЯ (*медленно*). Что ты сказала, Антония?

АНТОНИЯ. Ничего, ничего, Лючия, прости.

ЛЮЧИЯ (*так же медленно*). Ты хотела сказать, господин Ботари позволил, потому что это уже не имеет значения, позволяет он или нет. Потому что это безразлично, где мы, здесь или в другом месте.

МАРИЯ. Что ты говоришь, Лючия?

ЛЮЧИЯ. Потому что мы все равно обречены.

МАРИЯ. Обречены!

БИАНКА. Ты думаешь, господин Ботари отчаялся?

МАРИЯ. Господин Ботари, скажите же что-нибудь!

БОТАРИ. Я не отчаялся.

БИАНКА. А если нет, разве вы их тогда отпустили?

Молчание.

МАРИЯ. Вы что-нибудь сказали, господин Ботари?

БОТАРИ. Я ничего не сказал.

БИАНКА. Ничего?

Молчание.

А мне всего семнадцать лет! Ведь как это глупо, почти смешно...

БОТАРИ. Что?

БИАНКА. Что я могу просто умереть здесь с голоду. Из-за экскурсии в Рим, накануне каникул...

МАРИЯ. Скажите же наконец что-нибудь, господин Ботари.

БОТАРИ. Мне надоела ваша болтовня. Сил больше нет каждые пять минут говорить об одном и том же: мы не умрем с голоду, нас найдут.

БИАНКА. Вы уже не верите в то, что говорите, господин Ботари.

МАРИЯ. Даже по голосу чувствуется!

БОТАРИ. И то хорошо, может быть, перестанете спрашивать одно и то же. От постоянных повторений мой ответ не станет убе-

дительнее. Поэтому любые повторения не имеют смысла.

Это все, что я могу сказать.

МАРИЯ. Значит, вы все-таки верите...

БОТАРИ (*с отчаянием*). Да, да, да...

БИАНКА. Хотя знаете так же мало, как мы.

БОТАРИ. Ничего другого я и не утверждал.

БИАНКА. Вы так же беспомощны.

БОТАРИ. И так же надеюсь.

МАРИЯ. Если б я знала это с самого начала, я бы никогда не пошла с вами. Но ведь мы вам верили...

БИАНКА. Это вы виноваты, господин Ботари, что мы заблудились.

БОТАРИ. Значит, все-таки я.

ЛЮЧИЯ. Господин Ботари не виноват.

АНТОНИЯ. Замолчи, Лючия!

ЛЮЧИЯ. Я виновата. Я шла первой. И нарочно свернула не туда.

БИАНКА. Что, что?

ЛЮЧИЯ. Хотела пошутить, вот и все.

БИАНКА. Ты?

ЛЮЧИЯ. Да, я.

МАРИЯ. Не понимаю. То есть это мы из-за тебя здесь, Лючия?

Из-за того, что тебе захотелось пошутить?

ЛЮЧИЯ. Да.

Молчание.

МАРИЯ. Я убью тебя за это. Слышишь?

БОТАРИ. Не говори глупости, Мария!

МАРИЯ. Тут у меня хороший камень, тяжелый. Где ты?

Антония смеется.

(Вне себя.) Все берите камни!

БОТАРИ. Держите ее!

ЛЮЧИЯ. Не трогайте ее. Можешь убить меня, Мария.

АНТОНИЯ. Глупо. Мы все равно все умрем.

Тишина.

БИАНКА. Кто это сказал?

АНТОНИЯ. Я, Антония.

БИАНКА. По крайней мере сказано ясно. Не то что господин Ботари...

ЛЮЧИЯ (*с отчаянием*). Ведь вы никогда не смиритесь с тем, что я просто завернула к смерти!

МАРИЯ. Некто Лючия Торини, девочка из моего класса, с которой у меня не было ничего общего, на которую я даже не обраща-

ла внимания. Не какая-нибудь там судьба, а просто Лючия..

Пока я живу, я не устану повторять, что ты виновата.

АНТОНИЯ. Такое усердие граничит с глупостью, Мария.

ЛЮЧИЯ. Оставь ее, пусть...

МАРИЯ. По крайней мере так я хотя бы буду знать, зачем я еще живу,— чтобы повторять — ты виновата, ты виновата, Лючия! Лючия Торини, третья парта в среднем ряду...

ЛЮЧИЯ. Прости меня!

БИАНКА. Пустая болтовня! Я иду за Леной и остальными, мне все равно, кто виноват.

АНТОНИЯ. Бианка, останься!

БИАНКА. И пусть мне пришлось бы ползти на четвереньках, я не могу здесь больше оставаться, я хочу на воздух, хочу в Витербо. Хочу пить. *(Кричит.)* Лена, Лена!

АНТОНИЯ. Они уже слишком далеко и тебя не услышат.

МАРИЯ *(спокойно)*. Ты права, Бианка, нужно идти. Пусть нам придется умереть, но хоть не с теми, кто в этом виноват. Пошли! Все пошли!

ЛЮЧИЯ. Простите меня!

БИАНКА. Что это изменит? Я прощаю.

ЛЮЧИЯ. Прости и ты меня, Мария.

МАРИЯ. Я всегда буду говорить, что ты виновата. Пока смогу говорить. *(Кричит.)* Лена, где ты? Бианка, Софья!

Слышны удаляющиеся — спотыкающиеся и осторожные шаги. Крики постепенно смолкают.

БОТАРИ. Кто-нибудь остался?

АНТОНИЯ. Я, Антония.

ЛЮЧИЯ. И я, Лючия.

БОТАРИ. Больше никого?

Молчание.

ЛЮЧИЯ. Больше никого.

БОТАРИ. Что ж, трое так трое. Все в порядке.

ЛЮЧИЯ. Все в порядке?

БОТАРИ. Когда считаешь, как-то спокойнее. Но, может, вы тоже пойдете с ними?

АНТОНИЯ. Нет.

ЛЮЧИЯ. Нет.

БОТАРИ. Мне это не нравится.

АНТОНИЯ. Почему?

БОТАРИ. У меня уже никаких шансов в жизни. Но у вас?

АНТОНИЯ. Мы ведь не можем знать, где нас найдут. Так что лучше остаться. Принцип простой.

ЛЮЧИЯ. Экономия сил. Скажи ему, Антония. Господин Ботари, кажется, забыл свои собственные доводы.

БОТАРИ. А если нас не найдут?

АНТОНИЯ. Тогда тоже все равно.

ЛЮЧИЯ. Короче говоря, мы остаемся.

БОТАРИ. Разумно ли это? Я этого от вас не ожидал. *(Нерешительно.)* В таком положении лучше полагаться на ноги, чем на голову.

АНТОНИЯ. У нас свои мотивы. Мой — романтического характера.

ЛЮЧИЯ. Мой вполне понятен.

БОТАРИ. Но вы все-таки продолжаете надеяться, не так ли?

АНТОНИЯ. Даже не знаю. *(После паузы.)* Разве обязательно это или — или? Надеяться или отчаиваться?

БОТАРИ. Да. И последнее непозволительно мне как учителю.

АНТОНИЯ. Вам трудно отказываться от жизненных планов?

ЛЮЧИЯ. Нам-то легче, у нас их и не было. Все ждали, что вот, может быть, следующий урок их нам принесет.

АНТОНИЯ *(уничижительно)*. Умеренное приготовление к размеренной жизни.

БОТАРИ. Нечего насмешничать!

АНТОНИЯ. А если сейчас — и есть этот следующий урок? Если необычное стало обычным?

БОТАРИ. Это не предусмотрено.

АНТОНИЯ. Урок в темноте. Вполне обычный. Ну или добровольный, послеобеденный, в опустевшей школе, когда за окнами уже вечер.

БОТАРИ. Ты, кажется, последняя по успеваемости в своем классе, Антония.

АНТОНИЯ. Предпоследняя.

БОТАРИ. Тогда мое место — за тобой. Я плохой ученик. Вся моя надежда всегда была на равнодушие. Только инчегонделаньем я еще мог справиться с классом.

7

ГОЛЬДШМИД. Равнодушие, Габриэла?

ГАБРИЭЛА. Ты знаешь что-нибудь лучше?

ГОЛЬДШМИД. Твой господин Ботари полагает, что оно приходит само, как сон. Уютная, я бы сказал, точка зрения.

ГАБРИЭЛА *(смеется)*. Во всем виновата моя склонность к уюту, любовь к креслам.

ГОЛЬДШМИД. Каким же надо быть акробатом, чтобы идти к креслу, на котором уже сидишь!

ГАБРИЭЛА (*устало*). Это все твои картинки виноваты. И надежда, которую зовут Кальморген и над которой уже поздно мудрить. Ничего удивительного. Уже около десяти.

ГОЛЬДШМИД. Надвигается ночь... А я ждал чего-нибудь удивительного — там внизу, в катакомбах...

ГАБРИЭЛА. Там теперь все спят.

ГОЛЬДШМИД. Им нужно что-то другое, а не сон.

ГАБРИЭЛА. Может быть, игра?

ГОЛЬДШМИД. Игра? Предоставь это стареющим людям — сон, бридж и футбол.

ГАБРИЭЛА (*чуть не плача*). Но я хочу состариться. И состарюсь. Госпожа Винтер в дороге. Она спешит, торопится, быстро идет, быстро говорит, госпожа Кальморген быстро слушает. Они еще застанут нас. Большого я не знаю. Чего ты хочешь?

ГОЛЬДШМИД. Чтобы ты нашла нас прежде, чем они нас найдут.

ГАБРИЭЛА. Разве это в моих силах?

ГОЛЬДШМИД. Постарайся.

ГАБРИЭЛА. Госпожа Кальморген, женщина с седыми волосами, сама воплощенная доброта. Госпожа Кальморген... У меня такое чувство, будто я болтаюсь на этом имени, как на веревке. Дедушка! Одно обращение — и только, голос, слово, никаких родственных чувств. Как мне тебя называть?

ГОЛЬДШМИД. Вот, теперь ты видишь? Мы на пути к самим себе. Как будто контуры нанесены невидимыми чернилами, а на огне они проступают. Дом, лицо, возможности счастья.

ГАБРИЭЛА. Возможности? Контуры? Одним словом — несчастье, дедушка.

ГОЛЬДШМИД. Одним словом этого не назвать.

ГАБРИЭЛА. Тихо!

ГОЛЬДШМИД. Да?

ГАБРИЭЛА. Нет, ничего. Мне показалось...

ГОЛЬДШМИД. Теперь и я слышу. Шаги. Наверно, госпожа Винтер.

ГАБРИЭЛА. Госпожа Кальморген. Нет. Этого имени не существует. Оно выдуманно. (*Смеется.*)

ГОЛЬДШМИД. Стук сапог, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Да?

Прислушиваются. Раздается звонок.

ГОЛЬДШМИД (*спокойно*). Ты права. Госпожа Кальморген — выдумка, ее нет. А катакомбы? Быстрее! Что говорит Антония?

Звонят сильнее.

АНТОНИЯ. Кто меня звал?

БОТАРИ. Никто.

АНТОНИЯ. Мне послышался звонок.

ЛЮЧИЯ. Тихо!

БОТАРИ. Ничего.

АНТОНИЯ. Почудилось. Звонок, как у нашей двери, когда приходят гости, и голоса отца и матери, которые их встречают.

ЛЮЧИЯ. Голоса, Антония? Это дурной знак.

АНТОНИЯ. О мгновение, перед тем как тебя позовут!

ЛЮЧИЯ. Не забывай, оны тебя покинут. Их близость обманчива.

АНТОНИЯ. Да.

ЛЮЧИЯ. У меня не такой острый слух. Я слышу только тишину.

АНТОНИЯ (*как бы про себя*). Спасение. Ни воды, ни света, ни хлеба. Ни снов, ни голосов. Чистое, бесконечное спасение. (*После паузы, громче.*) Другая сторона луны — невидимая! Вот где я хочу жить.

БОТАРИ (*насмешливо*). В добрый путь!

АНТОНИЯ. Я бы хотела взять вас с собой, господин Ботари.

БОТАРИ. Меня?

АНТОНИЯ. Вас, и Лючию, и весь класс.

БОТАРИ. Спасибо. Но я, пожалуй, предпочел бы оставаться при своих пяти чувствах и слабых надеждах.

ЛЮЧИЯ. А я при моем гневе, он меня еще греет! Другая сторона луны? Нет, Антония, там не светлее.

АНТОНИЯ. Темнее! Там полная, сияющая темнота. Кажется, вся моя жизнь, уроки, песенки в детстве, все это слилось в этом одном мгновении, которое я принимаю.

ЛЮЧИЯ. Не забывай, что мы будем корчиться здесь от голода и жажды, будем биться на этой земле, как мухи на подоконнике — и ты тоже.

АНТОНИЯ. У меня перед вами только одно преимущество: мужество заменяет мне счастье. (*После паузы.*) Помню, все наши молились, когда еще надеялись.

БОТАРИ. Тогда это имело так же мало смысла, как и теперь.

АНТОНИЯ. По-моему, молиться нужно только тогда, когда уже ничего не хочешь от бога.

БОТАРИ (*сердито*). Вот и молись теперь!

АНТОНИЯ. Да, господи, да, да, да.

Звучит звонок.

ГОЛЬДШМИД. Они пришли все же раньше полуночи.

ГАБРИЭЛА. Да.

ГОЛЬДШМИД. Может, они уйдут.

ГАБРИЭЛА. Да, может быть.

ГОЛЬДШМИД. А может, это вообще госпожа Винтер — забыла ключи.

ГАБРИЭЛА (*почти весело*). Или госпожа Кальморген, у которой их совсем нет!

Стук в дверь.

Слышишь?

ГОЛЬДШМИД (*спокойно*). Они взламывают замок.

ГАБРИЭЛА. Обычно обходилось без этого. Как жаль, что мы исключение.

ГОЛЬДШМИД. Не беспокойся, мы отнюдь не исключение.

ГАБРИЭЛА (*ехидно*). Не шевелитесь, сказала госпожа Винтер.

ГОЛЬДШМИД. Приготовься, Габриэла.

ГАБРИЭЛА. Не волнуйся. Я готова.

Приближающиеся шаги. Дверь распахивается.

ГОЛЬДШМИД. Да, мы здесь.

Фред фон ХЕРШЕЛЬМАН

Корабль „Эсперанца“

Голоса:

ГРОВ, капитан «Эсперанцы»

АКСЕЛЬ ГРОВ

БЕНГСТЕН, первый штурман

КРУХА, боцман

ПОДБИАК

МАТРОСЫ

МЕГЕРЛИН

ЭДНА

СОРРИЗО, трактирщик

АГЕНТ В КОНТОРЕ ПО НАЙМУ

Комната. Стук пишущей машинки. Снаружи иногда доносятся гудки буксиров.

АГЕНТ. Имя?

АКСЕЛЬ. Аксель Гров.

АГЕНТ. Возраст?

АКСЕЛЬ. Двадцать три года.

АГЕНТ. Кем бы хотели наняться?

АКСЕЛЬ. Матросом.

АГЕНТ (*листает*). Вы плавали и кочегаром?

АКСЕЛЬ. Да. На «Батавии».

АГЕНТ. Через три недели...

АКСЕЛЬ. Нет, это слишком долго.

АГЕНТ. ...вы бы могли устроиться на «Диану». Бельгийское судно.

Сейчас у нас в порту. Кочегаром...

АКСЕЛЬ. Три недели...

АГЕНТ. ...или мусорщиком. Я бы советовал вам дожидаться. Других мест пока нет. Вот разве что на «Эсперанце»...

АКСЕЛЬ. А куда она идет? В Испанию?

АГЕНТ. В Панаму.

АКСЕЛЬ. Ого!

АГЕНТ. Зато уже сегодня ночью она снимается с якоря и выходит курсом на Штаты. «Эсперанце» срочно нужен матрос.

АКСЕЛЬ. Это для меня. Панама так Панама, все равно!

АГЕНТ. Тогда распишитесь вот здесь. Но я бы на вашем месте...

АКСЕЛЬ. Давайте!

Скрип пера.

АГЕНТ. ...подождал «Диану».

АКСЕЛЬ (*читает*). «Эсперанца»... Капитан — Гров... Что такое?
(*Вновь читает.*) Капитан Гров! Это же моя фамилия.

АГЕНТ. Может быть, ваш родственник?

АКСЕЛЬ (*испуганно*). Что вы говорите?

АГЕНТ. Вы что, его родственник?

АКСЕЛЬ. Нет, по-видимому. Не знаю. Но это... возможно. Мой отец тоже был капитаном одного корвета. Но уже тринадцать лет о нем ни слуху ни духу. С тех пор, как началась война... Тринадцать лет... Я думал, что его уже нет в живых.

АГЕНТ. Гров — фамилия не такая уж редкая.

АКСЕЛЬ. Да, но все-таки странно.

АГЕНТ. Кстати, все, что я говорил тут об «Эсперанце»...

АКСЕЛЬ. А что вы говорили?

АГЕНТ. Ничего. Во всяком случае, ничего предосудительного. Судно старое, даже очень. Много раз бывшее в ремонте. С искривленным силуэтом... Понимаете, кто столько раз бывал в передрыгах... Кошка ведь тоже вся изгибается, когда ее гладят против шерсти... Корабль это, конечно, не очень красит, но что делать...

АКСЕЛЬ. Если «Эсперанцу» действительно водит мой отец, то это первоклассное судно.

АГЕНТ. Что и говорить.

АКСЕЛЬ. Отправлюсь прямо туда. И все сам увижу...

АГЕНТ. «Эсперанца» еще на погрузке. Капитана нет на борту. Так что вам лучше явиться вечером.

АКСЕЛЬ. Хорошо. Вечером так вечером. Тогда пойду куда-нибудь пообедаю.

Изменение акустики. Звуки радиолы. Кто-то стучит монетой по тарелке.

Официант!

Радиола смолкает.

СОРРИЗО. Да, господин?

АКСЕЛЬ. Счет.

СОРРИЗО. Сию минуту. Суп — один раз, котлеты — один раз... Благодарю вас. Да, и еще... Если вы будете обедать у меня ежедневно, то покупайте абонемент. Так вам будет дешевле...

АКСЕЛЬ. Нет-нет, завтра я буду уже в океане.

СОРРИЗО. Ах так...

АКСЕЛЬ. Устроился наконец. На «Эсперанцу». И завтра буду уже...

СОРРИЗО. Как вы сказали? Как называется судно?

АКСЕЛЬ. «Эсперанца».

СОРРИЗО (*равнодушно*). Ну что ж, счастливого путешествия.

АКСЕЛЬ. Вы знаете это судно?

СОРРИЗО. Откуда? Нет. Впервые слышу. Оно выходит сегодня ночью?

АКСЕЛЬ. А капитана вы случайно не знаете? Его зовут Гров.

СОРРИЗО. Нет. Капитаны ко мне не заходят. Одни матросы. Да и то все больше под вечер. Вот тогда у меня начинается торговля. А вы ночью уже выходите?

АКСЕЛЬ. Да.

Стук в дверь.

СОРРИЗО. Еще раз — счастливого путешествия.

АКСЕЛЬ. Где-то стучат... Кажется, сверху...

СОРРИЗО. Это посетитель требует кофе...

Радиола заглушает его слова.

Счастливого путешествия... И если вернетесь — милости прошу...

Радиола слышна тише, отдаленнее. Открывается дверь.

А-а, это вы...

МЕГЕРЛИН. Бог мой!.. В чем дело?..

СОРРИЗО. Сколько раз вам говорил: не стучите так.

МЕГЕРЛИН. Я за газетой.

СОРРИЗО. Зачем она вам? О вашем деле давно уже не пишут.

МЕГЕРЛИН. А что вы знаете о моем деле?

СОРРИЗО. Ничего. Кроме того, что это вполне заурядное дело.

Было бы незаурядным, я бы что-нибудь о нем знал.

МЕГЕРЛИН. И все-таки принесите мне газету. Десять дней я только и делаю, что расхаживаю по этой комнате взад и вперед и считаю одуванчики на обоях. Или это лютики?

СОРРИЗО. У меня для вас новости. Только что узнал.

МЕГЕРЛИН. Какие?

СОРРИЗО. Сегодня ваше судно уходит.

МЕГЕРЛИН. Это точно?

СОРРИЗО. К десяти я отвезу вас на старый мол. Там нас будут ждать остальные. Оттуда вас переправят на корабль.

МЕГЕРЛИН. На какой корабль?

СОРРИЗО. Ночью вы взойдете на борт. И две недели проведете в трюме. Ночью же вас высадят на берег. Так что вам незачем знать название судна.

МЕГЕРЛИН. Все ночью, все в потемках.

СОРРИЗО. Что делать. А когда доберетесь, пошлите мне открытку — со статуей свободы, ладно? Но вы все равно забудете.

МЕГЕРЛИН. Раз вам так хочется... Почему это я забуду?

СОРРИЗО. Я уже многим помог перебраться. И все обещали писать. Но стоит им высадиться, как они обо всем забывают. Так ни один и не написал!

Изменение акустики. Сильный шум в порту: краны, лебедки, буксиры. Скрежет и стук.

БЕНГСТЕН. Осторожнее, осторожнее, черти! Это вам не кирпичи, а бочки с вином!

Скрежет и стук.

(Кричит.) Стоп! Стоп! Что вам нужно?

АКСЕЛЬ. Это — «Эспанца»?

БЕНГСТЕН. А вы что, не видите, что написано? Что вам нужно?

АКСЕЛЬ. Капитан Гров на борту?

БЕНГСТЕН. Нет.

АКСЕЛЬ. Когда он придет?

БЕНГСТЕН. Перед самым отплытием.

АКСЕЛЬ. А когда это будет?

БЕНГСТЕН. Вы что-нибудь хотели ему передать, или...

АКСЕЛЬ. Я нанялся на «Эсперанцу».

БЕНГСТЕН. Кто — вы?

АКСЕЛЬ. Меня прислала контора по найму.

БЕНГСТЕН. Ну что ж вы сразу не говорите? Поднимайтесь. Откуда вы?

АКСЕЛЬ. Из больницы. У меня был перелом руки.

БЕНГСТЕН. Но теперь-то здоровы?

АКСЕЛЬ. Да.

БЕНГСТЕН. В последний раз на чем плавали?

АКСЕЛЬ. На голландском танкере «Петра».

БЕНГСТЕН. Матросом?

АКСЕЛЬ. Да.

БЕНГСТЕН. Что ж, ступайте в кубрик. Боцман вам все расскажет.

АКСЕЛЬ. Господин...

БЕНГСТЕН. Я — Бенгстен, первый штурман.

АКСЕЛЬ. Господин Бенгстен, я еще вот о чем хотел вас спросить. «Эсперанцей» командует ведь капитан Гров?

БЕНГСТЕН. Да что вам дался наш капитан? Я ведь вам сказал, его нет на борту.

АКСЕЛЬ. Меня зовут Аксель Гров.

БЕНГСТЕН. Вы его родственник?

АКСЕЛЬ. Возможно. Я тринадцать лет не видел своего отца. Он тогда был морским офицером.

БЕНГСТЕН. Отца, вы говорите?

АКСЕЛЬ. Да.

БЕНГСТЕН. Ну, тогда это не он. У капитана Грова нет детей.

АКСЕЛЬ. Вы это точно знаете?

БЕНГСТЕН. Совершенно точно. А теперь ступайте, поищите боцмана Круху. Или пойдите...

АКСЕЛЬ. Да?

БЕНГСТЕН. Так вы только потому к нам пришли, что капитан «Эсперанцы» — Гров?

АКСЕЛЬ. Нет, я узнал его фамилию уже из путевки.

БЕНГСТЕН. Иначе говоря, вы могли оказаться и на другом судне?

АКСЕЛЬ. На «Диане», быть может, — но ее нужно ждать целых три недели.

БЕНГСТЕН. А теперь, когда вы узнали, что капитан не имеет к вам

никакого отношения, у вас ведь нет особых оснований оставаться на «Эсперанце»? И если я выплачу вам содержание — за три недели, чтобы вы могли дожидаться «Диану», то вы...

Сильный шум лебедки заглушает его слова.

АКСЕЛЬ. Я не понял, что вы сказали, господин Бенгстен.

БЕНГСТЕН. Так, ничего особенного. Пустяки. Оставайтесь. А когда вы завтра увидите капитана, то и сами во всем убедитесь. Пустые надежды, ей-богу. Круха!

КРУХА (*издалека*). Да, господин Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Примите новенького. (*Бормочет.*) Выдумал тоже... Гровов тысячи. Глупости. Нет у него никакого сына...

Шум лебедки, потом шаги.

АКСЕЛЬ. Когда капитан поднимется на борт.

КРУХА. Никогда.

АКСЕЛЬ. То есть?

КРУХА. Он не может подняться на борт, потому что он уже на борту.

АКСЕЛЬ. А штурман только что сказал...

КРУХА. Лежит в стельку пьяный. Со среды.

АКСЕЛЬ. Да ну?

КРУХА. Ей-ей. В стельку. Как всегда. Пьет до самого отплытия.

АКСЕЛЬ. Капитан Гров?

КРУХА. Угу, капитан. А штурман его замещает.

АКСЕЛЬ. Ну что ж, тогда до утра. Потерпим еще одну ночь, чтобы убедиться, что это вовсе не он.

КРУХА. Перед отплытием он всегда напивается, старый дьявол.

Изменение акустики. Шаги назад и вперед.

ГРОВ (*вполголоса напевает*).

Плывет, плывет посудина

За солнышком вослед.

Плывет, плывет посудина —

Не шхуна, не корвет...

Стук в дверь.

Не шхуна...

Дверь открывается.

БЕНГСТЕН. Господин капитан...

ГРОВ. Что за выправка? Дскладывайте!

БЕНГСТЕН. «Эсперанца» — не военный корабль, господин капитан, и война давно кончилась.

ГРОВ. Как видно. А жаль. Хорошо, что вы пришли, Бенгстен. Завтра отведем «Эсперанцу» в док и хорошенько почистим ее — чтоб никакого хлама...

БЕНГСТЕН. Что вы, капитан, ведь мы уже выходим в море.

ГРОВ. Чтоб никакого хлама... И покрасим ее в белоснежный цвет, как яхту — как невесту, в самый невинный цвет — в невиннейший...

БЕНГСТЕН. Господин капитан, тут пришел один новый матрос...

ГРОВ. Не мешайте, Бенгстен. До завтра никому не позволено мне мешать. Не принимаю.

БЕНГСТЕН. Его зовут Аксель Гров, он говорит...

ГРОВ. Белоснежная «Эсперанца» — как она будет выглядеть?.. Что вы сказали?

БЕНГСТЕН. Аксель Гров, новый матрос...

ГРОВ. Матрос!.. Аксель — маленький мальчик, а не матрос... Какая чушь вам приходит в голову, Бенгстен... А потом я хочу спать. А ты, Аксель, ступай, ступай, тебе здесь нечего делать... За солнышком... за солнышком...

БЕНГСТЕН. Черт, у него, кажется, и вправду есть сын.

ГРОВ. Проваливай... Ну, что ты здесь прохлаждаешься? За солнышком... А вам, Бенгстен, я повторяю: белоснежная «Эсперанца»... А остальное (*с угрозой*) уладьте сами, понятно? Я знать ничего не желаю, я сплю.

Изменение акустики. Негромкое гудение моторов. Кто-то невнятно напевает. Потом обрывает мелодию.

МАТРОС. Эй, новенький. Вот ты все ворочался на нарах, а грязь с твоего матраца сыпалась мне прямо в лицо.

АКСЕЛЬ. Я не знал.

МАТРОС. Вот я и говорю, чтоб ты знал.

АКСЕЛЬ. Не спалось что-то...

МАТРОС. Сон — первое дело.

АКСЕЛЬ. Потом среди ночи кто-то вдруг стал подниматься по веревке.

МАТРОС. Сон — первое дело.

АКСЕЛЬ. Кто бы это мог быть? Лоцман ушел еще раньше. А тут целая группа — я слышал шаги, человек десять. Кто бы это мог быть?

МАТРОС. Так что подложи лучше газету.

АКСЕЛЬ. Что?

МАТРОС. Я говорю, подложи газету.

АКСЕЛЬ. Да-да, конечно, но все-таки...

Матрос опять начинает напевать. Шум моря слышится сильнее.

МАТРОС (*прерывая пение, про себя*). За сколько дней доберемся? Если ничего не случится с котлами — а с ними бывает **всякое**, то я думаю, дней за двенадцать...

Изменение акустики. В трюме. Пустынное помещение. Непрерывный, негромкий шум. Мегерлин тяжело вздыхает.

ЭДНА. Да что с вами?

МЕГЕРЛИН. Голова болит. А потом страшно. Где мы теперь? В открытом море?

ЭДНА. Попробуйте заснуть.

МЕГЕРЛИН. Заснуть! Здесь! В трактире я чувствовал себя, как крыса в клетке. Все ходил взад-вперед, считал одуванчики на обоях, ждал, ждал, когда же наконец я ступлю на корабль. И вот на тебе! Почему мы должны сидеть здесь? В этой железной тюрьме? С одной только лампой да несколькими ящиками, не можем же мы просидеть на них две недели? Что это за корабль?

ЭДНА. Ну, рано или поздно нас все-таки высадят.

МЕГЕРЛИН. Да, барышня, высадят. А потом? Я почти не знаю английского. И все у них не так, как у нас, мне говорили. Главное в их жизни — не выделяться! Какое-то время все носят соломенные шляпы — носи и ты, переходят на фетровые — переходи вместе со всеми. Чуть ты не так оделся, как уже у всех на виду. И поезда у них называют по именам. И автобусы ходят круглые сутки. Ну, как тут с ними ужиться?

ЭДНА. Кто это вам рассказал? Мой отец?

МЕГЕРЛИН. Разве это ваш отец? Тот господин, что сидит при лампе и играет в карты?

Голоса играющих в карты — приглушенно: «Трефовый туз... По королю».

ЭДНА. Отчим. Кстати, я бы вам не советовала играть с ним.

МЕГЕРЛИН. Я никогда не играю в карты. Но я бы хотел знать...

ЭДНА. Что?

МЕГЕРЛИН. Что делается наверху... Как выглядит море...

ЭДНА. Попробуйте лучше заснуть!

МЕГЕРЛИН. Почему нас здесь заперли? Почему?..

Изменение акустики. Ветер. Шум моря. Крик чайки. Корабельный колокол медленно бьет два раза.

ГРОВ. Ты сразу меня узнал?

АКСЕЛЬ. Да как сказать...

- ГРОВ. Я узнал тебя сразу. *(Смеется.)* Аксель...
- АКСЕЛЬ. Ты выглядел тогда намного моложе. Потом ты был в форме. У тебя был великолепный вид. Помню, я немного побаивался тебя.
- ГРОВ. Ну, теперь-то тебе нечего бояться.
- АКСЕЛЬ. Когда мы виделись в последний раз? В самом начале войны, по-моему. Но я уже плохо помню.
- ГРОВ. Да, я недолго пробыл дома в тот раз.
- АКСЕЛЬ. А вот предпоследний раз я помню хорошо. Как я все лето ждал тебя — до самой осени. В нашем саду.
- ГРОВ. Когда это было?
- АКСЕЛЬ. Летом тридцать седьмого. Сначала в саду пахло жасмином, потом резедой, а потом дождем и астрами — такой горький был запах.
- ГРОВ. Летом тридцать седьмого я вообще не был дома.
- АКСЕЛЬ. Верно. Мы прождали тебя напрасно. Ты вообще не приехал. Отправился в дальнюю поездку, внезапная командировка, что ли...
- ГРОВ. Да. Давно это было. Страна наша мертва. Жизнь превратилась в пустыню. И все-таки мы встретились — посреди этой пустыни. Ну, не чудо ли? В каком-то чужом порту тебе попалось на глаза мое имя, в какой-то конторе по найму...
- АКСЕЛЬ. Я уж решил, что это мой последний рейс. Эта профессия не для меня.
- ГРОВ. Глупости. Почему?
- АКСЕЛЬ. Я ничему не учился. На штурмана мне никогда не сдать, а весь век оставаться матросом или в лучшем случае боцманом...
- ГРОВ. Ну, теперь все будет по-другому. Ты начнешь учиться. У меня дела идут неплохо. Судно частично принадлежит и мне, денег у меня достаточно.
- АКСЕЛЬ. Не знаю... Я ведь, наверно, только потому потянулся на море, что с детства помнил тебя — твою великолепную форму. А вообще-то мне больше по сердцу торговля, какая-нибудь лавочка...
- ГРОВ. Ты с ума сошел! Лавочка! Ты что, собираешься продавать сигары — по центу за штуку? Или еще что-нибудь в том же духе?
- АКСЕЛЬ. А почему бы и нет?
- ГРОВ *(с некоторым раздражением)*. Ты и в детстве был несколько... несколько скромным... Я думал, это пройдет. Ты ведь сильный парень, господи, да в твои годы я бы, знаешь... Такую кислую рожу, во всяком случае, не стал бы корчить, уж это ты мне поверь.

АКСЕЛЬ. Знаешь, я как-то ко всему равнодушен.

ГРОВ. Что-что? Это в двадцать три-то года?

АКСЕЛЬ. Все это время, с тех пор как мы расстались, я провел как во сне... Война, голод, непрекращающееся бегство, лагеря, а главное — голод... Один раз мне кто-то сказал: «Если б я знал, что меня ждет в этой жизни, я бы предпочел вообще не родиться — остался бы на том свете».

ГРОВ. Ну и кисель. Наберись мужества, мальчик! Поборись за свое место! Увидишь, теперь все пойдет по-другому.

АКСЕЛЬ. Может быть...

ГРОВ. Мне не очень нравится, что ты ешь и спишь с командой...

АКСЕЛЬ. Я ведь простой матрос.

ГРОВ. Да. И пусть это так и останется. Только не слишком сближайся с этим сбродом. По правде говоря, люди у нас тут не ахти какие. Что Подбиака взять, что Круху, да и остальные не лучше... Так что держись от них подальше, ладно? Отслужил свою службу — и сразу ко мне, договорились?

АКСЕЛЬ. Кстати о службе... Мне как раз пора идти драить палубу.

ГРОВ. Хорошо. Иди. Я тебя не задерживаю. И тебе не советую пренебрегать этой работой.

АКСЕЛЬ. Ну, так я пошел.

ГРОВ. Подожди-ка. Подойди сюда. Вот ты говоришь, в детстве мой вид казался тебе великолепным. А теперь... когда ты увидел эту утлую развалину «Эсперанцу», теперь я показался тебе другим?

АКСЕЛЬ. Я этого не сказал.

ГРОВ. Но подумал. И был, конечно, прав. Теперь я совсем не тот...

АКСЕЛЬ. Знаешь, сейчас мне вряд ли понравился бы тот твой вид. *(Пытаясь утешить.)* По-моему, теперь все в порядке, и так мне нравится больше...

ГРОВ. Ага, так тебе нравится больше. Ты не видишь теперь большой разницы между собой и мною, и это тебе нравится. Тут ты, положим, чуточку заблуждаешься. Я — по-прежнему я, и от моего слова здесь все зависит. Дело не во внешности, а в самом человеке. Паршивая, утлая посудина, ты говоришь...

АКСЕЛЬ. Это твои слова.

ГРОВ. Глупости. Я никогда не назову свое судно паршивой утлой посудинной. А «Эсперанца», хоть и частично, принадлежит мне. Я здесь полный хозяин, и мне это приятно. И доходы, я говорю, приличные. Даже блестящие. Видишь — дело не во внешности, а в том, что за ней скрывается.

АКСЕЛЬ. Да.

ГРОВ. Так-то. А теперь ступай.

АКСЕЛЬ. Да.

*Изменение акустики, негромкий шум корабельных котлов.
Акустика небольшого помещения. Слышно похрапывание.*

ПОДБИАК (*бормочет*). Отстань... Отстань, говорю...

КРУХА. Успокойся, Подбиак.

ПОДБИАК. Семеро на одного!.. Семеро — и все на одного! Не надо, не надо...

КРУХА. Успокойся ты или нет, Подбиак!

ПОДБИАК (*кричит*). А-а-а!..

КРУХА. Проснись!

ПОДБИАК (*в полудреме, быстро*). Что такое, что случилось?.. Это ты, Круха? Фу ты...

КРУХА. Тебе что-то приснилось.

ПОДБИАК. Не помню. Может быть...

КРУХА. Ты кричал.

ПОДБИАК. Да? А что я говорил?

КРУХА. Ничего особенного. Так... Ну, ты сам знаешь.

ПОДБИАК. Да нет, ничего я не знаю.

КРУХА. Остальные не слышали. Спали.

ПОДБИАК. Ну слава богу.

КРУХА. Но я слышал. Ты все рассказал во сне.

ПОДБИАК (*испуганно*). Не может быть!

КРУХА (*лжет*). Клянусь тебе! Все.

ПОДБИАК. А что-нибудь можно было понять? Я говорил об этих людях, об этих пятерых?

КРУХА. Да. Именно о пятерых.

ПОДБИАК. На этот раз их семеро.

КРУХА (*размышляя*). Это те самые семеро... которых ты поднял на борт. И которых ты отвезешь ночью.

ПОДБИАК. В прошлый раз их было пятеро.

КРУХА. Ночью на баркасе, да?

ПОДБИАК. Да.

КРУХА. Мне ты можешь во всем признаться, я никому не скажу. Сколько они тебе платят?

ПОДБИАК. Пятьдесят долларов.

Круха свистит.

Но я уже слишком стар для таких вещей. Я сразу сказал, что стар, а Бенгстен даже слушать ничего не хочет. Ты, говоришь, лучше всех подходишь для этого дела, и все тут.

КРУХА. А ты не боишься?

ПОДБИАК. Еще бы не бояться! Пять парней, и все моложе и здоровее меня.

КРУХА. А пограничников ты не боишься?

ПОДБИАК. Нет, этих нет.

КРУХА. Когда высаживаешь?

ПОДБИАК. Нет.

КРУХА. Или ты их вообще не высаживаешь на берег?

ПОДБИАК. Нет.

КРУХА. А как же тогда?

ПОДБИАК. Ах, оставь, я хочу спать.

КРУХА. Значит, ты их вообще не высаживаешь на берег...

ПОДБИАК. Да это и невозможно. Берег усиленно охраняется.

КРУХА. Что же ты делаешь с ними?

ПОДБИАК. Проще простого. Корабль останавливается. Огни потушены. Они спускаются ко мне в баркас, последний раз их было пятеро. Я говорю: «Ну вот, мы и в Америке» — и некоторое время грёбу. Потом говорю: «До берега осталось метров десять, добирайтесь вплавь, дальше я не поеду». А им так хочется поскорее добраться до берега, что они, не размышляя, бросаются в воду и плывут. Плывут десять метров, двадцать, плывут все дальше и дальше. Когда-то они сообразят, что находятся в открытом океане и никакого берега нет и в помине. Интересно, сколько можно так проплыть? Особенно в одежде?

КРУХА. Вот вы как делаете. А чего же ты тогда боишься?

ПОДБИАК. Парни-то молодые, сильные. А что как не захотят плыть, когда я им предложу? Просто возьмут и швырнут меня в воду, а сами поплывут дальше на баркасе. Слишком я стар для таких вещей. Понимаешь?

КРУХА. А с кем ты все это проделываешь? С Бенгстеном?

ПОДБИАК. Да.

КРУХА. И пятьдесят долларов ты получаешь тоже от него?

ПОДБИАК. Да. Но лучше б мне не связываться. Слишком я стар.

КРУХА. Ну ладно, спи.

ПОДБИАК. Только ты никому не говори. А то...

КРУХА. Успокойся. Не мешай мне. Я должен подумать.

Изменение акустики. В трюме. Непрерывный шум. Голоса играющих в карты.

МЕГЕРЛИН. Даже не знаю... Что сейчас — день или ночь?

ЭДНА. Я думаю, ночь.

МЕГЕРЛИН. Взгляните на остальных... Им хорошо, они точно знают, куда они хотят и чего они хотят. Я же... я словно заснул в определенный момент моей жизни и вот продолжаю жить во сне... Почему я здесь? Зачем? Куда я еду? Я ничего так не боюсь, как нашего прибытия...

ЭДНА. Стоит нам только выбраться наружу...

МЕГЕРЛИН. Как все начнется сначала. Я не привык принимать какие-либо решения... Я делал, что мне было велено, я был служащим; примерным, исполнительным, я бы сказал, служащим... И все считали это вполне нормальным. Вот что меня бесило. Только сама заурядность, глупость может быть примерной. «Кассир должен быть глупым», — как сказал однажды директор. Он не знал, что я его слышу. Ну, какой смысл быть примерным, если это свойство глупости? Многие тысячи прошли через мои руки. Но вот я уже седею, скоро умру, а за всю свою жизнь так ничего и не испытал и не увидел. Ничего ровным счетом. Разве что стаканчик вина по воскресеньям — вот вся моя радость.

ЭДНА. По-моему, не так уж плохо быть бедным.

МЕГЕРЛИН. Дело не в этом. Я думаю, вам не понять, потому что вы слишком молоды. Мне же обязательно нужно что-нибудь делать, вот сейчас, например... Сидеть с кем-нибудь за столом, хотя бы за ящиком...

ЭДНА. Ну вот они же играют... Уже три дня...

МЕГЕРЛИН. Господа...

Все замолкают.

Позвольте обратиться со смиренной просьбой, не откажите в любезности...

ЭДНА (*тихо*). Не сходите с ума...

МЕГЕРЛИН. Принять меня в одну из партий!

Общий смех.

Изменение акустики. На палубе. Несильный ветер, равномерный шум моря.

БЕНГСТЕН. Что вам нужно, Круха?

КРУХА. Я, собственно, хотел только...

БЕНГСТЕН. Да в чем дело?

КРУХА. Но, может быть, лучше в другой раз..

БЕНГСТЕН. Что за ужимки? Либо говорите, либо нет. Только не задерживайте меня понапрасну.

КРУХА. Нет-нет, господин Бенгстен...

БЕНГСТЕН. Итак?

КРУХА. Тут вот мой земляк, Подбиак... Он человек уже довольно старый.

БЕНГСТЕН. Я знаю Подбиака.

КРУХА. Земляк вот все время говорит вслух по ночам, на нашем диалекте, так что я один понимаю.

БЕНГСТЕН. Ну и что же?

КРУХА. А когда он просыпается, мы с ним разговариваем... Он говорит, на этот раз опять на борту несколько человек. Сидят внизу в трюме.

БЕНГСТЕН. Послушайте, Круха. Вы достаточно давно на корабле, чтобы знать, что вас касается, а что нет.

КРУХА. Конечно, это меня не касается, господин Бенгстен. Я не это имею в виду. Я только хотел сказать, что знаю теперь все.

БЕНГСТЕН. Что вы знаете?

КРУХА. Все.

БЕНГСТЕН. Меня не интересует, что вы знаете, Круха. И еще: вы уже забыли все, что вы знали, вернее, думали, что знали. Ясно?

КРУХА. Все. Все.

БЕНГСТЕН. Круха, кончайте шутить.

КРУХА. Господин Бенгстен, не уходите, пожалуйста, не уходите, господин Бенгстен. Выслушайте меня. Дело в том, что Подбиак...

БЕНГСТЕН. Подбиака я тоже прищучу. Этого еще не хватало!

КРУХА. Он уже старик — Подбиак. Ему трудно избавляться от этих людей...

БЕНГСТЕН. Я долго слушал вас и хочу наконец понять: чего вы хотите?

КРУХА. Я только хочу...

БЕНГСТЕН. Вероятно, денег. Вы полагаете, что раз вы что-то знаете, то уже можете требовать денег. Это что же — шантаж?

КРУХА. Нет, господин Бенгстен. То есть все хотят денег. Но я не хочу получать их даром.

БЕНГСТЕН. Вы хотите все-таки меня шантажировать, не так ли?

КРУХА. Да нет же, господин Бенгстен! Совсем нет!

БЕНГСТЕН. Тогда я не понимаю, чего вы хотите.

КРУХА. Видите ли, господин Бенгстен, Подбиак — старик, он просто боится этих людей в баркасе, когда остается с ними один.

БЕНГСТЕН. А вам что за дело, боится он или нет?

КРУХА. Я подумал, может быть, вы поручите это дело мне? За пятьдесят долларов? Подбиак будет не против, если я его заменю.

БЕНГСТЕН. А, вот вы к чему клонили.

КРУХА. Ну да. Подбиаку за пятьдесят. Мне же тридцать.

БЕНГСТЕН. Вы действительно еще большая свинья, чем я думал.

КРУХА. Ах, господин Бенгстен, мне только неприятно, когда другой зарабатывает деньги, которые я мог бы получить сам. Кому ж это понравится.

БЕНГСТЕН. Я подумаю. Посоветуюсь с капитаном.

КРУХА. Есть, господин Бенгстен, спасибо. А время терпит. Им придется сидеть в трюме еще неделю, не меньше.

Изменение акустики. В помещении. Корабельный колокол бьет два раза. Шума не слышно.

ГРОВ. А, Бенгстен, заходите, заходите.

БЕНГСТЕН. Черт возьми, капитан! Как это вам удается?

ГРОВ. Что именно?

БЕНГСТЕН. Иметь на борту такую белоснежную рубашку? С накрахмаленным воротничком? Кто вам ее постирал?

ГРОВ. Нашлось еще несколько штук в сундуке. Нельзя же ходить все в одной и той же.

БЕНГСТЕН. Вы в ней молодо выглядите. Или это оттого, что вы побрились. И лиджак какой-то сегодня особенный...

ГРОВ. Я его почистил.

БЕНГСТЕН. Нет, вы в самом деле помолодели.

ГРОВ. Гм. Помолодел. Так-так. Да ведь я не так уж и стар. Просто на такой развалине быстро опускаешься.

БЕНГСТЕН. «Эсперанца» и экипаж вполне соответствуют друг другу.

ГРОВ. Весь корабль словно проеден молью. Его нужно основательно отремонтировать. Основательно!

БЕНГСТЕН. Это будет стоить больше, чем он приносит дохода, капитан. Овчинка выделки не стоит.

ГРОВ. Но я хочу, чтобы мой корабль был в порядке. Мне надоела эта грязь и разгильдяйство. И весь этот мусор в трюме тоже надоел.

БЕНГСТЕН. До сих пор этот мусор вполне себя окупал...

ГРОВ. Я не барахольщик, чтобы наживаться на всякой дряни.

БЕНГСТЕН. Дряни...

ГРОВ. Да, дряни! — Каждый раз мы набираем людей, чтобы высадить их, где они хотят, и каждый раз нам мешает то полнолуние, то спешка, то береговой патруль, и каждый раз мы выбрасываем этот хлам в море. Мне это надоело.

БЕНГСТЕН. Я так сразу и подумал, что ваш сын помешает нашему делу.

ГРОВ. Да при чем тут мой сын! Что, у меня своей головы нет на плечах?

БЕНГСТЕН. Вы могли бы ему просто обо всем рассказать.

ГРОВ. О чем рассказать?

БЕНГСТЕН. О нашем деле. Он поймет, по-моему, он парень неглупый.

ГРОВ. Ну нет, этого я не сделаю. Да стоит мне только заикнуться, что мы иногда провозим людей контрабандой... Что он обо мне подумает?

БЕНГСТЕН. Меня вы никогда не стеснялись, капитан.

ГРОВ. Вы и я — это совсем другое дело. Мы взрослые люди. Но юноше лучше не знать кое о чем... О том, что можно обманывать собственную компанию...

БЕНГСТЕН. Компания сама предостаточно зарабатывает на нас — вы всегда так говорили, капитан.

ГРОВ. Мало ли что я говорил...

БЕНГСТЕН. На этот раз вам одному достались семь тысяч долларов.

ГРОВ. Знаю. Но если б мой сын появился на судне хотя бы днем раньше, я не взял бы на борт всю эту шайку.

БЕНГСТЕН. Но раз уж мы их взяли, от них нужно избавиться.

ГРОВ. Да. Я думаю об этом. Все время. Что мы предпримем на этот раз?

БЕНГСТЕН. Что всегда.

ГРОВ. Нет. Ни за что. На этот раз мы высадим их на берег.

БЕНГСТЕН. Не так-то просто. Завяжется перестрелка с береговой охраной, и вы потеряете баркас — этим все и кончится.

ГРОВ. Ночь будет темная. И мы попытаемся. Но это — в последний раз.

БЕНГСТЕН. Надеюсь, вы еще передумаете, капитан.

ГРОВ. А лишь только они ступят на землю, нам уже нет до них дела. В темноте поднялись на борт, в темноте просидели все время, никто не знает ни названия корабля, ни имени капитана, они ничего не видели, ничего не знают и не смогут нам напакостить.

БЕНГСТЕН. Или вам стало их жалко?

ГРОВ. Какое там! Одни подонки. Отщепенцы. Сплошные неудачники. Раньше или позже им все равно погибаться, а очистить от них мир — может быть, даже заслуга...

БЕНГСТЕН. Да еще какая... *(Смеется.)* Семь тысяч долларов!

ГРОВ. Я — в моральном смысле. *(Непроизвольно тоже смеется.)* Иногда я сам себе кажусь воплощением справедливости.

БЕНГСТЕН. Ну вот видите!

ГРОВ. Только пока я был один, все выглядело иначе. Когда ты ропишься разбогатеть, всегда рискуешь угодить в тюрьму. Но одному мне можно было рисковать. Теперь же — нет.

БЕНГСТЕН. Надеюсь, вы еще передумаете, капитан.

ГРОВ. Нет. Я твердо решил. А вы, Бенгстен, поразмыслите-ка на досуге, где нам их высадить. Вы знаете побережье. И пришлите ко мне сына, если он вам попадется.

Изменение акустики. На палубе.

Дверь закрывается.

БЕНГСТЕН. Эй, Гров, подойдите-ка сюда.

АКСЕЛЬ. Да, господин Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Видите ли, я давно знаю вашего отца и теперь кое-что заметил.

АКСЕЛЬ. Я знаю отца еще больше, господин Бенгстен.

БЕНГСТЕН. Об этом и речь. Видите ли, с одной стороны, он, конечно, рад, что вы здесь, но с другой?.. Из-за вас он вынужден отказаться от некоторых своих привычек.

АКСЕЛЬ. Нам обоим еще нужно привыкнуть друг к другу.

БЕНГСТЕН. Возможно ли это... У капитана сложились определенные правила, которым он неизменно следует. А когда рядом сын...

АКСЕЛЬ. Вам что-нибудь отец говорил об этом?

БЕНГСТЕН. Не то чтобы говорил... Но я ведь вижу. Знаете, после всего, что старик пережил, ему было бы гораздо лучше вообще жить одному. Бывший морской офицер, которого с позором выгоняют со службы. Это все-таки... Если об этом зайдет разговор, сделайте вид, будто верите, что он сидел несправедливо, хотя вы, как и я, прекрасно знаете...

АКСЕЛЬ. Это было... летом тридцать седьмого?

БЕНГСТЕН. Обычное воровство — он ограбил корабельную кассу, что уж тут приукрашивать... И вы понимаете, как ему неприятно, что сын об этом знает и, в сущности, его осуждает...

АКСЕЛЬ. Зачем вы сказали мне об этом?

БЕНГСТЕН. Чтобы вы подумали...

АКСЕЛЬ. Вы мне сказали, наперед зная, что я ни о чем не догадываюсь. Да что здесь вообще происходит? Что это за корабль?.. Прогнившие матрасы, какие-то темные закоулки, кругом паутина... Духота, смрад...

БЕНГСТЕН. Послушайте, Гров...

АКСЕЛЬ. Простите, господин Бенгстен... Что вы еще хотели сказать? Хотя, по-моему, вы сказали достаточно...

БЕНГСТЕН. Вы все еще надеетесь привыкнуть друг к другу?

Изменение акустики. Быстрые шаги по трапу. Стук в железную дверь.

АКСЕЛЬ. Кто здесь?

МЕГЕРЛИН (*глухо, за дверью*). Откройте мне... Пожалуйста, откройте...

АКСЕЛЬ. Кто здесь?

МЕГЕРЛИН. Откройте... Там, должно быть, задвижка... Пожалуйста...

Щелкает задвижка, дверь со скрипом открывается.

АКСЕЛЬ. Что вы здесь делаете? Ведь вы не из команды?

МЕГЕРЛИН. Фу... совсем дышать нечем... Там так душно...

АКСЕЛЬ. Кто вы?

МЕГЕРЛИН. Подышать... Только немножко подышать...

ЭДНА (*приближаясь*). Господин Мегерлин. Вы ведь знаете, нам нельзя...

АКСЕЛЬ. А вы? Там еще кто-то есть?

Неразборчивое бормотание.

Что вы все здесь делаете?

ЭДНА. Мы — переселенцы.

АКСЕЛЬ. Что за глупости. На «Эсперанце» нет пассажиров.

ЭДНА. Будет лучше всего, если вы опять закроете дверь на задвижку, уйдете и забудите, что видели нас.

АКСЕЛЬ. И не подумаю. Я доложу о вас капитану.

Приглушенный смех.

Или вы собираетесь просидеть в этих потемках до самого конца?

ЭДНА. Мы заплатили за это. А на корабле — мы даже не знаем, как он называется, нам этого не сказали...

АКСЕЛЬ. «Эсперанца»...

ЭДНА. На «Эсперанце» для нас не нашлось другого места, кроме этого ужасного, темного подвала, за который мы заплатили больше, чем стоит самая роскошная каюта.

АКСЕЛЬ. На вашем месте я предпочел бы каюту.

ЭДНА. Я тоже. Но для этого нужна виза.

АКСЕЛЬ. Ах вот оно что. А как же вы выберетесь на берег?

ЭДНА. По условиям договора за это отвечает капитан...

АКСЕЛЬ. Капитан? Разве он знает об этом?

ЭДНА. А вы думаете, можно провезти семь человек так, чтобы капитан не знал? А кому же мы платили такие деньги?

АКСЕЛЬ. Капитану?

ЭДНА. Знаете, сколько он на нас заработал?

Где-то отдаленно слышится корабельный колокол, который бьет восемь раз.

АКСЕЛЬ. А кто остальные шесть человек?

ЭДНА. А кто вы?

АКСЕЛЬ. Матрос. Сколько пробило? Мне нужно на вахту.

ЭДНА. Лучше никому не говорите, что видели нас.

Дверь со скрипом закрывается.

И закройте нас, пожалуйста, снова задвижкой.

Задвижка щелкает.

Изменение акустики. На палубе.

ГРОВ. Бенгстен? Вы не видели моего сына?

БЕНГСТЕН. Он, должно быть, на вахте.

ГРОВ. Где он вечно пропадает? Уже три дня у меня не показывался.

БЕНГСТЕН. Не знаю, капитан.

Изменение акустики. В трюме. Шум котлов. Голоса играющих в карты.

МЕГЕРЛИН (*про себя*). Один... два... три... четыре...

ЭДНА. Что вы там делаете, господин Мегерлин?

МЕГЕРЛИН. Считаю, сколько у меня осталось.

ЭДНА. Проиграли?

МЕГЕРЛИН. Кое-что. Вообще-то прилично. То есть почти все.

ЭДНА. Я ведь предупреждала: не играйте с моим отцом.

МЕГЕРЛИН. Теперь уж вы скоро приедете.

ЭДНА. Мы все.

МЕГЕРЛИН. Знаете, я, пожалуй, останусь. Я, наверно, потому так плохо и играл — чтобы остаться без гроша, чтобы была причина не высаживаться в этой стране, я боюсь ее. Когда вас увезут, я скажу капитану, чтобы он отвез меня обратно, пусть хоть выдаст меня властям, мне все равно, я не могу, я все обдумал, я хочу обратно. Или я останусь на худой конец здесь, в этой клоаке, и задохнусь. Или меня найдет кто-нибудь здесь и куда-нибудь отправит, мне все равно куда...

Щелкает задвижка.

ЭДНА. Кто-то идет.

МЕГЕРЛИН. Старик несет сухари и воду. Я ничего не хочу...

ЭДНА. Может, кто-нибудь еще?

Со скрипом открывается дверь.

АКСЕЛЬ. Мне захотелось еще раз повидаться с вами. Осталось три дня, фрейлейн. Через три дня мы будем на месте.

ЭДНА. Три дня!.. А сколько сейчас времени?

АКСЕЛЬ. Девять часов.

ЭДНА. Утра или вечера?

АКСЕЛЬ. Утра, уже светит солнце. Мне очень жаль вас, фрейлейн.

ЭДНА. Три дня еще можно выдержать.

АКСЕЛЬ. Я принес вам одеяло...

ЭДНА (*почти смеясь*). Вам не кажется, что здесь достаточно тепло?

АКСЕЛЬ. Я видел, что вы спите прямо на голом полу... Вы можете подстелить одеяло.

ЭДНА. Вообще я уже привыкла. Но с одеялом, конечно, лучше. Спасибо.

АКСЕЛЬ. Больше у меня ничего нет, что бы вам могло пригодиться.

ЭДНА. Да нам ничего и не нужно, нам бы добраться поскорее.

АКСЕЛЬ. А что это вообще за люди?

ЭДНА. Точно не знаю. Изгой. Их преследуют — по политическим соображениям, или за преступления, или просто как бродяг. А они все помешаны на том, чтобы начать новую жизнь. Полную самых смелых прожектов. Что с ними будет через два-три месяца...

АКСЕЛЬ. Одним словом, несчастливцы.

ЭДНА. Пожалуй, так.

АКСЕЛЬ. А вы? Вы одна?

ЭДНА. Пока вместе с отцом. Вернее, отчимом. Я для него своего рода капитал...

АКСЕЛЬ. Каким образом?

ЭДНА. Привожу ему клиентов... Чем только не занималась я — с четырнадцати лет...

АКСЕЛЬ. Почему же вы не убежали от него?

ЭДНА. Я так и сделаю. Он ничего не подозревает. Но только мы доберемся, как он меня не увидит больше.

АКСЕЛЬ. Сколько вам лет?

ЭДНА. Восемнадцать.

АКСЕЛЬ. А вы не боитесь?

ЭДНА. Нет. Я уже столько повидала на своем веку, что легко разбираюсь в людях. У меня есть точный план. Год я проработаю на фабрике, пообвыкну. Потом стану продавщицей. И никого не подпущу к себе, пока не буду уверена, что это хороший человек.

АКСЕЛЬ. У вас тоже... смелые прожекты.

ЭДНА (*смеется*). Нет. Вполне обычные. А потом... ну, это я сейчас такая растрепа, а вообще я выгляжу как ребенок, так что никому не придет в голову меня обижать — если, конечно, на меня не натравит кого-нибудь мой отец.

АКСЕЛЬ. Да, это верно.

ЭДНА. А вы?

АКСЕЛЬ. Я?

ЭДНА. Откуда вы? Ваши родители еще живы?

АКСЕЛЬ. Нет... я тоже один...

МЕГЕРЛИН (*приближаясь*). Прошу прощения... Вы, может быть, знаете, когда... когда высадят этих людей?

АКСЕЛЬ. Нет, не знаю. Знаю только, что нам добираться еще примерно три дня...

Шум машин постепенно стихает.

Изменение акустики. На палубе.

ГРОВ. Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Да?

ГРОВ. Завтра утром мы в Вилмингтоне.

БЕНГСТЕН. Да, я думаю, к часу.

ГРОВ. Вы все приготовили для сегодняшней ночи?

БЕНГСТЕН. Да.

ГРОВ. Если увидите моего сына, пришлите его ко мне.

Бьет корабельный колокол.

Изменение акустики.

А, Аксель, ты пожаловал ко мне в гости?

АКСЕЛЬ. Да, я подумал...

ГРОВ. Ну, ты вполне освоился здесь за две недели... Выпьешь?

АКСЕЛЬ. Да, спасибо.

ГРОВ. Это в общем-то не совсем удобно. (*Наливает вино в рюмки.*)

Когда матрос пьет с капитаном. Поэтому-то я и не приглашал тебя часто, чтобы люди не подумали, что я оказываю тебе предпочтение. Пойдут толки... А потом я не мог тебя найти в последние дни. Где ты пропадасшь, спишь, что ли?

АКСЕЛЬ. Да... иногда...

ГРОВ. Молодому человеку нужно спать больше.

АКСЕЛЬ. Твое здоровье, отец.

ГРОВ. Служба-то — нелегкая штука, а?

АКСЕЛЬ. Служба как служба...

ГРОВ. Постепенно привыкаешь и не к таким вещам. К бомбардировщикам, к подводным лодкам, к торпедам. А когда все минует и небо над тобой становится безобидным, как потолок, то тебе даже чего-то недостает. Без борьбы и опасности — жизнь довольно пресная штука. Как будто всю ночь играл по крупной — на тысячи, и вдруг, на тебе, к утру начинаешь играть уже даже не на деньги — на щелчки. А если ты целые годы сражался за отечество...

АКСЕЛЬ. Какое отечество ты имеешь в виду? Нашего очень быстро не стало.

ГРОВ. Любое, дело не в этом, главное — знать, кто ты, и на чьей стороне, и кто против тебя. Главное — знать противника, следить за ним, а при случае ударить по нему. Понимаешь?

АКСЕЛЬ. Нет. Там ведь тоже люди.

ГРОВ. Не люди, а враги. И слава богу, что люди, иначе как можно было бы их уничтожить. Важно поразить не броню или сталь, а именно людей. Они спрячутся за броней, как и ты, их рука лежит на гашетке, как и твоя, они хотят тебя уничтожить, как ты — их. Вот на море показалось неясное пятнышко — это они. Не успокаивайся до тех пор, пока пятнышко не исчезнет, пока их раскромсанные останки не пропадут под волнами — словно ничего на воде и не было. Вот тогда ты полон жизни до предела, ведь ты уцелел и живешь дальше. Вот так-то. Твое здоровье.

АКСЕЛЬ. Твое здоровье.

ГРОВ. А ты ничего этого не испытал...

АКСЕЛЬ. Только оборотную сторону всего этого. Лагеря для беженцев, вши, бомбы, голод...

ГРОВ. Ну да... ты ведь был еще маленьким.

АКСЕЛЬ. В лагере можно было завербоваться. Тогда кормили лучше. Но я предпочел **голодать**.

ГРОВ. Поэтому-то в тебе что-то жалкое...

АКСЕЛЬ. То есть?

ГРОВ. Не внешне. По-моему, тебе чего-то не хватает.

АКСЕЛЬ. Жалкое?

ГРОВ. Ну да — оттого, что ты слишком долго голодал. Это не проходит бесследно.

АКСЕЛЬ. Ерунда, отец, чего мне может не хватать?

ГРОВ. Немножко энергии. Воли. Хочешь ли ты выбиться в люди? Или готов кое-как прозябать?

АКСЕЛЬ. Не знаю... В матросы я, собственно, пошел потому только, что представилась возможность.

ГРОВ. И вот ты плаваешь уже почти два года. Чему ты научился за это время?

АКСЕЛЬ. Немногому. Дранть палубу.

ГРОВ. Это умеет и уборщица. А еще? Что такое угломер, знаешь?

АКСЕЛЬ. Приблизительно.

ГРОВ. Умеешь им пользоваться?

АКСЕЛЬ. Нет.

ГРОВ. Приблизительно!.. Что такое зенит, знаешь?

АКСЕЛЬ. Нет.

ГРОВ. Азимут? Рекогносцировка?

АКСЕЛЬ. Нет. Нет.

ГРОВ. Но рулевым ты уже был?

АКСЕЛЬ. Да, несколько раз.

ГРОВ. Ну, и как ты справлялся?

АКСЕЛЬ. Ничего, смотрел на компас.

ГРОВ. Норд-ост, три четверти норд. Держать курс. А еще? Никакого понятия. Норд-ост, три четверти норд.

АКСЕЛЬ. Не знаю... Чего ты, собственно, хочешь? Я делаю что требуется.

ГРОВ. Раз уж ты мой сын, ты бы мог попытаться стать настоящим парнем, каким я его себе представляю.

АКСЕЛЬ. Таким, как ты? Это ты хочешь сказать?

ГРОВ. Положим. Вот я весь перед тобой, смотри, спрашивай, учись верно смотреть на вещи.

АКСЕЛЬ. Кстати, я действительно хотел тебя кое о чем спросить.

ГРОВ. Валяй, мой мальчик, спрашивай.

АКСЕЛЬ. В трюме заперты семь человек...

ГРОВ. Кто тебе сказал об этом?

АКСЕЛЬ. Я сам там был.

ГРОВ. Да? Ты что, вынюхивал?

АКСЕЛЬ. Совершенно случайно...

ГРОВ. Так вот: тебе нет дела до этих людей.

АКСЕЛЬ. Я только хотел спросить, знаешь ли ты об этом?

ГРОВ. Еще бы! Думаешь, кто-нибудь осмелится обделывать свои делишки у меня за спиной? Когда ты там был?

АКСЕЛЬ. В первый раз...

ГРОВ. Ты что, был там несколько раз? Что ты там делал?

АКСЕЛЬ. Несколько раз.

ГРОВ. Да зачем? Что тебе этот сброд?

АКСЕЛЬ. Они спят на голом полу. Ты был внизу? Знаешь этих людей?

ГРОВ. Нет. Не знаю. И знать не хочу. И запрещаю тебе там появляться.

АКСЕЛЬ. Почему же?

ГРОВ. Это подонки. Плесень, сброд.

АКСЕЛЬ. Мне было их жалко. Они даже не знали, на каком корабле они находятся.

ГРОВ. И ты им сказал?

АКСЕЛЬ. Конечно. Почему бы и нет?

ГРОВ. Что ты им сказал? Точно?

АКСЕЛЬ. Да ничего особенного. Только что судно называется «Эсперанца» и держит курс на Вилмингтон...

ГРОВ. Идиот! Ты даже не соображаешь, что ты наделал!

АКСЕЛЬ. Ну почему бы им в конце концов не знать...

ГРОВ. Почему? Ну, а если хотя бы одного из них застукают на границе? Документы? Нету. Откуда вы? И он выложит карты.

Так и так, «Эсперанца», тогда-то и тогда-то. И в следующем порту полиция уже будет ждать нас.

АКСЕЛЬ. Не такие уж это большие неприятности по сравнению с положением этих людей.

ГРОВ. Ты не понимаешь, что говоришь. Из-за каких-то проходимцев я должен рисковать судном и головой!

АКСЕЛЬ. Но ведь они заплатили тебе, эти проходимцы?

ГРОВ. Знаешь что...

АКСЕЛЬ. Так что ты выглядишь тут не многим лучше, чем какой-нибудь проходимец...

ГРОВ. Аксели!

АКСЕЛЬ. Я ждал тебя летом тридцать седьмого года. Если б я знал, что ты не на далеких морях, а всего-навсего в камере...

ГРОВ. Аксели!

АКСЕЛЬ. Это ведь все знают! Зачем же ты скрывал от меня?

ГРОВ. Портовая сплетня! И ты осмеливаешься — мне в лицо!..

АКСЕЛЬ. Значит, это ложь?

ГРОВ. Конечно.

АКСЕЛЬ. И ты не был...

ГРОВ. Нет!

АКСЕЛЬ. ...в тюрьме?

ГРОВ. Нет. То есть... Расследование-то было.

АКСЕЛЬ. Значит, все-таки был.

ГРОВ. Кто-то оклеветал меня... Но потом я был реабилитирован.

АКСЕЛЬ. Что это такое?

ГРОВ. Ну, моя репутация была восстановлена.

АКСЕЛЬ. Репутация...

ГРОВ. Конечно. Разве иначе я получил бы патент?

АКСЕЛЬ. Да уж представляю себе...

ГРОВ. Что?

АКСЕЛЬ. Как ты выкарабкался к своему патенту. Ты ведь такой осмотрительный. Тебя не поймаешь.

ГРОВ. Ну, знаешь ли...

АКСЕЛЬ. И тебя-то я ждал — годы! Теперь мне тебя почти жалко. От былого великолепия не осталось и следа.

ГРОВ. Ну, ты прямо ребенок еще! Если тебя задевает такая чепуха... Спроси вот у твоих друзей из трюма, на что похожа тюрьма.

АКСЕЛЬ. Им просто не повезло.

ГРОВ. Не повезло, это уж точно! А тебе самому? Хочешь ли ты остаться таким...

АКСЕЛЬ. Я хочу взять расчет — в ближайшем порту.

ГРОВ. Вот как.

АКСЕЛЬ. Завтра.

ГРОВ. Завтра в Вилмингтоне, да?

АКСЕЛЬ. Да. В Вилмингтоне. Я не останусь на твоём судне.

Гров смеется.

И не подумаю остаться!

ГРОВ. Какой же ты еще дурак!

АКСЕЛЬ. Мне все равно, за кого ты меня принимаешь.

ГРОВ. Если думаешь, что матрос без визы может взять расчет в чужой стране.

АКСЕЛЬ. Об этом я не подумал.

ГРОВ. Ну вот теперь ты знаешь. И я требую, чтобы ты остался. И образумился. Понял?

АКСЕЛЬ. Я не хочу.

ГРОВ. Ты мужчина, а не престарелая тетушка. А жизнь — не чистые сферы, по ней не пропорхаешь на ангельских крылышках. Мы плаваем в дерьме и выкарабкиваемся наверх, чтобы не задохнуться и не утонуть, а не испачкавшись, выкарабкаться невозможно.

АКСЕЛЬ. Поэтому нужно воровать? Поэтому нужно грабить несчастных, когда они в безвыходном положении? Ощипать их, как курицу, и высадить на чужой берег — делай что хочешь. Я так не могу. Ты мне противен.

Хлопает дверь. Потом шаги — назад и вперед.

ГРОВ (*сам с собой*). Он даже не знает, какую кашу заварил. Глупо. Очень глупо. Экий несмышлениш... Бенгстен? Заходите.

Открывается дверь.

БЕНГСТЕН. Я вам нужен, капитан?

ГРОВ. Послушайте, Бенгстен... Люди в трюме заперты?

БЕНГСТЕН. На задвижку.

ГРОВ. Повесить замок. Немедленно.

БЕНГСТЕН. Стоит ли? Осталось несколько часов.

ГРОВ. Повесить замок, я сказал.

БЕНГСТЕН. Слушаюсь.

ГРОВ. И... сегодня ночью...

БЕНГСТЕН. Доставить их на берег?

ГРОВ. Нет.

БЕНГСТЕН. А как же?

ГРОВ. Дело в том, что они знают, кто мы.

БЕНГСТЕН. Ах так. Ну, значит, как прежде.

ГРОВ. Да, как всегда. Возьмите это на себя.

Изменение акустики. На палубе. Корабельный колокол бьет два раза.

БЕНГСТЕН. Круха!

КРУХА. Да, господин Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Сегодня ночью вы можете заработать свои пятьдесят долларов.

КРУХА. Да, но на этот раз все не так просто. Среди них есть женщина. Я скажу: плывите, а вдруг она вообще не умеет плавать?

БЕНГСТЕН. Вот что, Круха. В двенадцать часов мы проходим большую отмель. В одиннадцать самый большой отлив, но в полночь еще довольно много земли остается над водой. Отмель очень похожа на сушу, а на самом деле до берега еще двадцать миль.

КРУХА. Ну, и как быть?

БЕНГСТЕН. Там их и можно высадить.

КРУХА. Высадить?

БЕНГСТЕН. Отмель ведь похожа на сушу. Под ногой у них будет земля.

КРУХА. Понимаю. Должно быть, мокрая.

БЕНГСТЕН. Дно выступает во время отлива часа на два на поверхность. А потом опять опускается метра на четыре под воду.

КРУХА. А-а...

БЕНГСТЕН. Ясно?

КРУХА. Да, господин Бенгстен. А луны не будет?

БЕНГСТЕН. Нет. Ночь ожидается темная, тихая. В двенадцать погрузите людей на баркас и возьмете по прямой от «Эсперанцы». Тогда вы не пройдете мимо отмели.

КРУХА. Они выгрузятся у меня с удобствами, даже ноги не замочат. А пока сообразят, что к чему, я успею отчалить подальше. Все будет в ажуре.

БЕНГСТЕН. Отвожу на операцию минут двадцать пять.

КРУХА. Будет сделано.

Корабельный колокол бьет восемь раз.

Изменение акустики. Шум котлов.

ГРОВ. Двенадцать.

БЕНГСТЕН. По карте мы сейчас как раз в том самом месте.

ГРОВ. Итак...

Шум стихает.

Убрать всякое освещение!

Щелкает выключатель.

Вот так. Темно, как в мешке. А смогут они в такой темноте спустить баркас на воду?

БЕНГСТЕН. Как тихо сегодня.

ГРОВ. Темно, тепло, тихо — ночь прямо бархатная. Где мой сын?

БЕНГСТЕН. Я велел ему очистить цепи от ржавчины... Слышите?

Три удара молотком. Пауза, потом вновь три удара.

Работы там хватит. Провозится до утра, до конца своей смены.

ГРОВ. Это вы хорошо придумали. А-а, кажется, идут..

БЕНГСТЕН. Пойти посмотреть?

ГРОВ. Нет, оставайтесь на мостике. Круха сам справится.

Изменение акустики. Шаги по трапу.

КРУХА. Да не стучите вы так, всю команду разбудите. Тише. Вот так. Все здесь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Ну, давайте, вниз, за мной, по очереди спускаться в баркас.

Шаги, невнятные приглушенные голоса.

Тише. Не болтайте.

Внезапный шум мотора на баркасе. Шум удаляется.

Изменение акустики. Три удара молотком. Пауза. Потом вновь три удара.

ГРОВ. Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Да?

ГРОВ. Слышите? Кажется, возвращается.

БЕНГСТЕН. Что-то очень уж быстро.

ГРОВ. Как это вам удалось заставить сына выполнять такую ненужную работу, да еще ночью?

БЕНГСТЕН. Очень просто. Я приказал ему выполнять ее в четыре. А потом велел Крухе поставить его к другим, красить шлюпки. Потом, в десять, встречаю вашего сына и спрашиваю, почему цепь еще не готова? Он говорит, красил лодки, на что я: вам было приказано не лодки красить, а очистить цепи от ржавчины, и раз вы не сделали это вовремя, то делайте теперь.

ГРОВ. Слишком уж он послушный. Работа ведь не авральная, да еще ночью.

БЕНГСТЕН. Во всяком случае, он ею занят.

Приближающийся шум мотора.

Ну вот, баркас и вернулся.

ГРОВ. Дело, стало быть, сделано.

Машины начинают работать.

Опоздание нетрудно будет наверстать. Но это в последний раз. Спокойной ночи, Бенгстен.

Корабельный колокол бьет четыре раза.

Заходите, Бенгстен. Вам тоже не спится? Этот проклятый стук.

БЕНГСТЕН. Сказать ему, чтобы кончил работать?

ГРОВ. Пусть продолжает. В наказание.

БЕНГСТЕН. Кого вы хотите наказать?

ГРОВ. Мальчишку, кого же. Мы тут с ним немножко поцапались. Пусть привыкает к тому, что у него есть отец. Какой никакой, а отец. А то распустился...

Стук.

Стучит, как постаревшее сердце... Натужно, неровно. Больное сердце в прогнувшем теле. Светает уже?

БЕНГСТЕН. Нет еще. Два часа только.

ГРОВ. Он с таким удивлением смотрел на меня. С вами бывает так, Бенгстен, что вдруг посмотришь на себя глазами другого человека? Попытаешься представить, что он о тебе думает, и вдруг оказываешься на его месте. Это длится всего мгновение...

БЕНГСТЕН. Вам бы нужно выпить, капитан.

ГРОВ. Думаете, я не пил? Но сегодня не действует. Жара такая, что все тут же выходит с потом — сколько ни пей. И сердце начинает давать перебои.

БЕНГСТЕН. Не нужно расстраиваться из-за пустяков, капитан.

ГРОВ. Он упрямый. Но мы с ним поладим. Он еще раскумекает своей головой: здесь ему «Эспанца», отец — а там что? Такими вещами не бросаются. Это и ребенку ясно.

БЕНГСТЕН. А зачем ему бросать!

ГРОВ. Не знаю... Иногда мне кажется, что он удерет в ближайшем порту. Как я его удержу? А ведь, кроме меня, у него никого нет.

БЕНГСТЕН. Никуда он не денется. Привыкнет.

ГРОВ. Не правда ли? Чуть повзрослеет, станем еще такими друзьями! Почему бы и нет, собственно?

Стук.

Слышите?

БЕНГСТЕН. Да, теперь слышу... Правда, похоже на сердце...

ГРОВ. Отдает в ушах... Мне все кажется, что это и есть мое сердце, мое дряхлое сердце.

БЕНГСТЕН. Глупости, капитан. Какой вы старик?

ГРОВ. Вы думаете? Может быть. Только бы прошла эта ночь, эта проклятая душная ночь. Наступит рассвет, и все изменится. А сколько наказывала меня жизнь, не спрашивая, не глядя... Каждый стремится сожрать каждого, но выживает более крепкий. Мальчишка не может, конечно, понять, что нужно быть твердым, если не хочешь, чтобы тебя сожрали. Не рассуждать, а действовать, а когда действуешь, все кажется правильным. Не правда ли, Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Что правда, то правда — думать нужно поменьше.

ГРОВ. Скажем, вы знаете, что где-нибудь в Кингае сейчас казнят какого-нибудь мошенника. Разве вы будете из-за этого хуже спать?

БЕНГСТЕН. Конечно, нет, капитан.

ГРОВ. Вот видите. А в чем разница? Что, собственно, произошло? Несколько мошенников погибло. Люди, которых я не знаю даже по имени, которых я никогда не видел, — нули, просто нули. Без лица, без имени, без голоса. Зачеркнутые нули. Ну, и что случилось? Да ничего. Мир не стал ни хуже, ни лучше.

БЕНГСТЕН. Скорее лучше, я бы сказал.

Шаги.

ГРОВ. В чем дело? Кто там?

Стук в дверь.

Что случилось?

МАТРОС. Господин капитан...

ГРОВ. Войдите. Что вам нужно?

МАТРОС. Один остался на судне.

ГРОВ. Что за один?

МАТРОС. Один мужчина. Я нашел его в трюме.

ГРОВ. А как вы оказались ночью в трюме?

МАТРОС. Я подумал, может, там осталось от них что-нибудь, что может пригодиться. Носки какие-нибудь, или сигареты, или кусок мыла.

ГРОВ. Ну и что же?

МАТРОС. Ну и увидел там человека, он возился с веревкой и плакал, хотел, видно, повеситься. Я отнял у него веревку. Но что теперь с ним делать?

ГРОВ. Где он?

МАТРОС. На палубе. Сидит на ящике и молчит, как воды в рот набрал.

ГРОВ. Пошли!

Дальнейший диалог — на ходу.

МАТРОС. Вхожу, а там тьма кромешная, слышу, кто-то ноет, как кошка. Смотрю, а это он. Я думал, что кошка забралась как-нибудь в трюм в последнем порту да сошла с ума — кошки иногда сходят с ума.

ГРОВ. Хватит болтать. Это он?

МАТРОС. Он.

ГРОВ. Ступайте и пришлите сюда Круху. Немедленно.

МАТРОС. Слушаюсь, господин капитан.

ГРОВ. Кто вы такой? Почему не покинули борт вместе с другими?

МЕГЕРЛИН. Мне вдруг расхотелось.

ГРОВ. Ну а теперь? Что вы собираетесь делать?

МЕГЕРЛИН. Мне все равно. Делайте со мной что хотите. Вы капитан?

ГРОВ. Да.

МЕГЕРЛИН. Можете выдать меня полиции.

ГРОВ. Я могу и просто выбросить вас за борт.

МЕГЕРЛИН. Ради бога. Мне все равно.

ГРОВ. Зачем же вы затевали всю эту волокиту?

МЕГЕРЛИН. Да, глупо. Я вдруг понял, что ни на что не гожусь.

ГРОВ. Нужно было раньше догадаться об этом.

МЕГЕРЛИН. Я пришел к этому там, внизу. Жарища и непрерывный шум — невыносимо.

ГРОВ. Значит, вам там не понравилось.

МЕГЕРЛИН. Здесь лучше. Здесь хоть можно дышать. Я очень сожалею, что доставил вам неприятности, господин капитан.

ГРОВ. А теперь спускайтесь опять в свою яму. Я подумаю, как с вами поступить.

МЕГЕРЛИН. Все небо в звездах. И кто так придумал...

ГРОВ. Что вы сказали?

МЕГЕРЛИН. Можно мне остаться здесь до утра?

ГРОВ. Если будете сидеть тихо...

МЕГЕРЛИН. Совершенно тихо. Буду смотреть на рассвет, никогда не видел, как встает солнце.

ГРОВ. Ну что ж, сидите.

МЕГЕРЛИН. Спасибо. У вас нет одеяла?

ГРОВ. Что??

МЕГЕРЛИН. Я бы укрылся, а то прохладно.

ГРОВ. Я велю вам принести одеяло.

Шаги.

(На ходу.) Десять минут назад он хотел повеситься, а теперь боится простудиться.

Бенгстен негромко смеется.

ГРОВ. Что вы смеетесь?

БЕНГСТЕН. Этот человек хотел покончить с собой. А теперь он единственный из всей семерки остался в живых.

ГРОВ. Да? Вы думаете, что остальные...

БЕНГСТЕН. Половина третьего. Вода поднялась там уже на несколько метров. Стоять на грунте им уже не удастся.

ГРОВ. Жалкий конец. Вода по колено, потом по грудь, поднимается все выше и выше, а кругом ни души и кричать бесполезно...

БЕНГСТЕН. А вот и Круха.

КРУХА. Господин капитан.

ГРОВ. Ведь это вы отвезили людей, Круха?

КРУХА. Так точно, господин капитан.

ГРОВ. Почему же вы недосмотрели?

КРУХА. То есть как недосмотрел?

ГРОВ. Вы их сосчитали?

КРУХА. Да.

ГРОВ. И все было точно?

КРУХА. Было темно, я не мог их рассмотреть. Но сосчитать их было нетрудно.

ГРОВ. Сколько же их было?

КРУХА. Семеро, конечно, господин капитан. Шесть мужчин и одна женщина.

БЕНГСТЕН. Получается, что вы плохо считали.

КРУХА. Когда ссаживал, пересчитал еще раз. Так что не знаю... Я уверен, что их было семь человек.

ГРОВ. Ладно, Круха, можете идти.

БЕНГСТЕН. Странно.

ГРОВ. Да. Что-то тут не так. Вам это тоже кажется странным, Бенгстен?

БЕНГСТЕН. Да, ничего не понимаю.

ГРОВ. А я все понимаю прекрасно.

БЕНГСТЕН. Да, капитан?

ГРОВ. Их было не семь, а восемь.

БЕНГСТЕН. Откуда? Я ведь сам их считал, когда брал на борт. И брал деньги... А, вы думаете...

ГРОВ. Я думаю, что вы хоть и отдали мне деньги за семерых, но забыли отдать за восьмого.

БЕНГСТЕН. Восьмого не было!

ГРОВ. Он проехал за ваш счет.

БЕНГСТЕН. Господин капитан...

ГРОВ. Вы знали, что я не стану смотреть на этот сброд и считать их. Знали, что я не замечу, если среди них будет лишний...

БЕНГСТЕН. Разумеется, я мог бы так поступить. Но я не сделал этого.

ГРОВ. Однако семеро высадившихся плюс один оставшийся даюг в сумме восемь, не так ли?

БЕНГСТЕН. Надо спросить у этого чудака. Он ведь должен знать.

ГРОВ. Конечно. Пойдемте.

МЕГЕРЛИН (*негромко насвистывает. Услышав шаги, перестает свистеть*). Пожалуйста, позвольте мне еще немного побыть здесь.

ГРОВ. Можете оставаться до рассвета, я же сказал.

МЕГЕРЛИН. До восхода солнца?

ГРОВ. До восхода. Но сначала объясните нам кое-что.

МЕГЕРЛИН. Там было ужасно внизу, невыносимо, господин капитан, сущий ад. Я просто не мог больше. А теперь... Теперь я чувствую себя совсем по-другому. Нельзя ли как-нибудь высадить меня на берег в порту?

ГРОВ. Что ж мне еще с вами делать?

МЕГЕРЛИН. Спасибо.

ГРОВ. Скажите, сколько человек было с вами в трюме?

МЕГЕРЛИН. Не знаю. Представьте, не знаю. Нужно подумать. Но это трудно... Не заставляйте меня, а?

ГРОВ. Все-таки попробуйте вспомнить. Сколько вас было?

МЕГЕРЛИН. Очень не хочется.

ГРОВ. Сколько?

МЕГЕРЛИН. Всего — семь.

БЕНГСТЕН. Конечно, семь, господин капитан.

ГРОВ. Послушайте, но ведь семь человек сошло с борта.

МЕГЕРЛИН. Ах да. Разве вы не знаете? Один был совсем не из наших.

ГРОВ. Что это значит?

МЕГЕРЛИН. Когда я сказал, что не хочу идти с ними, девушка спросила, серьезно ли я говорю, я сказал, что серьезно, тогда она сказала, что вместо меня пойдет другой...

ГРОВ. Кто?

МЕГЕРЛИН. Она не сказала. Только научила меня, как действовать. Когда мы поднимались по трапу, — а я шел последним, за девушкой, — наверху подошел ко мне какой-то человек и сказал, чтобы я возвратился. Ну и я возвратился. А этот человек пошел вместо меня. Мне тогда и впрямь не хотелось никуда идти, мне все надоело, мне было все равно... И я вернулся вниз. Но вот теперь — воздух такой чудесный...

ГРОВ. Не может быть... Бенгстен, это ведь не могло случиться...

Удары молотка.

Он ведь на борту, Бенгстен... Мой сын.

БЕНГСТЕН. Конечно, на борту. Возится с якорной цепью. Позвать его?

ГРОВ. Я пойду сам.

Удаляющиеся шаги.

МЕГЕРЛИН. Чудесно... Чудесно... Как будто вся жизнь изменилась. Бывают же такие мгновения, понимаете? Я сидел здесь среди огромной ночи, а кругом океан, такой же огромный, как ночь. Он жил, тихо шевелился в темноте, дышал мне в лицо легким, нежным ветром... и тут, понимаете, меня охватило такое чувство, что вся моя прежняя жизнь пуста и не имеет значения, важен только этот огромный мир, который мне дышит в лицо. Я всего-навсего маленький служащий, к тому же нечист на руку...

Его голос медленно пропадает.

Изменение акустики. Стук молотка и шаги. Стук приближается. Становится все громче.

ГРОВ. Аксель... Аксель...

Распахивается дверь. Сильный стук.

Аксель! Аксель!

Стук прекращается.

МАТРОС. Я не Аксель...

ГРОВ. Что вы здесь делаете? Где мой сын?

МАТРОС. Сбиваю ржавчину с цепи.

ГРОВ. А мой сын...

МАТРОС. Он попросил меня его подменить. Дал мне фунт табака. Это ведь не запрещается?

ГРОВ. Значит, его вообще здесь не было? Значит, это был не он?

МАТРОС. Нет, господин капитан, я работаю здесь с десяти часов...

Топот ног. Распахивающиеся двери. Эхо в коридорах.

ГРОВ (*кричит*). Аксель!.. Аксель!.. Аксель!.. (*Про себя.*) Это не может быть, это невозможно, чтобы Аксель... Аксель! Где ты прячешься, Аксель? Аксель!

Изменение акустики. Громкий стук машин.

БЕНГСТЕН. Что вы делаете, капитан?

ГРОВ. Назад. Скорее назад!

БЕНГСТЕН. Но это бессмысленно! Там, где была отмель...

ГРОВ. Через два часа мы будем на том месте.

БЕНГСТЕН. Там давно уже океан — глубиной метра в три.

ГРОВ. Молчите! Мы возвращаемся! Обыщем все кругом, будем искать весь день.

БЕНГСТЕН. Это безумие, капитан. Каждый час, каждая минута стоит нам...

ГРОВ. Мне плевать.

БЕНГСТЕН. А что скажет компания?

ГРОВ. Плевать!

БЕНГСТЕН. Да, но они... давно погибли!

ГРОВ. Молчите! Может быть, как раз сейчас земля уходит у них из-под ног. Может быть, он продержится...

БЕНГСТЕН. Никто не может продержаться так долго.

ГРОВ. Может быть... Может быть... Если идти на полной скорости...

БЕНГСТЕН. Это совершенно бесполезно...

ГРОВ. Но нельзя же так просто стоять и смотреть...

Шум машин.

МЕГЕРЛИН. Корабль повернул. Мы возвращаемся обратно? Замечательно... Темная вода... Темный корабль... Темное небо... Но оно становится все светлее. Скоро появится солнце — даже не верится, что на смену такой темени может прийти светлый день. Как я рад! Как будто вновь родился, и мир стал другим — чудесным, огромным...

Ильзе АЙХИНГЕР

Пуговицы

Голоса:

АНН
ДЖОН
РОЗИ
ДЖЕЙН
ДЖЕК
БИЛЛ
ПРОДАВЕЦ

Улица, сильный дождь.

ДЖОН. А сегодня ты опять слышала, Анн?

АНН. Да, как всегда. Незадолго перед уходом.

ДЖОН. А другие? Тоже слышали?

АНН. Джейн говорит, что со временем привыкаешь и ничего не слышишь. Она два года в отделе и уже почти не замечает шума. Розы тоже говорит, что сначала ужасно боялась. А теперь совсем нет.

ДЖОН. А ты?

АНН. Со мной будет так же — сначала я перестану бояться, а потом и слышать. И тоже все будет в порядке.

ДЖОН. Ты думаешь?

АНН. Джейн говорит, что жаловаться не стоит. В других отделах девушек без конца увольняют, и, если б мы выпускали пуговицы из ткани или слоновой кости, с нами было бы то же самое. И только потому, что у нас пуговицы красивые, нас еще держат. *(Поскольку Джон не отвечает — настойчиво)*. Джейн еще говорит, что без наших пуговиц предприятие давно бы закрылось, оно держится только благодаря нам.

ДЖОН. И поэтому вы не смеете спросить, почему трещит эта стена?

АНН. Не стена, Джон, а за стеной. Розы говорит, что это, наверно, как-то связано с производством. Но лучше не спрашивать, а то старик подумает, что мы собираемся туда пробраться.

ДЖОН. Хотел бы я при случае посмотреть на эти пуговицы.

АНН. Они красивые. И блестят как-то особенно. Кажется, нажмешь — и раздавишь, и брызнет сок, как из фруктов, но они твердые. И все какого-то необыкновенного цвета — словно смесь всех цветов. И любая стоит больше моей зарплаты. *(Через мгновение.)* Но взять их домой нельзя, даже если б на следующий день я их вернула обратно. Они бы сразу заметили.

ДЖОН. Тогда я куплю одну из них, Анн, и подарю тебе.

АНН. Нет, мне не нужно. Мне бы казалось, что я взяла что-то чужое.

ДЖОН. Что-то чужое?

АНН. Да еще стоящее целой недельной получки.

ДЖОН. Как бы я хотел, чтобы тебе вообще не нужна была больше эта получка, Анн! Чтобы тебе не нужно было туда ходить.

АНН *(задумчиво)*. Я бы тоже хотела..

ДЖОН. Дождь кончается, пошли!

АНН. Знаешь, Джон, этот шум за стеной совсем не похож на дождь, скорее, на град или на треск горящих поленьев.

На фабрике. Шум за стеной.

АНН. Опять!

РОЗИ. А я уже совсем не слышу. Привыкнешь и ты.

АНН. Если б я даже проработала здесь десять лет, я бы все равно боялась.

РОЗИ. Сначала так все думают. Еще месяц назад я бы не поверила, что перестану бояться.

ДЖЕЙН. Посмотрите, что будет через два года! Я думаю, вы испугаетесь, если шум вдруг прекратится.

АНН. А вначале?

ДЖЕЙН. Уж и не помню, как все было. *(Зевает.)*

АНН. Но ведь можно у кого-нибудь спросить. Может быть, все очень просто.

ДЖЕЙН. Возможно.

АНН. Может быть, даже Билл или Джек обо всем знают. Раз уж они входят в администрацию.

ДЖЕЙН. Конечно, они все знают. По-видимому, это как-то связано с производством.

АНН. А ты ни разу их не спросила, Джейн? За эти два года?

ДЖЕЙН. Это меня не касается. Производство засекречено, я не хочу, чтобы меня уволили.

РОЗИ. Ты ведь в хороших отношениях с Биллом?

ДЖЕЙН. И хочу их сохранить.

РОЗИ. Может быть, там обжигают пуговицы?

ДЖЕЙН. Может быть.

РОЗИ. Или просеивают. У нас давно не было новой модели, Джейн.

ДЖЕЙН. Последняя была, когда я только что пришла.

РОЗИ. Элизабет.

АНН. Голубая?

ДЖЕЙН. А до нее были Сивилья и Вернон.

АНН. И ты работала здесь одна?

ДЖЕЙН. Пока не появилась Роза.

АНН. И ты не боялась, Джейн? Когда услышала в первый раз?

ДЖЕЙН. Билл сразу составил мне компанию, а потом Джек. Нет, по-моему, не боялась.

АНН. Даже в самый первый раз?

ДЖЕЙН *(задумчиво)*. В первый раз?

Другое помещение.

БИЛЛ. Вы — новенькая?

ДЖЕЙН. Я? Кажется, да.

БИЛЛ. Вам повезло.

ДЖЕЙН. Мне вообще везет.

БИЛЛ. В других отделах увольняют, а здесь...

ДЖЕЙН. А здесь что, особый отдел?

БИЛЛ. Да, драгоценных пуговиц. По-моему, он продержится дольше всех. Но вам ничего особенного делать не придется. Просто — сортировать пуговицы и потом считать их.

ДЖЕЙН. Красивые пуговицы.

БИЛЛ. У каждой из них свое имя. Это вот Вернон. Это — Элизабет. Здесь ящики, в которые их нужно складывать.

ДЖЕЙН. Надеюсь, я быстро освоюсь.

БИЛЛ. Тем лучше. Меня зовут Билл, я представитель фирмы.

ДЖЕЙН. Меня зовут Джейн.

БИЛЛ. Что ж, будем друзьями, Джейн!

ДЖЕЙН. Я надеюсь.

БИЛЛ. Нам часто придется иметь дело друг с другом.

Акустика прежнего помещения. За стеной шум.

ДЖЕЙН. Что это было?

АНН. Теперь ты испугалась, Джейн!

ДЖЕЙН. Мне вспомнился весь мой разговор с Биллом. Когда я только пришла.

РОЗИ. Когда я пришла, меня принимал Джек.

ДЖЕЙН. А говорил, должно быть, то же самое.

АНН. Почему здесь так жарко? У меня иногда даже голова кружится.

РОЗИ. Такая жара здесь от электрических печей.

ДЖЕЙН. Радуйтесь, что хоть тепло.

АНН. И куда только девается эта прорва пуговиц, что старик делает с ними?

ДЖЕЙН. Стоит ему продать хоть одну, как он уже может долго жить на вырученные деньги.

АНН. И откуда они берутся?

На улице.

ДЖОН. А из чего их делают, Анн?

АНН. Из пряжи, черепахи, слоновой кости.

ДЖОН. Я имею в виду те, что в вашем отделе.

АНН. Если б я знала!

ДЖОН. Но ведь ты их берешь в руки тысячу раз в день.

АНН. Я знаю только, из чего они не сделаны.

ДЖОН. Но с чем-то их можно сравнить. С деревом или стеклом...

АНН. Чувство такое, как будто я срываю красные вишни с дерева, а они все твердые. Хочется согреть их во рту, чтобы они снова стали вишнями, но нельзя, нужно считать. Но я говорю глупости. Джейн сегодня очень устала, и я вот тоже.

ДЖОН. А если это не глупости?

АНН. Но мы должны радоваться...

ДЖОН. Я предпочитаю радоваться, когда не должен.

АНН. Ах, боже мой, Джон!

ДЖОН. Ты какая-то другая сегодня. И лицо у тебя другое.

АНН. Да, потемнело. Исчез и тот свет, что был.

ДЖОН. Ну пошли. Анн,хвати завтра с собой одну пуговицу — ладно, Анн?

Акустика фабричного помещения.

РОЗИ. Мэри, Маргарет, Вернон, Мэри, Мэри, Мэри...

АНН. Розы, прекрати.

РОЗИ. Я только считаю вслух.

АНН. Считай про себя.

РОЗИ. Почему?

АНН. Потому что так выходит, что ты кого-то зовешь. Точно так же ты могла бы говорить: Анн, Анн, Анн...

РОЗИ. Анн, Анн, Анн...

ДЖЕЙН. Почему бы и нет?

АНН. Или Джейн.

РОЗИ. Джейн, Джейн...

АНН. Ну что ты слушаешь, Джейн? Запрети ей!

ДЖЕЙН. Джейн. Звучит неплохо.

РОЗИ. Уже без пяти шесть.

ДЖЕЙН. Подай мне зеркало, Анн!

РОЗИ. А ты симпатичная, Джейн.

ДЖЕЙН. Ах, перестань, Розы.

РОЗИ. Правда, она сегодня хорошо выглядит, Анн?

АНН. По-моему, она как-то изменилась.

ДЖЕЙН. Выходит, в другое время я не такая симпатичная? Ты не очень любезна, Анн...

АНН. Я не то хотела сказать. Но сегодня ты какая-то особенно... гладкая.

ДЖЕЙН. Гладкая?

АНН. И волосы все прилизаны, ни один не топорщится.

ДЖЕЙН. А почему они должны у меня топорщиться?

АНН. То есть ветер их совсем не треплет.

ДЖЕЙН. Но раз нет никакого ветра?

РОЗИ. У Анн они развеваются и в безвоздушном пространстве.

АНН (*испуганно*). В безвоздушном пространстве — вот слово, Джейн.

Ты выглядишь так, будто ты в безвоздушном пространстве.

РОЗИ. Не слушай ее, ты выглядишь нормально.

АНН. Словно в безвоздушном пространстве...

ДЖЕЙН. Я была бы довольна, если б оказалась там.

РОЗИ. Ты что-то сказала, Анн?

АНН. Нет, ничего. Я... я бы не хотела навсегда оставаться такой, как есть.

Часы бьют шесть раз.

Нельзя отпереть дверь? Здесь дышать нечем.

РОЗИ. Ты можешь уже выйти на воздух, Анн. Бьет шесть часов.

АНН. И без тебя знаю!

ДЖЕЙН. Не ссорьтесь! Мне так хорошо сегодня.

РОЗИ. И Биллу ты нравишься, Джейн.

АНН. Это точно.

РОЗИ. Закрой только дверь за собой, Анн!

Дверь закрывается.

ДЖЕЙН. Я так устаю, Рози. Все бы ничего, но от этого глаза становятся такими маленькими.

РОЗИ. Ну, пока ты еще вполне...

ДЖЕЙН. К приходу Билла они у меня совсем слипнутся.

РОЗИ. Ничего, когда он придет — они раскроются.

ДЖЕЙН. Да уж скорей бы. Я бы тогда просто легла спать.

РОЗИ. Ну, я пошла, Джейн.

ДЖЕЙН. Рози!

РОЗИ. Хочешь еще что-нибудь?

ДЖЕЙН. Когда устаешь, все начинает казаться таким маленьким.

РОЗИ. А ты поспи до прихода Билла.

ДЖЕЙН. По-моему, даже губы у меня уменьшаются, губы и глаза...

РОЗИ. Поспи, тебе никто не помешает. *(Открывает дверь.)*

ДЖЕЙН. Губы и глаза, но сомкнуть их невозможно. Когда я устаю, глаза уменьшаются, но не закрываются. И только ты увеличиваешься. Рози, ты прямо как великанша...

РОЗИ. Я оставлю дверь открытой, Джейн.

Слышно, как она уходит.

ДЖЕЙН. Нет больше двери, слышишь, Рози? У меня не закрываются глаза. Как будто застыли навсегда — маленькие и полуоткрытые, как две дырочки в голове...

Шаги на лестнице.

Это ты, Билл?

АНН. Нет, это я.

ДЖЕЙН. Почему ты вернулась?

АНН. Забыла шарф, а на улице ветер.

ДЖЕЙН. У меня глаза все меньше и меньше.

АНН. Не хочешь пройтись со мной немного, Джейн? Тебе будет полезно проветриться.

ДЖЕЙН-I. Я подожду Билла.

АНН. Тогда спокойной ночи.

ДЖЕЙН. Ты тоже величиной с дверь, Анн.

Слышно, как Анн уходит. Шум за стеной начинается и внезапно обрывается.

(Словно грезит.) А вот и ты.

БИЛЛ. Прохладный денек сегодня.

ДЖЕЙН. Ну и как шли дела?

БИЛЛ. Как всегда. Красивые разбирают, остальные нет.

ДЖЕЙН. А ты продавал бы только красивые, Билл.

БИЛЛ. Следовало бы. А где остальные?

ДЖЕЙН. У Розы свидание с Джеком, Анн, кажется, тоже ушла.

БИЛЛ. Ну а мы?

ДЖЕЙН. Я как-то странно чувствую себя сегодня.

БИЛЛ. Заболела?

ДЖЕЙН. Нет, но немного устала. Я чувствую себя странно хорошо, Билл. Какой-то по-особенному гладкой и круглой.

БИЛЛ *(удовлетворенно)*. Вот и славно, Джейн, и славно, что ты так себя чувствуешь!

ДЖЕЙН. И спокойствие полное.

БИЛЛ. Что же мы будем делать?

ДЖЕЙН. Что хочешь.

БИЛЛ. Куда-нибудь в музей?

ДЖЕЙН. Только не туда, где нужно смотреть.

БИЛЛ. Или на концерт?

ДЖЕЙН. И не туда, где нужно слушать.

БИЛЛ. Тогда остается только одно, Джейн.

ДЖЕЙН. Пожалуй.

БИЛЛ. И тогда уже все, Джейн?

ДЖЕЙН. Все, Билл.

БИЛЛ. Тогда ты наша, Джейн.

ДЖЕЙН. Они еще меньше, чем я думала.

Шум за стеной резко усиливается. На улице.

РОЗИ. Наконец-то ты идешь к нам, Джек. Мама уже два раза готовилась к твоему приходу, и все напрасно.

ДЖЕК. Сегодня она готовилась не напрасно, Роза.

РОЗИ. Веди себя запросто у нас, не смущайся, мои родители будут тебе очень рады. Они давно хотят познакомиться с человеком, благодаря которому я так переменялась.

ДЖЕК *(насмешливо)*. Переменялась?

РОЗИ. Все говорят, что я стала симпатичнее. Мама говорит, что раньше она не могла со мной нигде показаться, но теперь —

теперь я стала похожа на человека. С тех пор как познакомилась с тобой

ДЖЕК. Хорошо, коли так, Рози.

РОЗИ. Теперь со мной можно показаться. Правда. Почему ты не приходил к нам раньше, Джек?

ДЖЕК (*нетерпеливо*). Уж очень вы далеко живете.

РОЗИ. Эта дорога с каждым днем кажется мне все длиннее. Всего больше мне хотелось бы жить прямо на фабрике.

ДЖЕК. Да?

РОЗИ. И никогда не уходить с нее. Никогда не разлучаться с тобой. Каждый день я удивляюсь, что иду после работы домой.

ДЖЕК. В самом деле, зачем ты это делаешь?

РОЗИ. Нет, я серьезно, Джек. Ноги с каждым днем становятся тяжелее. Это начинается уже по дороге к метро, и потом, когда еду, а особенно когда выхожу и иду по мосту. А уж когда подхожу к дому...

ГОЛОС. Добрый вечер, Рози!

РОЗИ. И от людей я совсем отвыкла, Джек. Уже ни с кем не здороваюсь. Никого не хочу знать, кроме тебя.

ДЖЕК. Это славно, Рози.

РОЗИ (*задыхаясь*). А здесь я всегда начинаю задыхаться. И уже никаких сил — вот здесь, Джек.

ДЖЕК. Пришли?

РОЗИ. Нет, у этого почтового ящика я всегда отдыхаю, вот так облакачиваюсь и кладу голову на руки.

ДЖЕК. Красивый ящик.

РОЗИ. Здесь я креплюсь изо всех сил, чтобы не броситься обратно, к тебе, Джек...

ДЖЕК. Да?

РОЗИ. К тебе и на фабрику. (*Пауза.*) Даже сегодня, хотя ты со мной. Даже сегодня мне хочется на фабрику.

ДЖЕК. Зачем же мы продолжаем наш путь?

РОЗИ. В самом деле, зачем?

ДЖЕК. И зачем тебе крепиться изо всех сил, когда все может быть так просто.

РОЗИ. У нас дома нет ничего особенного, и можно догадаться, что будет говорить мама. На окнах у нас цветочки, как у всех.

ДЖЕК. Представляю себе.

РОЗИ. И такие же, как у всех, занавески. Ничего особенного.

ДЖЕК. Я знаю.

РОЗИ. Идем обратно, Джек.

В комнате.

АНН. Я бы хотела, чтобы уже наступило утро, чтобы я вернула ее и чтобы никто не заметил, что я ее брала.

ДЖОН. Не трогай ее, Анн!

АНН. Почему?

ДЖОН. Потому что я не хочу, чтобы ты ее трогала.

АНН. За день знаешь сколько пуговиц мне приходится взять в руки?

ДЖОН. А еще я хочу посмотреть, как она выглядит сама по себе.

АНН. Это довольно старая пуговица, сейчас у нас есть еще красивее. Но я взяла эту, потому что подумала, что так будет незаметней. Ее зовут Вернон.

ДЖОН. Вернон...

АНН. Новых всегда бывает мало, а этих полно. Иногда зачерпнешь целую горсть в ящичке и попадутся одни Вернон. Правда, Элизабет тоже еще очень много. *(После паузы.)* Она выглядит здесь совсем по-другому, чем в ящичке. Джон, как бы я хотела, чтобы она была уже на месте!

ДЖОН. Будь я девушкой, я бы не стал пришивать ее себе на платье.

АНН. Ты ведь хотел подарить ее мне!

ДЖОН. Я хотел посмотреть на нее.

АНН. Включить свет?

ДЖОН. Еще достаточно светло.

АНН. Станный свет сегодня, как будто идет дождь,— но в самой комнате. И все так близко-близко, твое лицо, Джон, как будто ты подошел ко мне вплотную.

ДЖОН. Знаешь, почему это так?

АНН. А глаза и губы у тебя как будто совсем другие.

ДЖОН. Это из-за пуговицы.

АНН. Из-за пуговицы?

ДЖОН. От нее идет свет. Она блестит, как, по-моему, блестят кости.

АНН. А знаешь, как ты теперь выглядишь, Джон? Как будто твои губы, уши существуют отдельно. Как будто ты — это не ты, а твои губы, нос, уши. Как будто тебя совсем нет, Джон,— никогда не было!

ДЖОН. Включи свет, Анн!

Акустика фабричного помещения.

АНН. Мэри, Сузанна, Вернон, Глэди, Маргарет...

РОЗИ. Что-то Джейн не идет.

АНН. Может быть, заболела.

РОЗИ. Разве что очень сильно. В последнее время она как-то очень привязалась к фабрике.

АНН. К Биллу.

РОЗИ. Билл и пуговицы — это почти одно и то же.

АНН. Ты думаешь?

РОЗИ. Я это прекрасно понимаю, Анн, потому что со мной происходит то же самое. В воскресенье я скучаю по пуговицам, так же, как по Джеку, когда он работает в воскресенье. Джек и пуговицы...

АНН. Я бы не хотела сказать: Джон и пуговицы.

РОЗИ. Так ведь Джон не работает здесь.

АНН. Нет.

РОЗИ. А если б работал?

АНН. Он никогда бы не стал здесь работать.

РОЗИ. Почему? Ему здесь было бы неплохо.

АНН. Он предпочитает дожидаться, когда в доке будет работа.

РОЗИ. Подожди, Анн. Пройдет еще немного, и ты тоже будешь в воскресенье скучать по пуговицам.

АНН. Для этого должна пройти вечность.

РОЗИ (*смеется*). Вечность!

АНН. Без четверти пять, Розы. Джейн наверняка не придет.

РОЗИ. Я пойду, Анн. Сегодня я хочу уйти раньше. Джек хотел...

АНН. Иди, иди.

РОЗИ. Ты тоже не задерживайся.

АНН. Час быстро пройдет.

РОЗИ (*в дверях*). И не бойся! (*Ее шаги удаляются.*)

АНН. Мэри... Сюзанна... Вернон... Глэди... Маргарет... Мэри... Сюзанна... (*Бросает пуговицы.*) Хватит. Не хочу больше. Надоело. (*Открывает дверь.*) Это ты, Розы?

Приближаются шаги.

Здесь кто-нибудь есть?

БИЛЛ. Только вы, как я вижу.

АНН. Я так испугалась, Билл, я думала...

БИЛЛ. Все ясно. Джейн не пришла?

АНН. Нет.

БИЛЛ. Заболела?

АНН. Я думала, вы знаете...

БИЛЛ. Все-то вы думаете, Анн! Это скверная привычка. Разве некому вас от этого отучить?

АНН. Я рада этой привычке.

БИЛЛ. Жаль. А я уж хотел вызваться...

АНН. Наверно, Джейн заболела.

БИЛЛ. Да. Очень может быть. (*Насвистывает.*) Здесь Вернон попала в ящик с Глэди.

АНН. Вернон?

БИЛЛ. Будьте внимательнее, Анн! Позавчера вечером не хватило одной Вернон, и нам пришлось перерыть всю мастерскую.

АНН. А она была здесь.

БИЛЛ. Не нужно слишком задумываться, когда вы считаете, Анн!
Что было бы, если б я думал, сбывая товар?

АНН. Я не буду думать.

БИЛЛ. Вот за это мы выпьем!

Часы бьют шесть раз.

АНН. Сегодня не удастся, Билл. Мне нужно идти.

БИЛЛ. Жаль. Следовало бы торжественно отметить такой день, когда вы присягнули не думать.

АНН. Мне пора.

БИЛЛ. Но, может, мы еще наверстаем? Может, завтра, Анн?

На улице.

АНН. Мы были одни с ним, Джон, кроме нас в мастерской не было ни души, но я так и не решилась у него спросить. (*После паузы.*) Даже не знала, как начать, не могла заикнуться. А потом я боялась, что он меня уволит.

ДЖОН. Я бы хотел, чтобы это уже произошло.

АНН. А что с нами тогда будет? Джейн тоже говорит, что из-за этого она и не решилась спрашивать.

ДЖОН. Мы сегодня пойдем к ней?

АНН. Прямо не знаю... Я даже не знаю номера дома. К тому же она живет у чужих. Будет ли ей это приятно? И потом я сама боюсь заболеть, разыскивая ее при такой погоде... Ведь это очень далеко отсюда.

ДЖОН. Я сегодня кое-что узнал, Анн. Возможно, скоро появится работа. После семи мне нужно будет зайти в управление.

АНН. Чтобы услышать, что пока ничего нет? А еще говоришь, чтобы я бросила свои пуговицы.

ДЖОН. И всегда буду говорить. Вот Джейн уже заболела.

АНН. Из-за этого тумана, из-за холода и снежной каши.

ДЖОН. Из-за жары и искусственного освещения.

АНН. Может быть, из-за того и другого, Джон. Но после этой грязи и сырого ветра мне даже приятно вспомнить о жаре и искусственном свете. И о том... Знаешь, что пришло мне в голову, Джон? Я попрошу Билла, чтобы он тебя тоже принял, а? Мне нужно уходить, а тебе устроиться к нам — упаковщиком, например. А потом мы бы вместе ушли.

ДЖОН. Подожди, дай мне еще раз сходить в управление.

АНН. Сходи, только я уже с тобой не пойду, мне надоело это ожидание работы. Билл говорит, что наши пуговицы — единст-

венный товар, их всегда будут покупать, даже когда все другие...

ДЖОН. Когда все другие разорятся. Всегда найдутся люди, которые будут нашивать ваши смешные побрякушки, сколько бы они ни стоили. И всегда найдутся такие, как ты, кто мирится с шумом за стеной и с искусственным светом.

АНН. Нужно подождать хотя бы, пока выздоровеет Джейн. Билл говорит, что, если она в течение трех дней не выйдет на работу, им придется нанять другую.

ДЖОН. Еще три дня. Итого будет неделя, то есть как раз получка...

АНН. Как раз одна пуговица.

ДЖОН. Вы для них дешевле пуговиц, Анн.

АНН (*смеется*). Нет, Джон. Мы им стоим ровно столько, сколько одна пуговица.

В мастерской.

БИЛЛ. Весьма сожалею, детки, но если так пойдет дальше, вам придется остаться здесь и на воскресенье.

АНН. На воскресенье?

БИЛЛ. Что делать. Всю эту гору нужно рассортировать и пересчитать.

РОЗИ. Мне все равно.

БИЛЛ. А вот Анн не очень-то согласна, да?

АНН. Хорошо, я останусь.

БИЛЛ. Не нужно уговаривать, Анн?

АНН. Нет.

БИЛЛ. Вот и хорошо, так всем будет лучше.

РОЗИ. Я рада, что в воскресенье мне не нужно сидеть дома.

БИЛЛ. Уж мы постараемся, чтобы вы могли скоротать время. Может, будет новая пуговица.

РОЗИ. О, как здорово! Это будет первая с тех пор, как я здесь работаю.

АНН. А если Джейн вернется еще до воскресенья?

БИЛЛ. Тогда, конечно, все будет иначе. Но честно говоря, я не очень верю, что она вернется. Кто не приходит до пятницы, тот не приходит и в воскресенье.

На улице.

ДЖОН. В воскресенье, Анн?

АНН. Да. Потому что нет Джейн.

ДЖОН. Но ведь мы с тобой собирались...

АНН. Я не могла иначе, Джон, раз другие...

ДЖОН. Кто — другие? Розы?

АНН. И Билл.

ДЖОН. Ах да, Билл. Что это я все время о нем забываю.

АНН. Если б ты работал у нас, мы бы и по воскресеньям были вместе.

ДЖОН. Как жаль, что я не работаю у вас.

АНН. Да, очень жаль.

ДЖОН. И никогда не буду работать. Как жаль, что я не хочу работать у вас, чтобы быть с тобой..

АНН. Не расстраивайся, Джон, это только на одно воскресенье. И все потому, что Джейн не пришла.

ДЖОН. А вечером? То есть сегодня вечером?

АНН. Мы собирались — они собирались пойти куда-нибудь выпить.

ДЖОН. Это тоже из-за того, что Джейн не пришла?

АНН. Ах, оставь меня в покое, Джон.

В кафе.

БИЛЛ. Вы все-таки пришли, Анн.

АНН. Да.

БИЛЛ. Я очень рад.

АНН. Но я пришла, Билл, потому что думала, что все другие тоже придут.

БИЛЛ. Да? А уж я надеялся, что вы пришли, потому что думали, что придут не все.

АНН. Ведь мы договорились...

БИЛЛ. И продолжаю надеяться... Но как бы там ни было, главное — что вы пришли. Выпьем за это?

АНН. Может быть, за новую пуговицу?

БИЛЛ. За новую пуговицу? Она будет только в воскресенье.

АНН. Тогда...

БИЛЛ. А сегодня выпьем за вас.

АНН. Не знаю, чем я заслужила...

БИЛЛ. Не знаете?

АНН. ...чтобы за меня пить.

БИЛЛ. Во всяком случае, вы мне дороже новой пуговицы. За ваше здоровье, Анн!

АНН. Билл...

БИЛЛ. Но вы не пьете.

АНН (*нерешительно*). А завтра...

БИЛЛ. Мы выпьем за новую пуговицу.

АНН. А потом?

БИЛЛ. Ну, что-нибудь да найдется.

АНН. За новые пуговицы?

БИЛЛ. За новые пуговицы.

АНН. И за новых Анн.

БИЛЛ. Как вам угодно.

АНН. Что ж, это меня даже радует. Как только представлю...

БИЛЛ. Не надо только ничего себе представлять.

АНН. Как только подумаю...

БИЛЛ. И ни о чем думать.

АНН. Как вспомню...

БИЛЛ. И вспоминать тоже не надо.

АНН. Правда, я так устала думать и вспоминать...

БИЛЛ. Теперь все будет иначе, проще.

АНН. Я бы хотела, чтобы так было. Иногда мне хочется быть совсем маленькой, Билл, такой маленькой...

БИЛЛ. Что я мог бы взять вас в руки?

АНН. Да.

БИЛЛ. Да?

АНН. Однако я очень опьянела.

БИЛЛ. И стали маленькой, Анн.

АНН. Мне нужно идти.

БИЛЛ. Такой маленькой, что не можете и шагу ступить!

Шаги.

ДЖОН. Вы здесь?

АНН. Джон!

ДЖОН. Пьете за новую пуговицу?

БИЛЛ. У нас ее еще нет.

ДЖОН. Я бы тоже хотел за нее выпить. И подержать в руках.

БИЛЛ. Еще рано.

ДЖОН. Очень жаль.

АНН. Останься, Джон!

ДЖОН. Нет, Анн. Я еще живой человек и могу двигаться. И воспользуюсь этим.

На улице.

АНН. А куда ты хочешь?

ДЖОН. Туда, куда не хочешь ты, ко всему, к чему тебя не тянет.

Может быть, к Джейн — чтобы только узнать, что с ней и почему восемь дней никто не удосужился спросить об этом...

Знаю, знаю, я отношусь ко всему слишком серьезно, а вы всего-навсего хотите развлечься и выпить. И какое мне вообще дело до шума у вас в мастерской?

АНН. Все оттого, что ты безработный, Джон. Каждый день ты беспокоишь меня, каждый день спрашиваешь об этом дурацком шуме, требуешь, чтобы я сходила к Джейн, хотя я могу заболеть из-за этого, требуешь, чтобы я бросила работу, когда все хотят развлечься и выпить. Вот найди сначала работу, а

потом посмотрим, что ты скажешь. Ступай в свой док или, если тебе нечего делать, к Джейн!

ДЖОН. Я и собираюсь это сделать, Анн, можешь не сомневаться.

БИЛЛ. Пусть идет, Анн.

АНН. Ах, Билл.

БИЛЛ. Теперь все будет совсем просто.

В мастерской.

АНН. И тогда он сказал: теперь все будет совсем просто.

РОЗИ. Я уже давно это говорю. А Джон что?

АНН. Не знаю.

РОЗИ. Он опять будет ждать тебя сегодня.

АНН. Но мне не хочется к нему спускаться. Правда, Розы, я бы лучше всего на всю ночь осталась здесь.

РОЗИ. И не боялась бы?

АНН. Нет. Теперь я больше боюсь идти домой, боюсь дождя, холода, Джона, который ровно в шесть стоит и ждет меня внизу.

РОЗИ (*смеется*). Может быть, дойдет и до того, что нам придется оставаться здесь на ночь.

АНН. Может быть.

На улице.

ДЖОН. Сегодня я опять был в управлении, Анн.

АНН. Ну и как?

ДЖОН. Все по-прежнему.

АНН. Ты бы мог не тратиться на дорогу.

ДЖОН. Я ведь не мог знать заранее, что так случится.

АНН. Мог, Джон.

ДЖОН. Больше не буду тратиться.

АНН. Давно бы так. А Джейн ты не хочешь проведать?

ДЖОН. Я ведь не знал номер ее дома, да и было поздно. А когда я вчера стал разыскивать ее, мне вдруг пришло в голову... Может, правда мне устроиться к вам, Анн,—упаковывать картонки или грузить...

АНН. Наконец-то, Джон.

ДЖОН. Мне бы теперь все подошло.

АНН. И ты бы быстро освоился.

ДЖОН. Мне действительно надоело торчать здесь целые дни и вечера без тебя...

АНН. Ступай же туда не откладывая!

ДЖОН. В понедельник. (*Нерешительно.*) Это будет так не скоро. Жаль, что нельзя пойти завтра же и помогать тебе, Анн. И все воскресенье мне придется быть одному.

АНН. Одно воскресенье, Джон, мы еще потерпим.

В мастерской.

РОЗИ. Как странно быть здесь в воскресенье. Правда, Анн?

АНН. Да, тишина необычная.

РОЗИ. Но я рада, что я не дома. Там тишина бывает еще ужаснее, когда мать ложится спать, а отец уходит гулять в зоопарк.

АНН. Я бы хотела знать...

РОЗИ. О чем ты?

АНН. Слышишь?

РОЗИ. Нет.

АНН. Это шаги внизу, на улице.

РОЗИ. Что ты хотела сказать?

АНН. Услышим ли мы и сегодня?

РОЗИ. Что?

АНН. Ну, что мы обычно слышим.

РОЗИ. Господи, ты все еще об этом, Анн!

АНН. Правда, я бы хотела знать, услышим ли мы это и сегодня.

РОЗИ. Почему бы и нет? (*Зевает.*) Скорее бы приходил Джек.

АНН. Еще только три часа.

РОЗИ. И Билл!

АНН. Что ты хочешь сказать, Роза?

РОЗИ. Ничего. Джек сказал, они собирались... Билл собирался принести сегодня новую пуговицу. Будто бы очень красивую, томатного цвета,

АНН. Да?

РОЗИ. Джек сказал, сначала казалось, что цвет будет земляничный, а получился — томатный. А форма продолговатая.

АНН. Хотела бы я знать, от чего это зависит, что пуговица становится не земляничного, а томатного цвета.

РОЗИ. Джек говорит, что, в сущности, это не важно. Продаются одинаково хорошо что те, что другие.

АНН (*устадо*). Ну, тогда все в порядке.

РОЗИ. А еще Джек сказал, что эта пуговица не последняя. Скоро появится много новых.

АНН. Как жарко. (*Открывает окно*). Опять, кажется, будет дождь.

РОЗИ. Это ты вспомнила о своем докере.

АНН. Оставь меня в покое.

РОЗИ. Уже оставила.

АНН (*сосредоточенно*). Мэри... Маргарет... Вернон...

РОЗИ. Все Мэри, Маргарет да Вернон, скорее бы уж нам получить новые пуговицы, Анн.

Шум за стеной.

АНН. Слышишь?

РОЗИ. Да. А звук, в сущности, приятный. В самом деле сегодня он мне очень нравится. С ним не так одиноко, и потом воскресенье становится похожим на другие дни.

АНН. Сегодня он длится дольше обычного.

Открывается дверь.

БИЛЛ. Привет, детки.

РОЗИ. Наконец-то, Билл.

БИЛЛ. Приятно видеть вас здесь в воскресенье. Как будто все мы — одна дружная семья.

АНН. День был такой длинный.

БИЛЛ. Нам нужно было дождаться соответствующего освещения. Для новой пуговицы.

АНН. Соответствующего освещения!

БИЛЛ. Вернее, соответствующей темноты. Чтобы вы лучше увидели, как она светится, как отливает томатным цветом.

АНН. Обычно в таких случаях дожидаются света. А когда в мастерской темно, подносят пуговицу к двери, чтобы уловить ею последний отблеск дня.

БИЛЛ. Бывает и по-другому...

АНН. Чтобы потом, при свете дня, не разочароваться.

БИЛЛ. Вы — мудрое дитя, Анн. Но есть вещи, в которых важно не разочароваться ночью. И эти вещи продаются, как правило, лучше других.

ДЖЕК. Пуговицы-брошки, например.

БИЛЛ. Вы еще узнаете это, Анн.

ДЖЕК. Как эта, например. *(Бросает пуговицу на стол.)*

РОЗИ. Новая пуговица?

БИЛЛ. Выпьем за нее? А также за тот день, когда вы обещали не думать, Анн. Вы должны его помнить.

РОЗИ. Какая красота!

БИЛЛ. То был знаменательный день.

АНН *(нерешительно)*. Красивая пуговица.

ДЖЕК. Да, она нам удалась.

БИЛЛ *(смеется)*. После стольких стараний!

АНН. Похожа на...

БИЛЛ. Я бы сказал, она похожа на пуговицу. Я все еще думаю, что это лучшее сравнение для пуговицы.

АНН. А их уже много?

РОЗИ. Да, у вас есть еще?

БИЛЛ. Ну, конечно, пуговиц всегда бывает много.

ДЖЕК. И все как одна! *(Бросает на стол горсть пуговиц.)*

РОЗИ. Смотри какие, Анн!

ДЖЕК. А вот еще!

БИЛЛ. На что они нужны, если их мало?

РОЗИ. Жаль, что Джейн не видит. Она так любит новые пуговицы, уж она-то в первую очередь должна бы их видеть.

БИЛЛ. Да, очень жаль. И что она вообще больше не придет.

АНН. Джейн больше не придет?

БИЛЛ. Нет, она больше не придет. По-видимому, ей порядком все надоело.

РОЗИ. Бедная, и надо же ей было как раз теперь...

БИЛЛ. Ну, выпьем? За Джейн?

РОЗИ. Я думала, мы должны выпить за новую пуговицу?

БИЛЛ. Пуговицу зовут Джейн.

РОЗИ. Как хорошо, Билл, Джейн бы так обрадовалась! Она теперь всегда будет с нами, хотя ее здесь больше нет!

ДЖЕК. За Джейн!

На улице.

ДЖОН. Вот ты где, Анн!

АНН. Да? Разве я здесь, Джон?

ДЖОН. Без сомнений. Так же близко и твердо, как...

АНН. Как пуговицы на твоём пиджаке.

ДЖОН. Пускай так. Как что-то, что всегда со мной, а если ты теперь станешь задерживаться, я останусь с тобой, а если будешь работать по воскресеньям, я буду работать рядом, хотя бы и ночью... что с тобой, Анн?

АНН. Со мной? Ничего.

ДЖОН. Ты сильно утомилась за эту неделю — еще бы, задерживаясь каждый день на работе, а вот теперь еще пришлось работать в воскресенье. Но теперь все пойдет на лад. *(После паузы.)* Я весь день сегодня ломаю голову и не могу понять, почему бы мне не работать у вас, почему я до сих пор не соглашался.

АНН. Из-за шума у нас в мастерской.

ДЖОН *(задумчиво)*. Из-за шума...

АНН. И потому, что тебе не все у нас нравится.

ДЖОН. Да, это верно.

АНН. И потому, что мы ждали новую пуговицу.

ДЖОН *(смеется)*. Не бог весть какое событие там, где изготавливают пуговицы, Анн!

АНН *(настойчиво)*. И потому, что Джейн не приходила.

ДЖОН. Не могу понять, почему еще три дня назад это меня волновало.

АНН. Сегодня у нас была новая пуговица, Джон. Томатного цвета.

ДЖОН. Томатного цвета?

АНН. Продолговатая. Кажется, из нее вот-вот брызнет сок, хотя она совершенно твердая. У нее уже есть свое имя.

ДЖОН. Как же ее зовут?

АНН. Джейн.

В мастерской.

Джейн, Джейн, Джейн, Мэри, Вернон... Если б я могла их согреть, положить на язык и согреть... *(Поспешно.)* Джейн, Джейн...

РОЗИ *(снизу)*. Анн!

АНН. Иду.

РОЗИ. Зачем ты закрылась?

АНН. Я пришла очень рано и боялась, что войдет кто-нибудь чужой, увидит пуговицы...

РОЗИ. Ты тоже из-за этого пришла раньше?

АНН. Из-за чего?

РОЗИ. Из-за новых пуговиц — посмотреть на них. Они мне снились всю ночь.

АНН. Мне тоже.

РОЗИ. А как они тебе снились, Анн? Мне — как низкий, низкий огонь в каких-то воронках, огонь все силился перебраться через край и не мог, и меня это радовало.

АНН. Радовало?

РОЗИ. Когда я проснулась, я подумала, что теперь у нас — сплошное, воскресенье. Потому что у нас теперь новые пуговицы.

АНН. Как это?

РОЗИ. Ну, как будто все в доме ушли в зоопарк, только мы тайком остались здесь и занимаемся своими пуговицами. Причем по доброй воле. А времени уже за четыре часа, и мы ждем Билла, и Джека, и темноты. И ничего не слышно, кроме редких шагов внизу.

АНН *(про себя)*. И ничто не напоминает о море. Даже колокольный звон церквушки в доке сюда не долетает.

РОЗИ. О чем ты, Анн?

АНН. Я говорю: четыре часа, в такое время не звонят даже по воскресеньям.

РОЗИ *(беззаботно)*. А все потому, что у нас новые пуговицы. Но зачем ты сложила их в кучу?

АНН. Хотела получше рассмотреть.

РОЗИ. Ты их не складываешь в ящик? *(Анн не отвечает.)* Как они блестят!

АНН. Сколько ты насчитала?

РОЗИ. Тридцать шесть. Завтра будет больше, Анн. А послезавтра...

АНН. Билл тоже говорит...

РОЗИ. А чем пуговица старше, тем их больше.

АНН. Да.

РОЗИ. Например, Мэри.

АНН (*нерешительно*). Я всегда представляю ее себе в зеленом платье, облокотившейся летним вечером на перила моста...

РОЗИ. А я представляю ее себе на зеленом платье — и на всех других тоже. Джек говорит, Мэри так много, что они сами удивляются, как смогли их продать. Их носят теперь во всем мире.

АНН. Меня это пугает.

РОЗИ. Что?

АНН. Что их так много и что их носят во всем мире. Что, как ни старайся, всех Мэри теперь не собрать в одну кучу, в одну зеленую гору.

РОЗИ. Это-то мне и нравится, Анн. Что их так много и они везде-везде. Что какая-нибудь женщина в платье с Мэри перегнулась сейчас через перила парохода где-нибудь в океане и смотрит в воду, а другая поднимается с ними в лифте, а третья снимает платье с Мэри в темной комнате и бросает его на кресло.

АНН. Прекрати.

РОЗИ. Почему?

АНН (*с отчаянием*). Потому что я не могу этого слышать. Потому что мне страшно, что кто-то распылен и разбросан по разным местам и не может снова собраться воедино, чтобы кто-то другой положил ей руки на плечи и сказал: Мэри! С ней этого никогда уже не будет.

РОЗИ. С кем не будет?

АНН. С Мэри. Она уже никогда не будет стоять на мосту и смотреть в воду, облокотившись на перила. Так же как и Джейн.

РОЗИ. Как и Джейн?

АНН. Да, как и Джейн никогда уже не выглянет в это окно, если мы не соберем ее и не согреем, — не оживим...

РОЗИ. Конечно, Джейн не выглянет больше в это окно. Потому что не придет сюда больше.

АНН. Джейн не выглянет и ни в какое другое окно.

РОЗИ. Почему же?

АНН. Потому что ее больше нет.

РОЗИ (*смеется*). Ее больше нет!

АНН. Нет нигде — ни здесь, ни там, ни на улице. И если ты услышишь, что кто-то идет, то это будут не ее шаги.

РОЗИ. Потому что она здесь не ходит.

АНН. И если услышишь, как по рельсам идут поезда, можешь быть уверена: ни в одном из них Джейн нет.

РОЗИ. Меня как-то мало волнует, где теперь Джейн.

АНН. Ее нет ни на пароходе, ни на лифте, ни в комнате, в которой она могла бы сейчас быть!

РОЗИ (*насмешливо*). Что же, она утонула?

АНН. И нет такого места на дне реки или моря, где она могла бы сейчас быть!

РОЗИ. Оставь меня в покое, Анн, я не хочу ничего знать.

АНН. Но очень возможно, что кто-то с Джейн на платье скоро перенесется через перила и будет смотреть в воду, а кто-то поедет с ней на лифте, а кто-то другой в темной комнате бросит на кресло платье с Джейн. Если их будет много!

РОЗИ. Чего же ты хочешь, Анн?

АНН. Собрать их.

РОЗИ. Собрать?

АНН. Согреть в наших руках, пока это возможно.

РОЗИ. А зачем?

АНН. Может быть, тогда вот эта гора томатного цвета исчезнет и Джейн снова выглянет в окно.

РОЗИ (*смеется*). Что за глупости, Анн!

АНН. Помогите мне! Сегодня их еще мало.

РОЗИ. А завтра?

АНН. Если будет много Джейн — Джейн больше не будет.

РОЗИ. А если тебе еще что-нибудь взбредет в голову, то не будет тебя — тебя просто уволят. Но это все от жары, жара ударила тебе в голову. Ступай на улицу! (*Видя, что Анн медлит.*) Я бы не стала ждать.

АНН. Я подожду до обеда.

На улице.

ДЖОН. Принеси Джейн домой, Анн!

АНН. Джейн?

ДЖОН. Все, что есть.

АНН. Не могу.

ДЖОН. А то их потом не собрать.

АНН. Если это обнаружится, меня уволят, а тебя никогда не возьмут к нам на работу.

ДЖОН. Ты должна это сделать, Анн, пока их так мало, что ты можешь их унести.

АНН. А если меня уволят?

ДЖОН. Не уволят.

АНН. А если у нас все равно ничего не получится?

ДЖОН. Тогда ты завтра отнесешь их обратно. Только не бойся, Анн!

В мастерской. Часы бьют четыре раза.

АНН. Четыре часа.

РОЗИ. Уже четыре!

АНН. По-моему, время еле ползет.

РОЗИ. По-моему, стоит — у меня такое хорошее настроение весь день. Как только подумаю, что все свертывают производство пуговиц, а мы увеличиваем! Везде закрывают предприятия, а у нас новые пуговицы. И какие пуговицы!

АНН. У нас не было бы никаких, если б не эти.

РОЗИ. И когда я смотрю на них, Анн, восемь часов как-то сами собой приближаются к двенадцати, двенадцать — к четырем, четыре — к шести! И ящики с пуговицами вдруг оказываются так близко, как будто я смотрю на них в бинокль или как будто в комнате идет дождь.

АНН. Я бы хотела, чтобы действительно пошел дождь. Но дождя не будет, будет такой шум, который поначалу кажется похожим на дождь.

Шаги на лестнице.

РОЗИ. Джек идет! И Билл.

АНН. А когда к нему привыкнешь, он становится похожим на шум пламени.

Дверь открывается.

ДЖЕК. А вот и мы.

РОЗИ. Джек!

БИЛЛ. Опять пришли вам мешать.

РОЗИ. Мне вы не мешаете.

БИЛЛ. Только Анн...

РОЗИ. Она говорит...

БИЛЛ. Мне показалось, речь шла о пламени.

РОЗИ. Она говорит...

АНН. Как блестят пуговицы!

БИЛЛ. Да, теперь их время. Но вы лучше не держите их открытыми, а то мало ли что может случиться.

АНН (*равнодушно*). Мы только собирались положить их в ящик.

БИЛЛ. Не стоит, я сейчас заберу их с собой.

АНН. Прямо сейчас?..

БИЛЛ. Это вас удивляет? Дело в том, что эти пуговицы уже давно заказаны. У вас, кажется, дрожат руки?

АНН. О нет.

БИЛЛ. Тогда ноги, Анн. Я точно видел.

АНН. Просто я их отсидела.

РОЗИ. Жаль, что вы уже забираете от нас пуговицы, на них было так приятно смотреть!

БИЛЛ. Скоро их будет так много, что и вам хватит.

АНН. Я думаю.

БИЛЛ. Что вы думаете, Анн?

АНН. Что скоро их у нас будет много.

РОЗИ. Анн тут говорила...

АНН. Ничего я не говорила.

БИЛЛ. У вас неважное настроение сегодня, Анн?

АНН. Устала просто — от воскресной работы.

БИЛЛ. Вам бы надо по-настоящему выспаться!

АНН. Да, но пуговицы...

БИЛЛ. Проспать долго-долго, Анн!

РОЗИ. Я ей это всегда говорю.

БИЛЛ. Спать и ни о чем не думать.

АНН. Да, возможно.

БИЛЛ. А проснувшись, думать только о собственных удовольствиях!

АНН. Да.

БИЛЛ. Послушайтесь меня, Анн! Пока вы еще молоды, а потом будет уже поздно.

АНН. Да, я знаю.

БИЛЛ. Хорошо, если бы вы действительно осознали это, Анн. Тогда бы я совсем успокоился и ушел — предоставил бы вам проводить оставшиеся два часа в одиночестве.

АНН. Вы можете спокойно идти.

РОЗИ. А пуговицы, Билл? Ведь вы хотели взять пуговицы.

БИЛЛ. Ах да.

ДЖЕК. Розы обо всем помнит.

БИЛЛ. О чем забывает Анн, не так ли? До завтра, детки.

АНН. Билл!

БИЛЛ. Да?

АНН. Я хотела спросить вас, можно... можно мне уйти сегодня пораньше?

БИЛЛ. Это не поощряется, Анн, вы знаете...

АНН. Я плохо себя чувствую.

БИЛЛ. Вы знаете, что вы особенно нужны теперь. И что многие хотели бы оказаться на вашем месте.

АНН. Ну, только сегодня...

БИЛЛ. Надеюсь, что это не повторится?

АНН. Конечно!

БИЛЛ. А то можно подумать, что вы отпрашиваетесь за воскресенье, Анн.

АНН. Да, я понимаю. Но вы сами сказали, что мне нужно выспаться.

БИЛЛ. Ну, тогда спите! Только не опаздывайте на работу завтра.

Дверь закрывается.

АНН. Ну, я пошла.

РОЗИ. Приятных сновидений!

АНН. Спасибо.

РОЗИ. И до завтра, Анн!

Дверь закрывается.

Хорошо, что ты здесь, Джек.

ДЖЕК. И что мы здесь одни.

РОЗИ. Я еще никогда так не радовалась твоему приходу.

ДЖЕК (*шутливо*). Никогда?

РОЗИ. Никогда, Джек.

ДЖЕК. Что-нибудь особенное сегодня?

РОЗИ. Ничего, только... только Анн меня немного напугала. Она говорит... Но все это пустяки. Теперь мне опять хорошо, как всегда.

ДЖЕК. Хорошо, коли так. А что ж Анн? (*Нетерпеливо*.) Что она сказала?

РОЗИ (*смеется*). Знаешь, о чем она говорила? О Джейн.

ДЖЕК. О Джейн?

РОЗИ. Она предложила мне собрать все Джейн, пока не поздно, собрать и согреть их в наших руках. А потом... (*Запинается*.)

ДЖЕК. Что потом?

РОЗИ. Потом она сказала, что тогда, может быть, эта гора томатного цвета исчезнет, а Джейн опять сможет выглянуть в окно.

ДЖЕК. Так и сказала?

РОЗИ. Да.

ДЖЕК. Потому-то она себя плохо чувствует?

РОЗИ. Может быть, а может быть, она это сказала, потому что плохо себя чувствует. Знаешь, мне кажется, это у нее от жары.

ДЖЕК. Наверняка.

РОЗИ. О чем ты думаешь?

ДЖЕК. Я думаю о том, что, слава богу, тебе вот от жары не приходят в голову такие мысли, Роззи!

РОЗИ. Мне они никогда не придут.

ДЖЕК (*нежно*). Хорошо, коли так.

Шум за стеной.

На улице.

ДЖОН. Я уж думал, ты больше не придешь, Анн.

АНН. Я тоже так думала.

ДЖОН. Я разговаривал с тобой мысленно.

АНН. Должно быть, я говорила о шуме?

ДЖОН. Да.

АНН. Я больше не буду говорить о нем, Джон.

ДЖОН. Что у тебя?

АНН. Ничего.

ДЖОН. А пуговицы?

АНН. У меня их нет. Но я не виновата, Джон. Я все продумала, как я их возьму, но тут пришел Билл.

ДЖОН. И что же?

АНН. И забрал их. Было около четырех. Я отпросилась и вышла вслед за ним. Это не Билл — вон там прошел?

ДЖОН. Нет, тебе померещилось.

АНН. Надо бы выпить, Джон!

ДЖОН. Зайдем сюда.

В портовом кабачке.

АНН. Я так и знала, что ничего не получится,— у меня весь день было такое чувство. И когда услышала на лестнице шаги Билла, и когда пошла за ним. Хотя его серое пальто и кепка были все время передо мной, мне чудилось, что это он идет за мной. Даже когда он вошел в магазин.

ДЖОН. В какой магазин?

АНН. «Пуговицы и брошки». Билл говорит, они держатся только благодаря нам, без нас они давно бы закрылись.

ДЖОН. Это он говорит обо всех магазинах.

АНН. Они торгуют оптом, Джон, и поэтому у меня есть еще надежда: я думаю, тридцати шести пуговиц все-таки слишком мало для оптовой продажи.

ДЖОН. Ну, а потом?

АНН. Потом Билл вышел и поехал по направлению к мастерской. А я вошла в магазин.

В магазине.

Добрый вечер.

ПРОДАВЕЦ. Добрый вечер, барышня.

АНН. Я насчет пуговиц...

ПРОДАВЕЦ. Которые мы только что получили?

АНН. Да, тридцать шесть штук.

ПРОДАВЕЦ. Совершенно верно. *(После паузы.)* Мы их долго ждали.

АНН. Я должна их забрать.

ПРОДАВЕЦ. Забрать?

АНН. Они не совсем обычные.

ПРОДАВЕЦ. Красивее предыдущих.

АНН. Нет-нет, они не совсем в порядке.

ПРОДАВЕЦ. Что же именно у них не в порядке?

АНН. Блеск.

ПРОДАВЕЦ. Насколько я мог заметить...

АНН (*поспешно, с отчаянием*). Сейчас это незаметно. Но на солнце они становятся тусклыми.

ПРОДАВЕЦ. Это и нужно.

АНН. Они блестят только ночью.

ПРОДАВЕЦ. Именно поэтому они в такой цене. Все ваши пуговицы блестят только ночью.

АНН. А эта должна была блестеть и днем.

ПРОДАВЕЦ. Тогда бы ее не стали покупать и у нас не было бы столько заказов. Ни на нее, ни на новые пуговицы.

АНН. На новые?

ПРОДАВЕЦ. Да, так и передайте, пожалуйста, начальнику. У нас уже полно заказов на них.

АНН. Хорошо, я передам.

ПРОДАВЕЦ. Условия прежние.

АНН. Конечно.

ПРОДАВЕЦ. Может быть, вы знаете, когда это будет? И имена мне еще неизвестны. Они сейчас в мастерской?

АНН. Этого я не могу вам сказать.

ПРОДАВЕЦ. Ну, тогда хоть передайте, что мы ждем.

АНН (*спохватывается*). Я все передам, отдайте мне только эти. Отдайте Джейн!

ПРОДАВЕЦ. К сожалению, я не могу этого сделать, даже если бы и хотел. На Джейн у нас столько заказов, что мы уже успели отправить партию, только что, перед тем как вы зашли...

АНН. Уже отправили?

ПРОДАВЕЦ. Да. В одну лавку.

В портовом кабачке.

ДЖОН. В какую лавку, Анн?

АНН. Он мне назвал. Это было далеко отсюда. И я сразу поехала. Мы никогда там не были, Джон. В метро я смотрела на людей и боялась, что увижу на ком-нибудь из них Джейн. Но я только однажды увидела Мэри, на одной девушке на эскалаторе. Она так сияла, словно была единственным источником света в метро. А я опять испугалась, и опять мне почудилось, что за мной крадется Билл,— это чувство у меня теперь на всю жизнь.

ДЖОН. Выпей, согрейся, Анн!

АНН. Лавку я нашла только в шестом часу. Рабочий день только что кончился, и на улицах было полно народу. Около одной витрины собралась целая толпа. Я пробралась и увидела Джейн.

ДЖОН. Джейн?

АНН. Да, то есть двенадцать Джейн. Они лежали на бархатной подушечке среди всяких дешевых побрякушек — колец с фальшивымп камнями, позолоченных браслетов. Они же были ни на что не похожи и даже друг от друга отличались, как двенадцать человек в падающем самолете. То есть они были уже не как один человек, которого можно позвать и спросить о чем-нибудь. Они лежали и сверкали, а народ перед витриной смотрел на них. Я даже вспомнила, что Джейн всегда хотела, чтобы на нее все смотрели. Я тоже смотрела на них, Джон, я думала, Джейн узнает меня, но пуговицы под моим взглядом не заблестели ярче. Одна женщина спросила другую, относится ли выставленная цена к одной пуговице или ко всем. Я вмешалась и сказала, что к одной. Я думала, ей это покажется слишком дорого, но она сразу же вошла в лавку.

ДЖОН. А ты?

АНН. Я осталась на улице. Люди вокруг меня расходились, потом собирались другие. Меня оттеснили, а когда я снова протиснулась к окну, увидела, как за витриной качнулась занавеска и подушечка с Джейн исчезла.

ДЖОН. Рассказывай дальше, Анн.

АНН. Лавка была маленькая, самая обычная. Когда я вошла, я еще удивилась, что наши пуговицы продаются и здесь, но ведь Билл говорил, что они продаются повсюду. Какая-то женщина протиснулась мимо меня к выходу. А та, которой я назвала цену, стояла перед зеркалом и прикладывала Джейн к своему пальто. Она отвернулась от окна, и пуговицы засверкали в темноте. Ей это понравилось, я заметила. Рядом с ней стоял молодой человек и улыбался, были еще какие-то люди. Я подошла к продавцу и сказала, что пуговицу нельзя продавать, повторила все то, что уже говорила первому.

ДЖОН. А он повторил все то, что сказал первый?

АНН. Да, уже поздно, пуговицы уже проданы, три штуки, только что... я не стала слушать дальше. Я вспомнила о женщине, которая встретилась мне у входа, и выбежала из лавки. Я увидела, как она подходит к автобусной остановке. Я побежала за ней, Джон, и я бы догнала ее, если б в этот момент кто-то не схватил меня за рукав.

На улице.

БИЛЛ. Анн?

АНН. Билл..

БИЛЛ. А я думал, вы спите.

АНН. Я бы хотела спать — чтобы все это мне снилось.

БИЛЛ. Главное, по-видимому, — чтобы снился я.

АНН. Дайте мне пройти.

БИЛЛ. Я позади вас и не могу вам мешать.

АНН. Но все равно мешаете.

БИЛЛ. А я бы хотел, чтобы мне приснилось, что вы отпросились пораньше только для ваших расследований...

АНН. Пустите меня!

БИЛЛ. Вы знаете, одного моего слова достаточно, чтобы вас уволили.

АНН. Я знаю.

БИЛЛ. Тогда я вас не понимаю.

АНН. Делайте что хотите!

БИЛЛ. Вы знаете также, что это для вас означает, Анн? Что предприятия закрываются, и найти работу невозможно. Вы не найдете себе другого места. Вы скорее состаритесь, чем...

АНН. Пусть я скорее состарюсь, Билл.

БИЛЛ. А Джон?

АНН. Ему нет до вас дела.

БИЛЛ. А я слышал, что он собирается к нам.

АНН. Вы ослышались, Билл,— из-за шума за стеной нашего цеха.

БИЛЛ. У нас вы обеспечены работой, Анн, и не такой уж тяжелой. Вы приходите в половине девятого и уходите в половине шестого. Вы давно освоились на работе. В конце каждой недели у вас получка. У нас вы бы нашли свое место в жизни.

АНН. Знаю, в конце концов — в ящике для пуговиц.

БИЛЛ. Если вы уйдете, то навсегда.

АНН (*уже издаലെка*). Я уйду, Билл.

В портовом кабачке.

Я снова побежала за женщиной, но Билл слишком надолго задержал меня и женщина исчезла, к тому же стало совсем темно. Мне показалось, что она стоит на остановке трамвая, но, когда я уже подбежала к остановке, она вдруг мелькнула в переулке. Я побежала за ней, хотя не была уверена, что это точно она...

ДЖОН. Разве ты ее не запомнила?

АНН. Я ведь видела ее только мельком. И вот когда я гналась за ней по окраине, по строительным площадкам, мимо каких-то жалких домишек, какого-то футбольного поля на пустыре, я вдруг подумала, а может, правда, лучше вернуться к Биллу, уж его-то я бы точно нашла.

ДЖОН. А женщину?

АНН. Я уже почти догнала ее — за пустырем. Вокруг нас не было ни души. Только вдали огоньки каких-то домиков, она шла к ним.

ДЖОН. Ты заговорила с ней?

АНН. Нет. Но когда я была уже рядом с ней, она вдруг испуганно обернулась.

ДЖОН. И ты у нее спросила?

АНН. Это была не она, Джон. Может быть, ту я оставила на остановке, может быть, я вообще ее не видала, может быть, многие уже купили себе Джейн. И одна теперь где-нибудь в поезде, другая заказывает себе билет на пароход, третья...

ДЖОН. Успокойся, Анн.

АНН. Все напрасно, нам не найти больше Джейн. *(После паузы.)* Если б я не пустилась на розыски, я бы еще работала эту неделю. И следующую тоже...

ДЖОН. И появились бы еще какие-нибудь малиновые пуговицы с каким-нибудь необыкновенным свечением.

АНН. Кто знает, Джон?

ДЖОН. Другие так тоже думали поначалу — Мэри, Сюзанна... Джейн.

АНН. Я ведь не знаю, где теперь Джейн. Может быть, она преспокойно сидит себе дома за чаем или совершает свой моцион. Может быть, все просто смешно.

ДЖОН. Может быть. Если в это поверить.

АНН. Я уже почти верю в это. Я так устала, Я бы с удовольствием чего-нибудь выпила, Джон.

БИЛЛ. Могу я вас пригласить?

АНН. Я так и знала! Я так и знала, что вы все еще крадетесь за мной, Билл!

БИЛЛ. Хотя бы для того, чтобы выпить за наше прощание.

ДЖОН. Билл за тобой не крался. Он зашел сюда случайно.

БИЛЛ. Совершенно верно!

ДЖОН. И мы не будем ему мешать.

БИЛЛ. Вы совсем не мешаете мне. Напротив!

АНН *(испуганно)*. Мы уходим.

БИЛЛ. Жаль. А я-то думал, что вы меня угостите, Джон. У вас ведь такие блестящие перспективы.

ДЖОН. Не настолько блестящие, чтобы я мог пригласить вас. К счастью.

БИЛЛ. Нет, я серьезно. И даже более чем серьезно.

ДЖОН. Вы всегда более чем серьезны. Это-то и насторожило меня с самого начала.

БИЛЛ. Говоря точнее: ваши перспективы у меня в кармане.

ДЖОН. Тогда они довольно мрачны.

БИЛЛ. Позволю себе, однако, заметить, что в порту они еще мрачнее.

ДЖОН. Оставьте это мне, заботьтесь лучше о своем кармане.

АНН. Подожди, не уходи, Джон!

БИЛЛ. У меня в кармане контракт с вами.

АНН. Хоть взгляни на него!

ДЖОН. Покажите, Билл. Карман, видимо, тот же, куда вы складываете пуговицы.

БИЛЛ. Этот договор стоит трех рюмок виски.

ДЖОН. Боюсь, виски слишком разжалобит меня.

БИЛЛ. Вы хотели поступить к нам упаковщиком, Джон. Теперь появилось место представителя фирмы.

ДЖОН. Какое счастье!

БИЛЛ. С повышенным окладом.

ДЖОН. Вас что, уволили, Билл?

БИЛЛ. Нет, дело не в этом.

ДЖОН. Или вы уже не справляетесь с лавиной пуговиц? Вот вся беда, Билл,— на свете слишком много пуговиц. И когда-нибудь их будет так много, что их не к чему будет пришивать.

БИЛЛ. Поступайте к нам, Джон!

ДЖОН. Нет, я слишком боюсь этого. Боюсь, что уволят меня еще скорее, чем теперь согласились принять.

БИЛЛ. Можете не беспокоиться, вас не уволят. Наши пуговицы всегда будут пользоваться спросом.

ДЖОН. И потом еще одно, Билл: мне приятнее держать Анн за руку, чем положить ее в карман.

БИЛЛ. Ах, подите вы тогда к черту!

ДЖОН. Полагаю, черт — не любитель выстаивать очереди на бирже труда.

АНН. Пойдем, Джон.

ДЖОН (*уже в дверях*). В доках для него слишком мало добычи.

На улице.

АНН. Какой сильный дождь.

ДЖОН. Настоящий дождь, Анн, а не шум, похожий на дождь или град.

АНН. А я уже его совсем не боюсь.

ДЖОН. Или на бушующее пламя.

АНН. А что завтра?

ДЖОН. Завтра я пойду на биржу.

АНН. Как мрачно в доке, Джон.

ДЖОН. Но с моря дует ветер.

АНН. Да, ночь, кажется, будет ясная.

Рип ван ВИНКЛЬ

Это набросок истории о человеке, который никогда не жил, потому что заставлял себя быть таким, каким его считали другие. И вот однажды, когда он отказался от этого наваждения, вдруг выяснилось, что люди, звавшие его имя, не могли позволить, чтобы он жил без имени. Они запрятали его в тюрьму, приговорив его быть тем, кем он всегда был для них, они не потерпели его превращений..

Голоса:

НЕЗНАКОМЕЦ
ПРОКУРОР
ЗАЩИТНИК
ЮЛИКА
КНОБЕЛЬ, стражник
ГОСПОДИН ЗАХТЛЕБЕН
НЕКИЙ ГОСПОДИН
ТАМОЖЕННИК
ИНСПЕКТОР
СЕКРЕТАРША
ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ
ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ
ДАМА
ПРОВОДНИК
ГОЛОСА ПО РАДИО
ГЕОРГ
ПУБЛИКА НА ВОКЗАЛЕ
ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ
ДРУГИЕ ГОЛОСА

СЦЕНА ПЕРВАЯ

На вокзале. Вдалеке слышны свистки, выхлопы пара стоящего паровоза, всевозможные выкрики, неясные голоса, среди которых выделяются четкие постукивания по металлу — это железнодорожник проверяет молотком колеса.

ДАМА. Что это значит?

ГОСПОДИН. Проверяют, все ли колеса в порядке, ничего особенного. Во сколько ты будешь в Риме?

ДАМА. К обеду...

Слышно, как вдоль поезда проходит проводник и захлопывает двери.

ПРОВОДНИК. Прошу занимать места! Поезд отправляется!

ГОСПОДИН. Ну, прощай!

ДАМА. Милый!

ПРОВОДНИК. Прошу занимать места!

ДАМА. Но на пасху ты непременно...

ГОСПОДИН. Если только смогу.

ПРОВОДНИК. Поезд отправляется! *(Захлопывает двери и идет дальше.)*

НЕЗНАКОМЕЦ. Перестаньте шутить, уважаемый! Зачем эти проводочки. мой поезд может в любой момент тронуться.

ТАМОЖЕННИК. Но без вас.

НЕЗНАКОМЕЦ. Перестаньте шутить.

ТАМОЖЕННИК. Вы проследуете за мной!

ПРОДАВЩИЦА. Горячие сосиски! Горячие сосиски!

ПРОДАВЕЦ. Журналы, сигареты, журналы!

ПРОДАВЩИЦА. Горячие сосиски!

ТАМОЖЕННИК. Прошу!

НЕЗНАКОМЕЦ. Да какое вам дело, как меня зовут? Разумеется, меня как-то зовут, но что вам за дело...

ТАМОЖЕННИК. Я лишь исполняю свой долг. Вам известно, что каждый путешественник обязан иметь при себе документы.

НЕЗНАКОМЕЦ. Зачем?

ТАМОЖЕННИК. Пройдите в бюро, там мы во всем разберемся.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы не смеете!

ТАМОЖЕННИК. Не я виноват, что поезд уйдет без вас.

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. Внимание! Внимание!

ПРОВОДНИК. Прошу закрыть двери!

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. Экспресс «Кельн — Рим» отправляется в двадцать три часа семнадцать минут. Просьба закрыть двери!

ДАМА. Прощай, милый! Прощай!

ГОСПОДИН. Прощай!

ДАМА. До скорого!

ПРОДАВЩИЦА. Горячие сосиски! Горячие сосиски!

ПРОДАВЕЦ. Сигареты, журналы, сигареты!

ПРОДАВЩИЦА. Горячие сосиски!

НЕЗНАКОМЕЦ. Не трогайте меня, я вам говорю. Я не выношу этого, ясно? Или я влеплю вам оплеуху, так что ваша красивая фуражка улетит к чертовой матерп.

ТАМОЖЕННИК. Только посмейте!

НЕЗНАКОМЕЦ. Пожалуйста!..

Слышен звук пощечины.

ТАМОЖЕННИК. Ах ты так!

Свист паровоза, крики провожающих, нарастающий стук колес.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот вам ваша фуражка..

Свист паровоза вдали.

СЦЕНА ВТОРАЯ

В кабинете слышно только тиканье часов.

ИНСПЕКТОР. Прошу садиться.

ГОСПОДИН. Я бы не хотел быть замешанным в это дело, господин инспектор.

ИНСПЕКТОР. Прошу вас, господин доктор.

Господин садится.

Итак, вы стояли на перроне и видели, как это произошло. Вы провожали жену, и все это случилось около того вагона, где вы стояли, не так ли?

ГОСПОДИН. Да.

ИНСПЕКТОР. Около спального вагона..

ГОСПОДИН. Господин Вадель отказался назвать свое имя, и тогда служащий таможни взял его за руку, тут я услышал, что кого-то ударили по щеке, и увидел, как по платформе покати-лась фуражка.

Слышно как стучит пишущая машинка.

Все это записывается?

ИНСПЕКТОР. Почему бы и нет.

ГОСПОДИН. Видите ли... та дама, которую я провожал,— не жена мне.

ИНСПЕКТОР. Но это совсем не важно, господин доктор.

ГОСПОДИН. Ну для моей-то жены, положим...

ИНСПЕКТОР. Напечатайте только про пощечину, всего прочего не нужно.

ГОСПОДИН. Что делать, Анатоль Вадель — темпераментная натура, одним словом, художник!

ИНСПЕКТОР. Вы что же, знаете этого господина?

ГОСПОДИН. Кто же его не знает? Анатоль Вадель — человек известный.

ИНСПЕКТОР. Очень интересно.

ГОСПОДИН. Может, я и ошибаюсь, но он очень похож на него. Года два назад его портреты печатали во всех газетах. Вы разве не помните, господин инспектор, эту нашумевшую историю с его исчезновением? И ни одна душа не узнала, куда он пропал. И жив ли он вообще. Целая история, как же!

ИНСПЕКТОР. Очень интересно. Господин отказывается назвать свое имя, а вы называете его Анатодем Ваделем.

ГОСПОДИН. Ручаться я, конечно, не могу.

Стук в дверь.

Его жена, сколько я помню, живет в Париже. Ее все зовут Юликой.

ИНСПЕКТОР. В Париже?

ГОСПОДИН. Она танцовщица. Обворожительная женщина.

ИНСПЕКТОР. Юлика?

ГОСПОДИН. Да.

ИНСПЕКТОР. И он с ней в браке?

ГОСПОДИН. Конечно.

ИНСПЕКТОР. Откуда вы все это знаете?

ГОСПОДИН. О, из журналов.

ИНСПЕКТОР. Да-да, войдите!

Дверь открывается.

Благодарю вас, господин доктор. Если понадобится, полиция позволит себе побеспокоить вас.

ГОСПОДИН. Лучше бы не надо.

ИНСПЕКТОР. А пока, повторяю, примите мои заверения.

ГОСПОДИН. Всего доброго, господа.

ИНСПЕКТОР. Всего доброго, господин доктор.

Доктор уходит, дверь за ним закрывается.

Итак, это вы ударили служащего таможи?

НЕЗНАКОМЕЦ. Совершенно верно.

ИНСПЕКТОР. Прошу садиться.

НЕЗНАКОМЕЦ. Чего от меня хотят?

ИНСПЕКТОР. Садитесь. Насколько я могу судить, господин Вадель, вы несколько возбуждены алкоголем.

НЕЗНАКОМЕЦ. Меня зовут не Вадель!

ИНСПЕКТОР. Надеюсь, что вы тем не менее понимаете, о чем я говорю.

НЕЗНАКОМЕЦ. Господин инспектор, я никому не позволю тянуть меня за рукав. Просто не выношу этого, и все. Но, разумеется, я готов уплатить положенный штраф за мой проступок.

ИНСПЕКТОР. К сожалению, все не так просто.

НЕЗНАКОМЕЦ. Сколько это стоит?

ИНСПЕКТОР. Прошу вас...

НЕЗНАКОМЕЦ. Мне некогда садиться, господин инспектор. Благодарю вас. Я должен сесть на первый попавшийся поезд, чтобы покинуть наконец эту несносную страну, мне вовсе не обязательно ехать в Рим, это был просто каприз.

ИНСПЕКТОР. Господин Вадель, вам не удастся покинуть это помещение прежде, чем мы установим вашу личность.

НЕЗНАКОМЕЦ. Во всяком случае, я — не Вадель!

ИНСПЕКТОР. Кто же вы?

Незнакомец молчит.

Должен предупредить вас, господин Вадель...

НЕЗНАКОМЕЦ. Говорю вам в последний раз: я — не Вадель!

ИНСПЕКТОР. Должен предупредить вас, что буду вынужден позвонить в полицию, если вы откажетесь назвать свое имя. И вас сразу арестуют. Даю вам пять минут...

Слышно тиканье часов.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Танцкласс в балетной школе. Слышно, как играют на фортепьяно, женский голос дает команду на французском языке — возможен акцент. Хлопки, отбивающие такт, скольжение балеток по паркету.

ГЕОРГ. Юлика! Юлика!

ЮЛИКА. Qu'est — ce qu'il ya? ¹

ГЕОРГ. Вас к телефону!

¹ Что случилось? (франц.).

ЮЛИКА. Je travaille ¹.

Продолжает вести урок, Георг подходит к ней.

ГЕОРГ. Это срочно.

ЮЛИКА. То есть?

ГЕОРГ. Из-за границы.

ЮЛИКА. Кто?

ГЕОРГ. Полиция. Мне кажется, из-за твоего мужа...

ЮЛИКА. M'excusez Messieurs, je reviendrai tout de suite. Continuez votre exercice, s'il vous plaît ².

Пианист вновь повторяет те же такты. Юлика уходит в кабину с телефоном, куда музыка доносится приглушенно.

Алло? Юлика... Что вы сказали?.. Да, это я, Юлика Вадель... Полиция? Но почему?.. Ничего не знаю... Муж? Не имею понятия... Понимаю... Конечно. Понимаю... Как только смогу, разумеется, но бросить все и бежать... ведь у меня балетная школа, господин инспектор... Да, уже пять лет, верно. В феврале было ровно пять лет, как он исчез... Как только смогу, господин инспектор... Разумеется, я узнаю своего мужа. Благодарю вас за известие... Пожалуйста. *(Вешает трубку, учащенно дышит, выходит из кабины.)*

Музыка становится громче.

ГЕОРГ. Что случилось?

ЮЛИКА. Мой муж...

ГЕОРГ. Ты бела как мел, Юлика.

ЮЛИКА. Мне сказали, что нашелся мой муж.

ГЕОРГ. И что же?

ЮЛИКА. Его арестовали на границе. Я должна срочно ехать.

ГЕОРГ. Зачем?

ЮЛИКА. Я так и думала: в одно прекрасное утро он снова появится...

ГЕОРГ. Что тебе за дело до него? Целых пять лет он о тебе совсем не заботился. Я думал, что он стал тебе безразличен, Юлика.

ЮЛИКА. Конечно, конечно...

ГЕОРГ. Ты сама говорила, что он украл у тебя полжизни, а теперь...

ЮЛИКА. Ах, Георг...

ГЕОРГ. Неужели ты поедешь?

¹ Я занята *(франц.)*.

² Прошу прощения, мсье, я скоро вернусь. Продолжайте упражнение, пожалуйста *(франц.)*.

ЮЛИКА. Будет видно.

Музыка тем временем смолкла. Юлика бьет в ладони.

Messieurs, nous continuons ¹.

Музыка звучит, как вначале.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

В камере предварительного заключения.

ЗАЩИТНИК. Позвольте представиться: меня зовут Дюннер — Ганс Ульрих Дюннер. Имею честь, господин Вадель, быть **вашим** защитником.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не Вадель.

ЗАЩИТНИК. Можете не сомневаться, я не пожалею сил ради вас. Я познакомился с делом, и если вы будете добры сообщить мне о том, где вы провели последние пять лет, то я ручаюсь, что через несколько дней вы будете на свободе.

НЕЗНАКОМЕЦ. Гм.

ЗАЩИТНИК. С вашего позволения, я сяду. (*Садится на нары.*) Нары несколько жестковаты, но совершенно чисты. Кстати, я постарался по возможности скрасить для вас даже те немногие дни, которые вам предстоит провести в заключении. У вас лучшая камера здесь, единственная на солнечной стороне, с видом на платаны, уличный шум почти не слышен, только голубиное воркование.

НЕЗНАКОМЕЦ. И монастырские колокола!

ЗАЩИТНИК. Они вам очень мешают?

НЕЗНАКОМЕЦ. Они сведут меня с ума, господин доктор.

ЗАЩИТНИК. Они считаются лучшими во всей стране.

НЕЗНАКОМЕЦ. Какое мне дело до вашей страны!

ЗАЩИТНИК. Хотя вблизи, конечно, они могут показаться и слишком громкими. Очень жаль, что мы расположены рядом с монастырем, но изменить тут ничего невозможно... Что же касается нашего дела, господин Вадель, то позвольте...

НЕЗНАКОМЕЦ. Я — не Вадель, черт побери, сколько раз я должен повторять?

ЗАЩИТНИК. Где вы провели последние пять лет?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я уже говорил стражнику: пока мне не принесут виски, я никого не приму. Что это за манеры? Вчера я выбросил вас вон, сегодня вы являетесь в то время, когда я сплю. Должен сказать...

¹ Мсье, мы продолжаем (*франц.*).

ЗАЩИТНИК. Уже больше десяти!

НЕЗНАКОМЕЦ. У вас есть виски, господин доктор, или у вас нет виски?

Защитник кладет папку с делом на стол.

Ого, целое дело? Из-за одной-то пощечины? Я всего три дня в вашей стране, и вот...

ЗАЩИТНИК. Это все мелочи, не пугайтесь. Одни мелочи: бегство из страны без уведомления властей, уклонение от налоговых платежей, уклонение от ответов на вопросы административных инстанций — и так далее, господин Вадель, и тому подобное!

НЕЗНАКОМЕЦ (*рычит*). В последний раз: я — не Вадель!!! (*После паузы.*) Что все это значит? Я приехал из Мексики, господин доктор, где ацтеки вырезали своим жертвам сердце из живого тела, так вот должен сказать, что все это только детские игры по сравнению с издевательствами, которым подвергается здесь человек, у которого нет бумаг или который не желает их представлять. Ну какое вам дело до того, кто я? Исчез некий гражданин, господин Вадель. При чем здесь я? И вы думаете, я дам себя уговорить, будто этот исчезнувший и есть я? Я?! Этого вы добиваетесь? Вы думаете, вам удастся мучить меня до тех пор, пока я не потеряю рассудок и сам не уверю, что я — это он?

ЗАЩИТНИК. О каком мучении может идти речь?

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы полагаете, господин доктор, это не мука — глядеть на вас, в ваши бессмысленные глаза? Кто вы, откуда вы вообще взялись, зачем вы сидите здесь, на моем матрасе, и листаете в этой папке, до которой мне нет дела?... (*Кричит.*) Что вам нужно в конце концов?

ЗАЩИТНИК. Мне нужно защищать вас...

Незнакомец смеется.

Мне сказали, что вы — господин Вадель, Анатоль Вадель, скульптор, исчезнувший пять лет назад, и я решил...

НЕЗНАКОМЕЦ. Защищать Анатоля Ваделя!

ЗАЩИТНИК. Да.

НЕЗНАКОМЕЦ. Но если я говорю вам: это — не я.

ЗАЩИТНИК. Как же так?

НЕЗНАКОМЕЦ. А так — не я, и все.

ЗАЩИТНИК. Анатоль Вадель — весьма уважаемое лицо. Академия поставила меня в известность, что она готова взять на себя не только штраф за пощечину, но и вообще все расходы... Нет, в самом деле, я не понимаю вас, ну как вы можете отказываться от... Анатоля Ваделя?

НЕЗНАКОМЕЦ. А так — это не я, и все.

ЗАЩИТНИК. Гм.

НЕЗНАКОМЕЦ. Весьма сожалею, но...

Звучат монастырские колокола.

СЦЕНА ПЯТАЯ

В кафе. Слышна приглушенная джазовая музыка, шипение кофеварки, голоса.

ГОСПОДИН. Официант!

ОФИЦИАНТ. Одну минуту, господин доктор, одну минуту.

ГОСПОДИН. К сожалению, мне пора — меня ждет жена.

ДРУГОЙ. Кстати, как она поживает?

ГОСПОДИН. Так себе. Опять расхворалась, к несчастью. Ведь на пасху я собирался в Рим. Но ничего не поделаешь! А уж взял билет на самолет, заказал номер в отеле, и вот... Официант, счет!

ОФИЦИАНТ. Пожалуйста.

ГОСПОДИН. Я тороплюсь.

ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ. Вечерний выпуск. Спортивное обозрение. Вечерний выпуск... Господин доктор: новая атомная бомба, дело Ваделя!

ГОСПОДИН. Итак, все-таки дело Ваделя! Я вам не говорил, что недавно видел его на вокзале? Кажется, это действительно был он.

ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ (*проходя дальше*). Вечерний выпуск. Спортивное обозрение. Вечерний выпуск...

Шипение кофеварки.

ДРУГОЙ. Разве ты знал Ваделя?

ГОСПОДИН. Еще бы — он каждый вечер сидел вон в той нише. Не помнишь? Ну тот чудак, что все дул свое виски и боялся идти домой, как о нем поговаривали злые языки,

ДРУГОЙ. Боялся жены?

ГОСПОДИН. При том, что жена его была обворожительная женщина, какую только можно себе представить, нежная как козочка. Она тогда чуть не умерла из-за этого Ваделя...

ОФИЦИАНТ. Господин доктор?

ГОСПОДИН. Я хотел бы расплатиться.

ОФИЦИАНТ. Благодарю вас, господин доктор!

ГОСПОДИН. Пожалуйста.

ОФИЦИАНТ. Благодарю вас, господин доктор!

ГОСПОДИН. Кажется, у нее было воспаление легких.

ДРУГОЙ. И все из-за него?

ГОСПОДИН. Как только он исчез, ей стало лучше, да настолько, что все диву давались: от болезни ни следа, так и пышет здоровьем, и вся словно помолодела...

ДРУГОЙ. Как только он исчез...

ГОСПОДИН. Она просто расцвела.

Шипение кофеварки.

ДРУГОЙ. Так почему ты отказался от поездки в Рим?

ГОСПОДИН. Не могу оставить жену, ведь она заболела. И если бы я сейчас уехал, она... ну, просто не знаю, что бы сделала!

ДРУГОЙ. Кто знает: может быть, просто бы расцвела?

Шипение кофеварки.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

В камере. Раздается стук в дверь. Никто не отвечает. Стук повторяется.

НЕЗНАКОМЕЦ. Войдите!

Дверь открывается.

Кто вы такой?

Дверь захлопывается.

ПРОКУРОР. С вашего позволения: прокурор. Можете не вставать.

НЕЗНАКОМЕЦ. Нары достаточно широкие, господин прокурор, садитесь.

ПРОКУРОР. Вы курите?

НЕЗНАКОМЕЦ. Благодарю, господин прокурор, благодарю.

Прокурор щелкает зажигалкой.

ПРОКУРОР. Я, собственно, к вам по личной инициативе. Так что не думайте, что вас ждет допрос, просто мне очень хотелось взглянуть на нашего Анатоля Ваделя.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не Вадель.

ПРОКУРОР. Видите ли, моя жена — большая поклонница вашего искусства, она вне себя от мысли, что такой художник, как Анатолий Вадель, творец и маг, которому город обязан своими знаменитыми скульптурами, вынужден сидеть на этих нарах, как преступник.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я — преступник.

ПРОКУРОР. Вы утверждаете так, я знаю. Стражник рассказал мне, что вы сознались по меньшей мере в пяти убийствах.

НЕЗНАКОМЕЦ. Почему мне не верить?

ПРОКУРОР. Среди убитых, насколько я понял,— и ваша супруга.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ее я убил первой.

ПРОКУРОР. Гм.

НЕЗНАКОМЕЦ. Замечательная сигара, господин прокурор..

ПРОКУРОР. Позвольте вопрос — только не подумайте, ради бога, что я вас допрашиваю,— итак, почему вы убили вашу жену?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я любил ее.

ПРОКУРОР. Разве это повод?

НЕЗНАКОМЕЦ. Она была на редкость красивой..

ПРОКУРОР. То есть вы ревновали?

НЕЗНАКОМЕЦ. У меня не было оснований ревновать ее, господин прокурор. Может быть, она была счастливее с другими мужчинами, не знаю, но никто не причинял ей столь глубоких страданий, как я,— в этом я уверен.

ПРОКУРОР. Вы любили ее?

НЕЗНАКОМЕЦ. Что значит — любил? Она жертвовала собой, понимаете, была терпеливой страдальницей. Так считали все наши знакомые. Из-за меня она заболела, и так тяжело, что чуть не умерла.

ПРОКУРОР. Каким образом?

НЕЗНАКОМЕЦ. Не знаю. Воспаление легких. Так она говорила. То есть она даже не говорила об этом, но все это знали. Жить со мной — было жертвой с ее стороны, и все-таки она все мне прощала.

ПРОКУРОР. Что именно?

НЕЗНАКОМЕЦ. Все.

ПРОКУРОР. Вы часто ссорились?

НЕЗНАКОМЕЦ. Никогда.

ПРОКУРОР. О, это ужасно.

НЕЗНАКОМЕЦ. Да, наши мирные отношения были ужасны. А когда я не выдерживал и запускал в стену тарелкой, то долго после этого казался себе убийцей — ее убийцей.

ПРОКУРОР. Гм.

НЕЗНАКОМЕЦ. Это было невыносимо.

ПРОКУРОР. И поэтому вы записались в иностранный легион, как мне рассказал стражник?

НЕЗНАКОМЕЦ. Да, я струсил.

ПРОКУРОР. Честно говоря, я этого не понимаю.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я тоже не понимаю, господин прокурор, но так было.

ПРОКУРОР. Вы любили ее...

НЕЗНАКОМЕЦ. Она была ангел.

ПРОКУРОР. И что же?

НЕЗНАКОМЕЦ. У меня все время была нечистая совесть — это было невыносимо.

ПРОКУРОР. И поэтому вы убили ее?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я ведь сказал: ее жизнь со мной была ужасна.

ПРОКУРОР. А когда произошло это убийство?

НЕЗНАКОМЕЦ. Ха-ха...

ПРОКУРОР. Почему вы смеетесь?

НЕЗНАКОМЕЦ. Должен признаться, господин прокурор, вы облегчаете себе жизнь. Одной-единственной сигарой вы хотите выполнить всю работу, за которую вам платят дегьги... И потом, подумайте сами, что происходит: вы требуете, чтобы я сам показал на себя, вместо того чтобы согласиться на роль и имя Анатоля Ваделя, которому ваш город, как вы говорите, обязан знаменитыми скульптурами. Должен вам сказать...

ПРОКУРОР. Говорите же!

НЕЗНАКОМЕЦ. Изобличить меня как преступника это дело прокурора, а не мое собственное, как мне кажется.

ПРОКУРОР. Поймите меня правильно...

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не Анатолий Вадель. Сколько раз мне об этом твердить? И никто не убедит меня в обратном, господин прокурор, потому что никто не обязан мне знаменитыми скульптурами!

ПРОКУРОР. Но, господин...

НЕЗНАКОМЕЦ. Никто!

ПРОКУРОР. Вы только не волнуйтесь!

НЕЗНАКОМЕЦ. Неужели я должен задушить защитника, чтобы мне наконец поверили?

ПРОКУРОР. Поймите нас правильно. Никто не хочет навязать вам чужую роль. И если вы только скажете, кто вы такой на самом деле...

НЕЗНАКОМЕЦ. Кто я такой?

ПРОКУРОР. Почему вы отказываетесь это сделать?

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот уже неделю, с тех пор как меня привезли в эту тюрьму, где принимают за какое-то известное лицо, я каждый день твержу одно и то же: что без виски я отказываюсь давать показания, потому что без виски я — это не я, потому что, когда я трезв, я легко подчиняюсь чужим воздействиям и играю чужие роли, — я убедился в этом на опыте. Почему мне не дают виски? Я даже сделал предложение: пусть меня лишат защитника и на сэкономленные таким образом деньги купят виски, потому что без виски, господин прокурор, все это не имеет смысла, без виски вы так никогда и

пе узнаете, кто я на самом деле, да я сам не узнаю себя — до тех пор пока мне не принесут виски.

ПРОКУРОР. Гм.

НЕЗНАКОМЕЦ. Это все, господин прокурор, что я могу сказать, пока я трезв.

Монастырский колокол бьет один раз.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

В аэропорту. Нарастающий и стихающий шум моторов. Голос из громкоговорителя.

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. Attention please, may I have your attention, please. Flight number 209, London — Paris — Munich, readu for departure¹.

ЮЛИКА. Это мой самолет!

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. All passeugers are requested to board the plane as soon as possible².

ЮЛИКА. Мне пора.

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. Attention s'il vous plaît...³

Шум моторов заглушает громкоговоритель.

ЮЛИКА. Ну, мой милый, прощай!

ГЕОРГ. Как знаешь.

ЮЛИКА. Я должна! Ты должен понять!

ГЕОРГ. Я этого не понимаю.

ЮЛИКА. Георг...

ГЕОРГ. Сколько раз ты мне рассказывала, до чего он тебя довел, твой Анатоль, и вот, стоило ему вновь появиться...

ЮЛИКА. Я ведь вернусь, Георг.

ГЕОРГ. Будет видно, милая... А пока — тебе пора садиться.

ЮЛИКА. Может быть, это еще не он!

ГЕОРГ. Зачем ты плачешь, Юлика? В сущности, тебе ведь и нужен мужчина, которого ты можешь убедить в том, что он тебя убивает. Разве не так? Ты счастлива только когда страдаешь.

ЮЛИКА. Георг...

ГЕОРГ. Ты — прирожденная страдальца.

¹ Внимание, прошу внимания. Самолет рейса двести десять, Лондон — Париж — Мюнхен, готов для посадки пассажиров (*англ.*).

² Всех пассажиров просят по возможности скорее занять свои места (*англ.*).

³ Прошу внимания... (*франц.*).

ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРТЕЛЯ. Attention please. British European Airways announce the departure of flight number 209. This is our last call: passenger Mis. Julika Wadel, please come to the information desk immediately ¹.

ГЕОРГ. Прощай!

ЮЛИКА. Прощай!

Рев моторов заглушает все.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

В камере. Слышно, как стражник вытирает пыль тряпкой, смачивая ее в ведре с водой.

КНОБЕЛЬ. Скоро кончу. Еще только решетку.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы совсем не мешаете мне. Не торопитесь. Вы единственный человек, Кнобель, кого я терплю в этой камере, поверьте.

КНОБЕЛЬ. Ну а уж коль вы сами говорите, что убили свою жену, то знаете, господин ван Винкль...

НЕЗНАКОМЕЦ. Только никому не говорите, что меня зовут Рип ван Винкль!

КНОБЕЛЬ. Понимаете, заключенных здесь все-таки хватает. И вот, к кому бы я ни заходил, со жратвой или вот с ведром, все наотрез отказываются признать свою вину. Надоело слушать! Никто ничего не совершил. Я уже тринадцать лет стражником, вы — первый, господин вап Винкль, кто рассказал мне о своих убийствах, да так, что все легко можно себе представить, как в жизни. Первый! До этого я торговал овощами, а когда нанимался сюда, представлял себе все по-другому. Уж здесь-то думал я, ты кое-что узнаешь. Не тут то было! Служишь стражником в тюрьме, а чтоб послушать о преступлениях — ходишь в кино, как все! (*Берет ведро.*) Вот ведь как.

НЕЗНАКОМЕЦ. Когда вы теперь придете?

КНОБЕЛЬ. Как только освобожусь, господин ван Винкль.

НЕЗНАКОМЕЦ. Мое второе убийство, в джунглях, проходило совсем по-другому, ведь я уже знал, что я — убийца, и ни в каком особом настроении не нуждался, дело было решенное.

КНОБЕЛЬ. А вы были в джунглях?

НЕЗНАКОМЕЦ. На Ямайке, конечно. Я знал, что Ферстель где-то

¹ Прошу внимания. Британская авиаслужба объявляет посадку на самолет рейса двести девять. Миссис Юлику Вадель в последний раз просят немедленно подойти к информационному пульту (*англ.*).

на Ямайке, и вспороть ему живот было делом простого терпения.

КНОБЕЛЬ. А кто такой Ферстель?

НЕЗНАКОМЕЦ. Один контрабандист.

КНОБЕЛЬ. Об этом вы еще не рассказывали.

НЕЗНАКОМЕЦ. Миллионер, понимаете, поэтому в цивилизованном государстве к нему не подступишься, вот и пришлось...

Монастырский колокол бьет одиннадцать часов.

Но об этом в другой раз, милый Кнобель, под такой звон невозможно рассказывать.

КНОБЕЛЬ. Вы говорите, на Ямайке?

НЕЗНАКОМЕЦ. Эти колокола — просто пытка!

КНОБЕЛЬ. Как же вы его — кинжалом?

НЕЗНАКОМЕЦ. Ясное дело.

КНОБЕЛЬ. Ну и дела!

НЕЗНАКОМЕЦ. Индийским кинжалом...

КНОБЕЛЬ. Ну и дела.

Колокола звучат с нарастающей мощностью.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Акустика коридора. Колокола постепенно смолкают.

ЗАЩИТНИК. Попытаемся, мадам. Сначала убедимся, что он спокоен.

ЮЛИКА. Я должна его видеть!

ЗАЩИТНИК. Повторяю, этот звон приводит его в бешенство.

ЮЛИКА. Он узнает меня!

ЗАЩИТНИК. Я войду первым, мадам.

ЮЛИКА. Прошу вас!

ЗАЩИТНИК. Около камеры не говорите ни слова!

Они проходят по длинному коридору, в котором отдается звук их шагов — слушатель как бы следует за ними. Когда они останавливаются, воцаряется тишина.

ЮЛИКА. Здесь?

ЗАЩИТНИК. Тсс!

Внезапный стук в дверь.

НЕЗНАКОМЕЦ. Кто здесь?!

ЮЛИКА. Ради бога...

НЕЗНАКОМЕЦ. Кто здесь?!

ЗАЩИТНИК. Тсс!
НЕЗНАКОМЕЦ. Виски! Виски! Виски!
ЮЛИКА. Что это значит?
НЕЗНАКОМЕЦ. Я хочу виски!
ЗАЩИТНИК. Пойдемте...

Вновь стук в дверь камеры.

ЮЛИКА. Ужасно.
НЕЗНАКОМЕЦ. Я хочу виски!
ЗАЩИТНИК. Пойдемте.
НЕЗНАКОМЕЦ. Я хочу виски! Хочу виски...

Они удаляются по коридору под постепенно затихающие вдали крики Незнакомца. Тишина. Слышно, как открывается дверь.

ЗАЩИТНИК. Прошу вас, мадам.

Они входят, дверь закрывается. В комнате.

ПРОКУРОР. Ну что?

ЗАЩИТНИК. Не успокоился нисколько. Только слышит шаги, как начинает требовать виски... Позвольте вас познакомить: господин прокурор.

ЮЛИКА. Очень рада.

ЗАЩИТНИК. Госпожа Вадель, Юлика Вадель.

ПРОКУРОР. Ага.

ЗАЩИТНИК. Госпожа Вадель прибыла вчера...

ПРОКУРОР. Очень рад.

ЗАЩИТНИК. Как я и опасался, господин прокурор, наш заключенный отказывается вспомнить, что был женат. Сообщение о том, что приехала женщина, которая называет себя его женой, привело его в такую ярость, что в камеру просто нельзя войти.

ПРОКУРОР. Понимаю... Садитесь, госпожа Вадель.

Садятся.

ЮЛИКА. После стольких лет, господа, вы не можете себе представить, что со мной было, когда я узнала, что нашелся мой муж. Честно говоря, таким я его никогда не слышала, это на него совсем не похоже, господин прокурор, можете мне поверить...

ПРОКУРОР. Вы курите?

ЮЛИКА. Сейчас не хочу, спасибо.

ПРОКУРОР. Я полагаю, доктор Дюннер уже познакомил вас с обстоятельствами, при которых был арестован ваш муж.

ЮЛИКА. В общем, да.

ПРОКУРОР. Пересек границу без документов, не подчинился таможенному чиновнику, которого даже ударил, но, как все это ни печально, мы не можем не радоваться, если только наш

заключенный действительно Анатолий Вадель. Мы все знаем это имя, мадам, и ценим его искусство, хотя не понимаем его... Уважаемому пропавшему инкриминируются: невыполнение гражданских обязанностей, бегство из страны, невыплата налогов, неявка по полицейскому вызову и тому подобное. Возможно, и другие провинности, например ослабление оборонной мощи нашей страны, если он действительно служил в иностранном легионе. Но все это, повторяю, не должно мешать вам радоваться его возвращению, если только вы действительно его жена.

ЮЛИКА. Какие тут могут быть сомнения?

ПРОКУРОР. Поймите меня правильно...

ЮЛИКА. Разумеется, я его жена! Я — Вадель, Юлика Вадель, урожденная...

ПРОКУРОР. Все это так.

ЮЛИКА. Вот мои документы, пожалуйста.

ПРОКУРОР. Не в том дело, мадам, являетесь ли вы женой исчезнувшего Анатолия Ваделя.

ЮЛИКА. А в чем же!

ПРОКУРОР. А в том, является ли он, наш заключенный, Анатолием Ваделем. А до сегодняшнего дня, мадам, нам не удавалось доказать ему это.

ЮЛИКА. Он это отрицает?

ЗАЩИТНИК. И еще как!

ПРОКУРОР. Что вы будете, пить, мадам?

ЮЛИКА. Отрицает...

ПРОКУРОР. Может быть, виски?

ЮЛИКА. Виски?

ПРОКУРОР. Не удивляйтесь, мадам, что я держу в столе виски: он уже неделю требует виски, просто невыносимо!

Звон рюмок.

К сожалению, мы не можем дать ему виски. (*Наполняет рюмки.*) Как вы пьете, мадам, — пополам?

ЗАЩИТНИК. Как я вам уже говорил, мадам, господин прокурор тоже придерживается мнения, что ваш супруг никого не убил, коли он клянется, что он убийца.

ЮЛИКА. Убийца?

ПРОКУРОР. Он так утверждает.

ЮЛИКА. Мой муж?

ПРОКУРОР. Он уверяет, что совершил не менее пяти убийств.

ЗАЩИТНИК. Чего он не может доказать!

ПРОКУРОР. Так же как доктор Дюннер, его защитник, не может доказать обратного. Пейте виски, мадам.

ЮЛИКА. Господа, Анатоль не убийца!

ПРОКУРОР. Мы надеемся, мадам.

ЮЛИКА. Анатоль просто не способен на это, поверьте, я все-таки прожила с ним восемь лет!

ПРОКУРОР. Вот это и приводит его в бешенство

ЮЛИКА. Что?

ПРОКУРОР. Что мы не верим в его убийства. Ваше здоровье, мадам, ваше здоровье! Случай, как вы видите, и в самом деле необычный. Мы привыкли иметь дело с убийцами, которые только и знают, что твердят: «Я не убийца!» Я уже давно привык к этому, во всяком случае, не хватаюсь среди бела дня за виски. Но вот когда человек отрицает свою невинность и приходит в ярость, стоит только обратиться к нему, как к известному человеку,— это действует на нервы, мадам, поверьте. Он всех нас поставил на голову, ваш любезный супруг... если только это он.

ЮЛИКА. Кого же он убил, как он говорит?

ПРОКУРОР. Вас.

ЮЛИКА. Меня?..

ПРОКУРОР. Да, в частности. Только не пугайтесь.

ЮЛИКА. Меня...

ПРОКУРОР. Теперь вы понимаете, мадам, что нам интересно знать, как он будет реагировать, когда увидит вас.

ЮЛИКА. Бог мой...

ПРОКУРОР. Ваше здоровье, мадам.

Юлика плачет.

ЗАЩИТНИК. Госпожа Вадель?

ЮЛИКА. Боже мой...

ПРОКУРОР. Выпейте виски, мадам, возьмите себя в руки! Ведь вы не верите в то, что он убил вас, мадам!..

Юлика продолжает плакать.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

В камере.

НЕЗНАКОМЕЦ. Это было вчера?

КНОБЕЛЬ. Да.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы им сказали, что я объявил голодовку?

КНОБЕЛЬ. Да.

НЕЗНАКОМЕЦ. Что это такое, Кнобель?

КНОБЕЛЬ. Да вроде копченая колбаса.

НЕЗНАКОМЕЦ. Частным порядком?

КНОБЕЛЬ. Ясное дело.

НЕЗНАКОМЕЦ. Только не говорите им, что я все-таки ем...

КНОБЕЛЬ. Ну, господин ван Винкль, за кого вы меня принимаете?

НЕЗНАКОМЕЦ. Спасибо, Кнобель, спасибо. (*Громко, со смаком ест.*) И, ты говоришь, она плакала?

КНОБЕЛЬ. Не знаю, что ей нужно.

НЕЗНАКОМЕЦ. Как она выглядит?

КНОБЕЛЬ. Да вы только не волнуйтесь, господин ван Винкль, поберегите нервы. Лучше ешьте побольше. Элегантная такая. Блондинка. И надушена так, что прямо на весь коридор пахнет.

НЕЗНАКОМЕЦ. Блондинка?

КНОБЕЛЬ. Угу.

НЕЗНАКОМЕЦ. А фигура?

КНОБЕЛЬ. Что надо!

НЕЗНАКОМЕЦ. Черт знает что. Сидишь здесь среди четырех стен один-однишенок, и вдруг приходит некто и говорит: мне нужен ты, ты один...

КНОБЕЛЬ. Ешьте, господин ван Винкль, возможно, это совсем не ваш тип, хоть она и утверждает, что ваша жена.

НЕЗНАКОМЕЦ. Мой тип...

КНОБЕЛЬ. Ешьте! Пока они не пришли.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я рассказывал вам про маленькую мулатку?

КНОБЕЛЬ. Нет!

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот уж кто был мой тип!

КНОБЕЛЬ. Мулатка?

НЕЗНАКОМЕЦ. Хлеба у вас нет?

КНОБЕЛЬ. Простите, нет, господин ван Винкль.

НЕЗНАКОМЕЦ. Это было в Рио Гранде... О, мой милый, тут не помогут слова, это нужно видеть самому. Например, закат солнца в пустыне. Кругом, куда ни глянь, ничего, одни кактусы на желтом и коричневом фоне, но кактусы — как огромные светильники, величиной с дом!..

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот сидим мы однажды у костра, а ночи там холодные, жуть, и обсуждаем с контрабандистами, как они переправят нас через мексиканскую границу. Мне уже нужно было сматываться, как вдруг вижу, по скалам идет он.

КНОБЕЛЬ. А скалы там тоже есть?

НЕЗНАКОМЕЦ. И какие! Красные, как кровь молодого быка. К ночи они становятся фиолетовыми. Да еще звезды, ясное дело, такие звезды бывают только в пустыне...

КНОБЕЛЬ. А кто шел по скалам?

НЕЗНАКОМЕЦ. Лимузин. Угнанный, разумеется. С флажком в золотой пыли. Лимузин среди голой пустыни. Раскачивается на кочках из песка, как лодка. Выстрел! Но малый едет дальше, и я уверен, что это полиция. Еще выстрел, еще! И как ты думаешь, кто в машине?

КНОБЕЛЬ. Кто же?

НЕЗНАКОМЕЦ. Джим.

КНОБЕЛЬ. А кто это Джим?

НЕЗНАКОМЕЦ. Ее муж.

КНОБЕЛЬ. Мулатки?

НЕЗНАКОМЕЦ. Ясное дело.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. Негр. Душа человек, но не в тот момент, понятно, когда у него уводят жену. И вот в темноте передо мной блещут его белые зубы и белые глаза!

КНОБЕЛЬ. Ну и?..

НЕЗНАКОМЕЦ. А ведь мы любили друг друга.

КНОБЕЛЬ. Мулатка и вы?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я спросил у нее: его ты любишь или меня? Она поняла, что я имею в виду, и кивнула. Выстрел — и Джима как не бывало.

КНОБЕЛЬ. Он был убит?

НЕЗНАКОМЕЦ. Наповал.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. А она поцеловала меня. Вот это — мой тип.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. Я люблю негров, но не выношу женатых мужчин, даже если они негры. Осторожничать я не умею. И мы, конечно, отправились через границу.

КНОБЕЛЬ. В Мексику...

НЕЗНАКОМЕЦ. Не включая фары, конечно. Слева от Рио Гранде. При луне.

КНОБЕЛЬ. Это ваше третье убийство?

НЕЗНАКОМЕЦ. Кажется...

КНОБЕЛЬ. Берите же колбасу, господин ван Винкль. К сожалению, мне нужно дальше. Остальные ругаются, что я подолгу задерживаюсь у вас.

НЕЗНАКОМЕЦ. Любить — значит грабить, все прочее чепуха, можете мне поверить, чепуха, которой могут жить такие недоноски, как доктор Дюннер и вся эта свора. Я часто вспоминаю, как увидел Флоренцию впервые — на лесопильне!..

КНОБЕЛЬ. То есть эту мулатку?

НЕЗНАКОМЕЦ. В Верхней Калифорнии. Я шел по берегу, собираясь удить рыбу, потому что у меня не было денег, чтобы купить

себе другую еду. Вдруг откуда-то сзади, чувствую, надвигаются клубы дыма — да такие, что неба не видно! Ну, думаю, должно быть, горит лесопильня. Кругом ведь ни единого домика, только овцы на берегу, да бушующее море с пеликанами да ревущими тюленями. Поднимаюсь на холм, а там искры сыплются прямо с неба, такого пожара я в жизни не видел. И какой стоял треск! Пожарников, конечно, нет и в помине. Кругом женщины плачут, кусают ногти, молят господа бога, чтобы он усмирил ветер. Поливать огонь нечем, а мужчины все в городе, было ведь воскресенье. А в воздухе бушует пламя, с треском вырывающееся из всех окон и с крыш. Картина потрясающая. Но помочь ничем невозможно. Ветер с океана дует непрерывно, костер из сложенных дров все увеличивает, жарится такая, что за сто шагов подойти невозможно. А посередине еще был бак с бензином... Я спросил, что она с ума сошла, ведь бензин сейчас взорвется, а она все равно бросилась в свою хижину.

КНОБЕЛЬ. Кто?

НЕЗНАКОМЕЦ. В самое пекло. Мулатка.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. А я — за ней!

КНОБЕЛЬ. Ясное дело.

НЕЗНАКОМЕЦ. Чего же тут ясного? Это было просто безумие, но я подумал, что она, может быть, хочет спасти ребенка. И вот мы в хижине, среди крошечного дыма, а на крыше уже загораются первые дранки и старик-негр пытается потушить их с помощью смешного поливального шланга. Эй, кричу я, что мне спасать? А она стоит как вкопанная, руки в боки, и воет — молоденькая мулатка, Кнобель, глаз не оторвать. Все остальное — хлам, нечего было и спасать, а вот она... Я подошел к ней и тряхнул хорошенько.

КНОБЕЛЬ. А она?

НЕЗНАКОМЕЦ. Велела вытаскивать наружу холодильник. На черта он мне сдался, кричу я. А по крыше все прыгает старый негр со своим тоненьким шлангом. Чего же ты хочешь? — спрашивает. Тебя! — говорю. А она смеется во весь рот: у меня ведь муж, говорит. Идем! — говорю. Ты на машине? — спрашивает. Машина найдется! — говорю. И, обняв, вывожу ее, а в это время рушится крыша, обдав нас искрами. Я сажаю ее в первую попавшуюся машину, которая стояла на улице, и нажимаю на газ! Ее владелец, турист, нас даже не заметил, когда мы проехали мимо, — так все загляделись на бак с бензином, который каждую секунду мог взорваться.

КНОБЕЛЬ. И вы удрали?

НЕЗНАКОМЕЦ. Четыре часа спустя мы уже сидели на камушке и удили рыбу, в месте, где нас никто не мог найти.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну.

НЕЗНАКОМЕЦ. Как тебя зовут? — спрашиваю. Флоренция, говорит. Мой муж убьет тебя, если поймает. Я только рассмеялся, а она подала мне раскрытую ракушку для наживки...

Стук в дверь.

Тсс!

КНОБЕЛЬ. И вы что-нибудь поймали?

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот такую!

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

Стук в дверь.

НЕЗНАКОМЕЦ. Войдите!

Дверь открывается.

КНОБЕЛЬ. Доброе утро, господин доктор. (*Выходит и закрывает за собой дверь.*)

НЕЗНАКОМЕЦ. Чем вы так опечалены, доктор?

ЗАЩИТНИК. Доброе утро.

НЕЗНАКОМЕЦ. Садитесь.

ЗАЩИТНИК. Вы меня обманули.

НЕЗНАКОМЕЦ. Что это у вас за альбом?

ЗАЩИТНИК. Вы утверждали, что никогда не были женаты и никогда не жили в нашем городе и что даже не представляете, как можно в нем жить.

НЕЗНАКОМЕЦ. Без виски.

ЗАЩИТНИК. А этот альбом? Только взгляните. Зачем вы лгали? Вот, пожалуйста, черным по белому: Анатоль в своей первой мастерской, Анатоль на пляже — а эту блондинку рядом с вами вы тоже не помните? Вот Анатоль на Эйфелевой башне, Анатоль с трубкой, Анатоль у памятника в Берлине. А вот вы рядом с нашим бургомистром, только что произнесшим речь о вас и пожимающим вашу руку. И так далее!.. Почему же вы отпираетесь?

НЕЗНАКОМЕЦ. Откуда у вас этот альбом?

ЗАЩИТНИК. Если вы думаете, что можете смеяться надо мной...

НЕЗНАКОМЕЦ. Я спрашиваю, откуда у вас этот альбом?

ЗАЩИТНИК. А вот, полюбуйтесь, вы кормите лебедей, — не кто иной, как вы. А на заднем плане монастырь — наш монастырь! А мне, вашему защитнику, вы уже неделю твердите, что никогда не жили в нашем городе.

НЕЗНАКОМЕЦ. А как здесь можно жить?

ЗАЩИТНИК. Этот альбом я получил от одной дамы, которая посетит вас сегодня утром.

НЕЗНАКОМЕЦ. Может быть, я и кормил лебедей. Около этого проклятого собора. Но, дорогой доктор, кормить лебедей и сидеть рядом с вашим бургомистром — все это еще не значит, что я жил здесь.

ЗАЩИТНИК. А где же еще?

НЕЗНАКОМЕЦ. Во всяком случае, не здесь, не в этом альбоме.

ЗАЩИТНИК. Ну, это вы стражнику можете рассказывать, что жили в джунглях, он вам, может быть, и поверит. Через десять дней мы предстанем перед судом, и скажите, какой у меня будет вид, если вы даже мне не говорите, кто вы такой? Ну, как я буду выглядеть?

НЕЗНАКОМЕЦ. Это ваше дело, дорогой доктор...

ЗАЩИТНИК. Я делаю все, что в моих силах!

НЕЗНАКОМЕЦ. Мне очень жаль вас, доктор...

ЗАЩИТНИК. Почему вы так скрытны? Ведь я говорил вам: городские власти готовы дать вам премию, чтобы вы могли рассчитаться с накопившимися долгами. И вообще! Почему вы упрямитесь? Чего вам не хватает: мастерская, известность, жена, готовая на любые жертвы ради вас...

НЕЗНАКОМЕЦ. Этого еще не хватало.

ЗАЩИТНИК. Академия выразила готовность заплатить штраф за пощечину, вашему возвращению будут рады в городе, особенно ваши старые друзья. Почему вы отказываетесь быть нашим Анатолом Ваделем?

НЕЗНАКОМЕЦ. Дорогой доктор...

ЗАЩИТНИК. Почему?!

НЕЗНАКОМЕЦ. Потому что это не я... Что касается дамы, то я не против женских визитов, но предупреждаю вас: я человек очень страстный и легко возбудим, весною особенно. Я за себя не ручаюсь.

ЗАЩИТНИК. Я ей это сказал.

НЕЗНАКОМЕЦ. И она по-прежнему настаивает на визите?

ЗАЩИТНИК. Категорически.

НЕЗНАКОМЕЦ. С глазу на глаз?

ЗАЩИТНИК. Она говорит, что не дождет той минуты, когда сможет поговорить с вами. Она уверена, что вы ее муж. Она говорит...

НЕЗНАКОМЕЦ. Что такое?

ЗАЩИТНИК. Она разрыдалась, когда услышала о ваших мнимых убийствах. Она говорит, что знает своего мужа лучше, чем он сам. Поэтому никакая необузданность ей не страшна: вы,

уверяет она, только хотели бы быть таким, за какого себя выдаете.

НЕЗНАКОМЕЦ. Что ж, прошу.

ЗАЩИТНИК. Я не понимаю вас! Одно только ваше слово — и вы свободный человек!

НЕЗНАКОМЕЦ. Свободный человек!

ЗАЩИТНИК. Почему вы смеетесь?

НЕЗНАКОМЕЦ. Это в качестве-то Ваделя, Анатоля Ваделя, гражданина города, автора скульптур?.. Нет, господин доктор Дюннер, это безнадежно, ступайте лучше гулять.

ЗАЩИТНИК. Что безнадежно?

НЕЗНАКОМЕЦ. Вся ваша защита.

ЗАЩИТНИК. Почему же?

НЕЗНАКОМЕЦ. Поговорим лучше о чем-нибудь другом... Например, о России!

ЗАЩИТНИК. Я в самом деле не понимаю вас, господин Вадель...

НЕЗНАКОМЕЦ (*яростно*). Я не Вадель!!!

Короткая пауза.

ЗАЩИТНИК. Кто же? Я спрашиваю вас: кто же?

Стук в дверь.

Кого мне защищать — человека без имени?

НЕЗНАКОМЕЦ. Именно.

Снова стук в дверь.

ЗАЩИТНИК. Войдите!

Дверь открывается.

Что случилось, Кнобель?

КНОБЕЛЬ. Госпожа.

ЗАЩИТНИК. А...

НЕЗНАКОМЕЦ. Прошу!

В камеру входит Юлика.

ЮЛИКА. Анатолий...

Молчание.

Ты не узнаешь меня, Анатолий?

НЕЗНАКОМЕЦ. Прошу вас, мадам, садитесь.

ЗАЩИТНИК. С вашего позволения, госпожа Вадель, я удаляюсь. Камера, как вы знаете, будет закрыта, но стражник рядом, можете крикнуть ему в случае чего.

Защитник и стражник выходят в коридор.

ЗАЩИТНИК. Кнобель, будьте поблизости.

КНОБЕЛЬ. Ясное дело.

ЗАЩИТНИК. На всякий случай.

КНОБЕЛЬ. Не беспокойтесь...

Защитник удаляется по коридору.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

В кабинете прокурора.

ПРОКУРОР. Не знаю, коллега, не знаю! Возможно, все обстоит и иначе.

ЗАЩИТНИК. Я так не думаю, господин прокурор.

ПРОКУРОР. Вы требуете от этого человека, чтобы он рассказал вам всю правду — где и когда он жил...

ЗАЩИТНИК. Я ведь его защитник.

ПРОКУРОР. Но что значит правда?

ЗАЩИТНИК. Прошу вас обратить внимание на факты: альбом и все прочее, совпадения абсолютные, а потом госпожа Вадель узнала его с первого взгляда, они беседуют уже более часа.

ПРОКУРОР. И что же?

ЗАЩИТНИК. Нет сомнения, что он ее муж.

ПРОКУРОР. Гм.

ЗАЩИТНИК. Почему вы улыбаетесь?

ПРОКУРОР. Вот что я вам должен сказать, коллега. Я уже больше двадцати лет прокурором. И знаю: доказать можно все, что угодно, кроме правды. Поверьте: никто, даже под пытками, не в состоянии сказать правду — разве что придумать ее.

ЗАЩИТНИК. То есть вы верите в эти его рассказы о жизни в джунглях?

ПРОКУРОР. В каком-то смысле — да.

ЗАЩИТНИК. Вы шутите господин прокурор...

ПРОКУРОР. Если вы будете мерить человека только по его делам, дорогой доктор, то вы никогда не узнаете его до конца. Вы с вашим требованием полной правды! Как будто все то, чего мы опасаемся или о чем мечтаем, все то, чего не успеваем сделать в жизни не относится к этой правде..

Стук в дверь.

Войдите.

Входит стражник.

КНОБЕЛЬ. Госпожа хочет поговорить с вами.

ЗАЩИТНИК. Где она?

КНОБЕЛЬ. Сейчас придет, господин доктор, только причешется.

ПРОКУРОР. Причешется?

КНОБЕЛЬ. Она говорит, что потеряла пуговицу.

ПРОКУРОР. Пуговицу?

КНОБЕЛЬ. Да от юбки.

ПРОКУРОР. Что случилось, Кнобель?

КНОБЕЛЬ. Не знаю, господин прокурор, я ведь был в коридоре, там ничего не было слышно...

Входит Юлика.

ПРОКУРОР. Садитесь, госпожа Вадель.

ЮЛИКА. Благодарю...

ПРОКУРОР. Будете виски?

ЮЛИКА. Это ужасно, господа...

ПРОКУРОР. Что именно?

ЮЛИКА. Где мой платок?

ЗАЩИТНИК. Вы очень взволнованы...

ЮЛИКА. Где мой пояс?

ЗАЩИТНИК. Пояс?

ЮЛИКА. У меня был пояс!

ЗАЩИТНИК. Кнобель, посмотрите!

ЮЛИКА. Черепаховый. С красной пражкой...

Стражник выходит, прокурор наполняет рюмки.

Вы только не подумайте, господа...

ПРОКУРОР. Вы можете не рассказывать, о чем не хотите.

ЮЛИКА. Спасибо.

ЗАЩИТНИК. Скажите нам только одно, госпожа Вадель, он — ваш муж или нет?

ЮЛИКА. Не знаю...

ЗАЩИТНИК. Не знаете?

ЮЛИКА. Я знала его совсем другим. Таким...

ЗАЩИТНИК. Таким грубым и скрытным, понимаю.

ЮЛИКА. Да нет, напротив.

ПРОКУРОР. Пейте виски, мадам. Вы действительно можете ни о чем не рассказывать.

ЮЛИКА. Напротив, он был само обаяние... Но это ужасно, господа, куда же девался пояс!

ЗАЩИТНИК. Успокойтесь, госпожа Вадель. Я убежден, что это не кто иной, как ваш супруг, иначе мы бы не стали подвергать вас опасности.

ЮЛИКА. Он был совсем не опасен — напротив...

ПРОКУРОР. Почему же вы так взволнованы?

ЮЛИКА. Я так счастлива, господа...

ПРОКУРОР. В самом деле?

ЮЛИКА. Он говорит, что его зовут Рип ван Винкль!

ПРОКУРОР. Как, как?

ЮЛИКА. Рип ван Винкль... *(Сдерживает рыдания.)*

ПРОКУРОР. Рип ван Винкль?

ЮЛИКА. Да!

ЗАЩИТНИК. Возьмите себя в руки, госпожа Вадель! Ведь вы не можете сомневаться в том, что это ваш муж!

ЮЛИКА. Я никогда не видела его таким... *(Рыдает.)* Он был... так... обворожителен...

Ее рыдания заглушаются монастырскими колоколами.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Акустика телефонного разговора.

СЕКРЕТАРША. Да, это секретариат прокуратуры. Я говорю с вами по просьбе прокурора. Сам он сейчас занят, а дело срочное.

ИНСПЕКТОР. О чем идет речь?

СЕКРЕТАРША. Господин прокурор хотел бы выяснить, существует ли или существовало ли когда-либо лицо по фамилии Рип ван Винкль. Имя кажется ему знакомым, однако...

ИНСПЕКТОР. Какое имя?

СЕКРЕТАРША. Рип ван Винкль.

ИНСПЕКТОР. Рип ван Винкль — а по буквам?

СЕКРЕТАРША. Точно так, как слышится.

ИНСПЕКТОР. Мы наведем справки.

СЕКРЕТАРША. Господин прокурор будет вам очень признателен.

ИНСПЕКТОР. Пожалуйста, пожалуйста.

Трубки вешаются.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

В камере. Незнакомец насвистывает.

КНОБЕЛЬ. Вы были правы, господин Рип ван Винкль. Госпожа — вчерашняя — ошиблась. Обыскались везде, а пояса нет. А оказалось, она забыла его дома.

НЕЗНАКОМЕЦ. Гм.

КНОБЕЛЬ. Как вы насчет голодовки?

НЕЗНАКОМЕЦ. А что сегодня?

КНОБЕЛЬ. Ячменный суп, кукуруза, яблочный кисель.

НЕЗНАКОМЕЦ. Нет, спасибо.

Стражник поднимает кастрюли, собираясь уходить.

Когда мне дадут виски?

КНОБЕЛЬ. Я говорю им каждый день о вашем желании, но они говорят, что алкоголь в тюрьме запрещен, но, знаете, господин ван Винкль, может быть, уже завтра вас выпустят в город.

НЕЗНАКОМЕЦ. Меня?

КНОБЕЛЬ. Или послезавтра. Тогда уж вы сможете пить виски сколько захотите.

НЕЗНАКОМЕЦ. Как это — в город?

КНОБЕЛЬ. Мне нельзя об этом говорить, господин ван Винкль.

НЕЗНАКОМЕЦ. Что значит — в город? А ну, говори. Что все это значит? Меня хотят освободить под чужим именем?

КНОБЕЛЬ. Господин ван Винкль...

НЕЗНАКОМЕЦ. Говорите же! Что они задумали?

КНОБЕЛЬ. Ну, что-что...

НЕЗНАКОМЕЦ. А то весь этот кисель так и останется в моей камере, уж будьте уверены, Кнобель...

КНОБЕЛЬ. Вы, кажется, очень понравились даме...

НЕЗНАКОМЕЦ. И что же?

КНОБЕЛЬ. И она оставила залог...

НЕЗНАКОМЕЦ. Залог?

КНОБЕЛЬ. Да, какую-то сумму, я слышал краем уха, точно не знаю...

НЕЗНАКОМЕЦ. Залог? За что?

КНОБЕЛЬ. Ну, за вас, господин ван Винкль. Она влюбилась в вас, я это сразу заметил, как только она вышла из камеры... И вы получите разрешение дважды в неделю выходить в город.

НЕЗНАКОМЕЦ. С ней?

КНОБЕЛЬ. Свежий воздух и вообще развлечения — это не повредит, сказал прокурор. Доктор Дюннер тоже за. Свидание с родиной, как он выразился, — госпожа покажет вам наш город.

НЕЗНАКОМЕЦ. Гм.

КНОБЕЛЬ. Скоро мы обо всем узнаем. Во всяком случае, они подумывают об этом, иначе не стали бы меня спрашивать: «Как вы думаете, будет ли заключенный вести себя смиренно на улицах?»

НЕЗНАКОМЕЦ. И что вы ответили?

КНОБЕЛЬ. Что гарантировать я не могу.

НЕЗНАКОМЕЦ. Спасибо, Кнобель.

КНОБЕЛЬ. Если уж человек, я говорю, явился из джунглей. С Ямайки...

НЕЗНАКОМЕЦ. Из Мексики!

КНОБЕЛЬ. Им это все равно, господин ван Винкль, они не верят ни тому, ни другому.

Незнакомец, смеясь, бросается на нары.

НЕЗНАКОМЕЦ. Гулять!

КНОБЕЛЬ (*поднимая кастрюлю*). Не будь у меня семья, господин ван Винкль, я бы и дня не стал медлить; поверьте: вот этими ключами бы открыл камеру и удрал бы с вами в джунгли, ей-богу! Чтоб у этих господ глаза на лоб повылазили!

Снаружи кто-то кричит, подзывая стражника.

Да, иду, иду!

НЕЗНАКОМЕЦ. Гулять — и восторгаться ботаническим садом, словно никогда и не видел всех этих растений в жизни, а не понарошку!.. Кормить лебедей, пилиться на искусственные холмики, как будто на свете нет настоящих вулканов...

КНОБЕЛЬ. А вы видели настоящие вулканы?

НЕЗНАКОМЕЦ. Вулканы, милый Кнобель, это и есть то, что я называю природой: горы, извергающие такую пылающую лаву, что всю ночь нельзя заснуть от жары и света...

КНОБЕЛЬ. Ну и ну.

НЕЗНАКОМЕЦ. А земля сотрясается как от стука...

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. Я работал тогда на плантации. Вдруг чувствую запах серы. Ага, думаю, и сматываю удочки, потому что земля уже накаляется под ногами. Через час оглядываюсь, а сзади уже маленький холм... На другой день дым поднимается такой, что не видно солнца, а грохот такой, что люди в страхе бросают свои дома, в церквах звонят день и ночь, и на наших глазах вырастает гора, птицы галдят, а солнце как красный шар. На шестой день, когда уж и собаки визжали и жались к земле, гора взорвалась. Трах! — и пылающие камни полетели в небо.

КНОБЕЛЬ. Вулкан?

НЕЗНАКОМЕЦ. Конечно.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну, а о том, как растекается лава, я расскажу в другой раз, несите ваш кисель, милый Кнобель.

КНОБЕЛЬ. Лава?

НЕЗНАКОМЕЦ. Красная, как кровь черного быка, она вырывается, как из огненной печи, и раскаленным оловом надвигается на округу — медленно, но неотвратно поглощает леса, все трещит и ломается, она наползает на деревни, затопляет дома, и

только верхушки церковей торчат над лавой, указывая место, где была деревня. А потом она застывает, становится серой и фиолетовой, как шлак. И немой, как смерть, немой, как вечность.

КНОБЕЛЬ. Ну и ну!

НЕЗНАКОМЕЦ. И только гора потихоньку еще курится среди огненных облаков — кто изведал все это хоть раз в жизни, мой славный Кнобель, тот знает, какой огонь заложен внутри земли и что значит быть человеком, гостем на этой земле... Несите же ваш кисель!

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Акустика телефонного разговора.

ПРОКУРОР. Ну, это же сказка, дорогой мой.

ГОЛОС. Больше ничего не могу тебе сообщить.

ПРОКУРОР. Ну, спасибо. Легенда! А я тут опрашиваю все канцелярии, и, разумеется, никто не может сказать мне, кто такой Рип ван Винкль. И вот — легенда!

ГОЛОС. Уж не помню, где я об этом читал, но есть такое американское предание, в котором речь идет о человеке с таким именем, это я знаю твердо, но вот где.

ПРОКУРОР. Этого достаточно, спасибо. Ты оказал мне большую услугу, серьезно...

ГОЛОС. Ну что ж, тогда до вечера.

ПРОКУРОР. Привет жене... *(Вешает трубку.)* Легенда! Фрейлейн Шмидт, можете не звонить больше. Возьмите лист бумаги и записывайте.

Секретарша вставляет в машинку новый лист бумаги и выстукивает под диктовку прокурора.

Рип ван Винкль. Американская легенда... Рип ван Винкль, старик-голландец, уже много лет жил в Нью-Амстердаме, где все знали его как славного и трудолюбивого человека. Однажды он прогуливался по берегу Гудзона и, утомившись, прилег заснуть на черных скалах Манхэттена... Вдруг он был разбужен сильным шумом, глухим, как подземный гром. В большой тревоге он отправился в путь...

СЕКРЕТАРША. В большой тревоге...

ПРОКУРОР. Он отправился в путь, желая найти источник шума, и пришел в грот, которого никогда прежде не видел. Здесь резвились, играя в кегли, гномы, отчего и происходил такой шум.

Заметив Рип вап Винкля, гномы окружили его и не отстали пока он не сел с ними пить... За угощение Рип должен был помогать им расставлять кегли. Игра и питье, шум и смех продолжались нескончаемо долго, бедный Рип едва успевал ставить кегли, как гномы, смеясь уже сбивали всю кучу, так что земля сотрясалась от треска и грохота... Когда же Рип ван Винкль наконец проснулся, он все еще лежал на черных скалах Манхэттена, солнце по-прежнему светило, будто прошло не более часа. Однако когда...

СЕКРЕТАРША. Не более часа...

ПРОКУРОР. Однако когда Рип ван Вппкль вернулся в свой город, все было совсем другим — прошли уже годы. Его дом был разрушен и зарос бурьяном, и Рип не мог найти ни одного знакомого человека. Но и люди не знали о нем ничего, кроме его имени. Так он оказался чужим в чужом городе...

СЕКРЕТАРША. Его имени...

ПРОКУРОР. Так он оказался чужим в чужом городе...

Стук машинки смолкает.

Хорошо.

СЕКРЕТАРША. Это все, господин прокурор?

ПРОКУРОР. Да.

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ

В кафе. Шум кофеварки, как прежде.

ЮЛИКА. Почему ты все время молчишь?

Шум кофеварки.

Почему ты молчишь, я спрашиваю.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я люблю тебя, Юлика.

ЮЛИКА. Но тебя что-то тревожит?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не выношу вопросов.

ЮЛИКА. Анатолий...

НЕЗНАКОМЕЦ. Я — не Анатолий, я не твой муж, Юлика, и если ты не можешь этого понять... Может быть, твой муж еще мог мириться с этим, но и то в конце концов не вытерпел...

ЮЛИКА. Чего?

НЕЗНАКОМЕЦ. Этих вопросов: где ты был и прочее... Официант!

ЮЛИКА. Прошу тебя!

НЕЗНАКОМЕЦ. Я был в джунглях, моя дорогая, и больше я ничего тебе не скажу. Хочешь верь, хочешь нет, только оставь эти расспросы, иначе я снова уеду в джунгли... Официант!

ЮЛИКА. Почему ты все раздражаешься?

НЕЗНАКОМЕЦ. Официант!

ЮЛИКА. Я думала, ты будешь рад побыть на свободе, погулять на свежем воздухе, посмотреть на город. Помнишь, как мы любили сидеть в этой нише? Со Штоллом и всей этой компанией. Они все время уверяли меня, что ты мертв. Но я знала, что мой муж вернется. Представь, они собирались устроить памятную выставку работ Анатоля Ваделя — твоих работ! Я не дала согласия, потому что верила, что ты жив.

ОФИЦИАНТ. Чем могу служить?

НЕЗНАКОМЕЦ. Еще виски.

ОФИЦИАНТ. Пожалуйста.

ЮЛИКА. Тебе бы не следовало так много пить.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я хочу пить, моя дорогая, и, кроме того, я не позволю себе указывать, сколько мне пить. Говорю в последний раз: я не твой муж, Юлика. Жаль, что ты не можешь это признать. Ты была бы великолепной женой, ты хорошо выглядишь...

ЮЛИКА. Я, правда, хорошо себя чувствую.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну вот видишь.

ЮЛИКА. Но я была очень больна, почти при смерти.

НЕЗНАКОМЕЦ. Положим. Но зачем тебе без конца вспоминать все то время, которое ты провела без меня, твоего мужа, как ты уверяешь, зачем тебе теперь думать о твоей болезни. Я тебя не понимаю, Юлика.

ЮЛИКА. Я тебя тоже.

НЕЗНАКОМЕЦ. Разве отсюда следует, что я твой муж? Ты чудесная женщина, Юлика, я говорю это вовсе не потому, что ты внесла за меня залог, я в самом деле очень сожалею, что ты не встретила мне раньше в жизни. Поверь, ты прекрасная, удивительная женщина, каких я никогда не встречал, — но лишь до тех пор, пока не начинаешь думать, что я — твой муж...

ОФИЦИАНТ. Виски, пожалуйста.

НЕЗНАКОМЕЦ. Благодарю. Все было бы так хорошо, Юлика. Если бы ты только перестала говорить об исчезнувшем муже, о его мастерской, его привычках. Какое мне до всего этого дело?

ЮЛИКА. Анатолий...

НЕЗНАКОМЕЦ. Можешь называть меня Анатодем сколько угодно, но от этого я им не стану.

ЮЛИКА. А если я это тебе докажу?

НЕЗНАКОМЕЦ. Что?

ЮЛИКА. Что ты мой муж.

НЕЗНАКОМЕЦ. Юлика...

ЮЛИКА. Что тогда?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я бы убил тебя, Юлика, как убил свою первую жену.

Шум кофеварки.

ЮЛИКА. Ты же сам видишь, тебя все узнают, вот с тобой поздоровался Штолл.

НЕЗНАКОМЕЦ. Кто такой Штолл?

ЮЛИКА. Ну, писатель.

НЕЗНАКОМЕЦ. Он без конца глазсет в нашу сторону.

ЮЛИКА. Просто не верит своим глазам, что ты вернулся. А то бы давно подошел. Тебя все знают, с тобой и на улице все здоровались, хоть ты ни на кого не обращал внимания. Чудак! Неужели ты думаешь, я пригласила бы тебя к себе, если б ты не был моим мужем...

НЕЗНАКОМЕЦ. Официант!

ЮЛИКА. За кого ты меня принимаешь?

НЕЗНАКОМЕЦ. Официант!

ЮЛИКА. В шесть часов ты должен вернуться...

НЕЗНАКОМЕЦ. Официант!

ЮЛИКА. Я провожу тебя.

НЕЗНАКОМЕЦ. Еще виски!

ОФИЦИАНТ. Извольте.

НЕЗНАКОМЕЦ. А если я не вернусь в тюрьму?

ЮЛИКА. То есть?

НЕЗНАКОМЕЦ. Если убегу?

ЮЛИКА. Ты этого не сделаешь, милый.

НЕЗНАКОМЕЦ. Почему?

ЮЛИКА. Из-за меня...

НЕЗНАКОМЕЦ. Как ты уверена!

ЮЛИКА. Ты ведь знаешь, что если еще раз бросишь меня...

НЕЗНАКОМЕЦ. То ты вновь заболеешь, и я буду твоим убийцей, знаю. *(Бьет рукой по столу, так что дрожит посуда.)*

ЮЛИКА. Что ты?

Пауза. Потом подходит официант.

ОФИЦИАНТ. Виски, пожалуйста.

НЕЗНАКОМЕЦ. Позвольте расплатиться.

ОФИЦИАНТ. Одну минутку, господин...

НЕЗНАКОМЕЦ. Мне некогда ждать.

ОФИЦИАНТ. Минутку. *(Отходит и что-то говорит другому.)*

ЮЛИКА. Почему ты так смотришь на меня?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я думал, ты меня любишь.

ЮЛИКА. А разве нет?

НЕЗНАКОМЕЦ. На самом деле ты только преследуешь цель: добиться, чтобы меня приговорили быть твоим мужем... Уже без десяти шесть, я знаю! В этом городе есть только один человек, который меня любит, это мой стражник, он мне верит, когда я рассказываю ему о себе. И не думает, что знает меня. Вы же, вы все, вы только хотите, чтобы я не был самим собой, и ты тоже, моя дорогая...

ОФИЦИАНТ. Вы хотели платить господин?

НЕЗНАКОМЕЦ. Пожалуйста.

Шум кофеварки.

СЦЕНА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В танцклассе балетной школы. Те же шум и музыка, что и в третьей сцене.

ГОЛОС. Георг, Георг!

ГЕОРГ. Qu' est-ce qu'il ya?

ГОЛОС. К телефону!

ГЕОРГ. Je travaille!

ГОЛОС. C'est Julika.

ГЕОРГ. M'excusez, Messieurs. Je reviendrai tout suite. Continuez votre exercice. *(Проходит в кабину.)*

Музыка, как и в третьей сцене, слышится приглушенно.

Алло? Это я. Как твои дела, Юлика? Ты в Париже? Ах так, понимаю. Ты должна слышать мой голос? Зачем? Ах, он... Когда же ты вернешься? Никогда... Ну, отчего же ты плачешь, Юлика, не понимаю. Жертва, ну конечно, это жертва с твоей стороны, но ты должна ее принести. Совсем нет, Юлика, ты должна делать все, чтобы быть счастливой, даже если только страдание может принести тебе счастье... Ну конечно. Ты ведь страдалица, ты не любишь ни его, ни меня, ты любишь только быть на совести у мужчины, чтобы он причинял тебе боль, а я на это не способен, ты знаешь... Да, Юлика, это все, что я могу тебе сказать. Алло? Алло! Алло?.. *(Вешает трубку, возвращается в класс.)* Messieurs, nous continuons!

СЦЕНА СЕМНАДЦАТАЯ

В кабинете прокурора.

ЗАХТЛЕБЕН. Это все, господин прокурор, что я могу сообщить.

ПРОКУРОР. Мы вам благодарны, господин Захтлебен. И не обижайтесь, пожалуйста, что в наших досье вы названы «гангстером». Это слово, как вы могли заметить, взято в кавычки, оно принадлежит нашему арестанту.

ЗАХТЛЕБЕН. Я подам на него в суд за оскорбление личности.

ПРОКУРОР. Еще один только вопрос, господин Захтлебен...

ЗАХТЛЕБЕН. Пожалуйста.

ПРОКУРОР. Вы имеете хоть какое-нибудь отношение к Ямайке?

ЗАХТЛЕБЕН. То есть? Почему вы об этом спрашиваете?

ПРОКУРОР. Меня не интересуют ваши деловые связи, господин Захтлебен, я хочу только знать, рассказывали ли вы что-нибудь о Ямайке Анатолию Ваделю, когда он работал над вашим скульптурным портретом?

ЗАХТЛЕБЕН. Возможно...

ПРОКУРОР. Ага.

ЗАХТЛЕБЕН. У меня дом на Ямайке.

ПРОКУРОР. Ага.

ЗАХТЛЕБЕН. Почему вы об этом спрашиваете?

Прокурор встает, господин Захтлебен тоже.

ПРОКУРОР. Мы вам благодарны, господин Захтлебен. Для нас было большим облегчением узнать, что вы не убиты.

ЗАХТЛЕБЕН. Не убит?

ПРОКУРОР. Видите ли, наш арестованный упорно настаивает на том, что убил вас много лет назад на Ямайке.

ЗАХТЛЕБЕН. Меня?

ПРОКУРОР. Да, на Ямайке.

ЗАХТЛЕБЕН. Ну, это уж, знаете!

Прокурор провожает его до двери, прощается, закрывает за ним дверь.

ЗАЩИТНИК. Ну вот!

ПРОКУРОР. Вы ликуете, милый доктор?

ЗАЩИТНИК. Вы нет?

Прокурор закуривает сигару и предлагает защитнику.

Спасибо, я не курю сигары.

ПРОКУРОР. Вот, стало быть, каков этот гангстер...

ЗАЩИТНИК. Он никого никогда не убивал, я это сказал с самого начала!

ПРОКУРОР. Да это-то все так.

ЗАЩИТНИК. А в чем же дело?

ПРОКУРОР. Постепенно, милый доктор, я начинаю понимать, в чем здесь дело... Анатолий Вадель был обычным человеком, то есть человеком, который слишком тратит себя. А результат всегда один: он не жил, а играл роль, навязанную себе самому. Отсюда вечное чувство неудовлетворенности всех тех, кто не принимает себя. Ему, например, очень хотелось спустить с лестницы этого Захтлебена, когда тот пришел требовать долг, но он, как человек воспитанный и сдержанный, не сделал этого — зато убил кого-то другого в своих мечтах. Мы все, дорогой доктор, прекрасно знаем, кем мы должны стать, как вдруг оказывается, что мы не знаем, кто мы. То есть мы вдруг вообще перестаем быть действительностью. Потому что не принимаем нашу действительность. Все становится призрачным... В этом, я думаю, и есть смысл истории о Рип ван Винкле.

ЗАЩИТНИК. То есть?

ПРОКУРОР. Эти смешные кегли, которые без конца ставит Рип ван Винкль, а гномы без конца сбивают,— что это такое, как не наши смешные требования и претензии? Нечто неуловимое, мнимое, в погоне за чем проходит вся жизнь человека, пока он не проснется — не примет себя, как он есть. Но что происходит тогда? Он возвращается в свой город с сознанием, что действительно его место в мире вовсе не то, на котором его привыкли видеть другие и он сам. И проснувшийся становится чужим человеком в чужом городе, незнакомцем, безымянным... Но ведь мы ни за что не потерпим, чтобы среди нас был человек без имени, мы все сделаем для того, чтобы загнать его в старую призрачную роль.

Стук в дверь.

И что тут делать, доктор, я не знаю. Во всяком случае, я далек от ликования.

Стук в дверь.

Войдите!

Входит стражник.

КНОБЕЛЬ. Господин прокурор, машина готова.

ПРОКУРОР. Благодарю. Итак, мы едем в мастерскую Анатолия Ваделя. Может быть, господин доктор, вам с дамой следует поехать пораньше, а мы с арестованным явимся после вас.

ЗАЩИТНИК. Хорошо, господин прокурор.

ПРОКУРОР. Посмотрим, что из этого выйдет.

СЦЕНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В мастерской. Слышны тяжелые удары близких колоколов.

ЗАЩИТНИК. Это, стало быть, мастерская?

ЮЛИКА. Теперь вы понимаете, господин доктор, почему он так ненавидит эти колокола? Когда бьют час, еще ничего, но когда одиннадцать! Через четверть часа вы это услышите.

ЗАЩИТНИК. Они вот-вот подъедут.

ЮЛИКА. Его последние работы...

ЗАЩИТНИК. А-а...

ЮЛИКА. Все засохло! К сожалению. Я ничего здесь не трогала, понимаете, его искусство для меня святыня, вообще искусство...

ЗАЩИТНИК. А это что?

ЮЛИКА. Этюды. Все это завернуто, чтобы не засохла глина. Но она все равно засохла. Пять лет все-таки срок. Почему вы так смотрите на меня?

ЗАЩИТНИК. Позволю себе заметить, госпожа Вадель, все это похоже на мумии.

ЮЛИКА. А-а, с этими тряпками вокруг...

ЗАЩИТНИК. Не правда ли?

ЮЛИКА. Наверно, будет крошиться, если тронуть рукой... Должно быть, это правильно, что я присутствую при этой встрече, вернее, очной ставке...

ЗАЩИТНИК. Конечно.

ЮЛИКА. У вас найдется закурить, господин доктор?

ЗАЩИТНИК. Ну конечно, пожалуйста.

ЮЛИКА. Когда он здесь работал, о господи, какие то были счастливые времена! Хотя я так разболелась потом... Спасибо! Это лучшая мастерская в городе, отсюда такой красивый вид на городские крыши, под окном воркуют голуби, а в ясную погоду вдали видны даже горы. Не понимаю, почему он не хотел сюда вернуться. Не понимаю!

ЗАЩИТНИК. Он здесь и спал?

ЮЛИКА. То есть?

ЗАЩИТНИК. Ну, жил, спал, готовил — работ гал...

ЮЛИКА. И как работал! Вот, взгляните на эту бронзу. Его последняя. Оригинал выставлен в Национальном музее.

ЗАЩИТНИК. Это вы?

ЮЛИКА. Нет.

ЗАЩИТНИК. Простите.

ЮЛИКА. Видите, как все абстрактно!

ЗАЩИТНИК. О да.

ЮЛИКА. А вот мой портрет.

ЗАЩИТНИК. А-а...

ЮЛИКА. Как он вам нравится?

ЗАЩИТНИК. Тоже — очень абстрактно...

ЮЛИКА. Не правда ли?

ЗАЩИТНИК. К тому же такой прекрасный вид на город! Простите, но я действительно не могу оторваться. Даже речку видно! Я тоже не понимаю, госпожа Вадель, как человек может предпочитать тюрьму такой мастерской...

Звонок в дверь.

ЮЛИКА. Боже мой!

ЗАЩИТНИК. Возьмите себя в руки, госпожа Вадель.

ЮЛИКА. Это он...

ЗАЩИТНИК. Повторяю: ни в чем не противоречьте ему, предоставим все течению времени. Болтайте о чем-нибудь, будто мы здесь случайно, он сам увидит скульптуры и...

ЮЛИКА. А если он их разобьет?

ЗАЩИТНИК. Признает тем самым, что он — их создатель...

Снова звонят у двери.

ЮЛИКА. Нет-нет, господин доктор, лучше вы откройте!

Защитник подходит к двери и открывает ее. Голос на лестнице.

ГОЛОС. Утильсырье!.. Утильсырье!..

Дверь вновь закрывается.

ЮЛИКА. О чем мы говорили?

ЗАЩИТНИК. Завтра состоится судебное разбирательство, и нет сомнений, госпожа Вадель, что его признают вашим мужем, но было бы лучше, конечно, если бы он признал это сам.

ЮЛИКА. Конечно.

ЗАЩИТНИК. Это последняя возможность... Что это такое?

ЮЛИКА. Портрет.

ЗАЩИТНИК. Какого-то преступника?

ЮЛИКА. Вы его не знаете?

ЗАЩИТНИК. Захлебена?

ЮЛИКА. Слабая вещь, по-моему, слишком натуралистическая. Да, тот самый, которого он «убил». А видели бы вы, как Анатолий вел себя с ним на самом деле, когда этот миллионер не захотел платить! Ни единого громкого слова, ни звука, Анатолий просто отказался от денег. Я еще не видела человека, который так же не умел бы скандалить и спорить, как Анатолий. Для претен-

зий у него слишком благородная душа. И что бы ни случилось, он во всем обвиняет себя. За это я и люблю его...

Стук в дверь.

Войдите.

ЗАЩИТНИК. Войдите!

Дверь открывается.

ЮЛИКА. Доброе утро, господин прокурор.

ПРОКУРОР. Доброе утро, госпожа Вадель.

ЮЛИКА. А где же мой муж?

ПРОКУРОР. Кнобелы!

КНОБЕЛЬ. Да.

ПРОКУРОР. Введите господина.

Кнобель вводит Незнакомца.

ЮЛИКА. Анатолий!

НЕЗНАКОМЕЦ. Что это значит?

ПРОКУРОР. Это мастерская Анатоля Ваделя.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну и что же?

ПРОКУРОР. Не угодно ли снять пальто, господин ван Винкль. Крючок здесь наверняка где-нибудь найдется.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не собираюсь здесь задерживаться.

ЮЛИКА. Анатолий?!

НЕЗНАКОМЕЦ. Чего от меня хотят?.. Я не сниму пальто.

ЗАЩИТНИК. Здесь есть даже вешалка!

НЕЗНАКОМЕЦ. Чего от меня хотят?... — я спрашиваю... Не трогайте меня, доктор, я этого не выношу, а не то я вас ударю.

Защитник отбрасывает вешалку.

Я спрашиваю в последний раз: чего от меня хотят?

ЮЛИКА. Ты разве не узнаешь место, где находишься?

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну, довольно. Да, я признаю, что правда, то правда: я в связи с этой дамой...

ЮЛИКА. Анатолий!

НЕЗНАКОМЕЦ. Но зачем меня привели в эту пыльную мастерскую? Зачем, я спрашиваю. Мне плевать на весь этот хлам. Что мне до него? Что ему до моей жизни? Одни мумии... Эта голова, например!

ЮЛИКА. Это — ты сам.

НЕЗНАКОМЕЦ. Чертовщина какая-то!

ЗАЩИТНИК. Повторяю, я не разбираюсь в искусстве...

НЕЗНАКОМЕЦ. Я тоже.

ЗАЩИТНИК. Но полагаю, что приговор ваш слишком суров. Я где-

то читал, что у всякого художника бывают минуты, когда его творчество делается ему невыносимо.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не художник.

ЗАЩИТНИК. И все-таки...

НЕЗНАКОМЕЦ. А это Захтлебен?

ЮЛИКА. Не думай ты о Захтлебене...

НЕЗНАКОМЕЦ. Мне приятно о нем думать, ведь я убил его, а твой муж только и сумел, что отлить его в бронзе, да еще так прескверно!

ЗАЩИТНИК. Это может заметить лишь специалист, господин Вадель...

НЕЗНАКОМЕЦ (*кричит*). Я не Вадель!!! (*С трудом овладев собой.*)

Если я еще раз услышу это имя — я разнесу весь этот хлам.

ЮЛИКА. Неужели ты не узнаешь дело собственных рук?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я вижу, что здесь какой-то заговор. Я люблю эту женщину, правда, зачем отрицать? Ее привели ко мне в камеру, нам разрешили выйти вместе с ней в город, что было, то было, и я прямо говорю: я люблю эту женщину. Ну и что из этого? Не думайте, что я позволю навязать мне роль ее мужа...

ЮЛИКА. Анатоль?

НЕЗНАКОМЕЦ. Это не я.

ЮЛИКА. Господи...

НЕЗНАКОМЕЦ. Или ты любишь меня таким, как я есть, и отказываешься от своего Анатоля, или...

ЗАЩИТНИК. Или?

НЕЗНАКОМЕЦ. Или пошел он к черту — со всем, что о нем напоминает, со всем, всем...

Слышно, как незнакомец опрокидывает на пол скульптуру, Юлика кричит, он сбрасывает другие работы.

ЗАЩИТНИК (*кричит*). Господин Вадель, господин Вадель!

Незнакомец продолжает громить мастерскую, приговаривая: «Это не я! Это не я!» Шум и крики заглушаются колоколами, которые бьют одиннадцать раз.

СЦЕНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Колокола смолкают. Действие переносится в зал суда. Шелест бумаги, потом полная тишина.

ПРОКУРОР. Позвольте огласить приговор... Обвиняемый, пересекший три недели назад нашу границу и при этом оскорбивший действием наш служебный персонал, выдавал себя в течение про-

цесса за некоего Рип ван Винкля, не имея надлежащих документов, удостоверяющих его личность. Поскольку он не сумел опровергнуть всеобщее подозрение в том, что он является пропавшим Анатодем Ваделем, то, на основании многочисленных свидетельств и невзирая на его упорное отпирательство, суд приговаривает его с сегодняшнего дня носить имя Анатоля Ваделя. В признание его заслуг суд постановляет не обременять господина Ваделя заботами, связанными с процессуальными расходами, а поскольку Академия искусств изъявила согласие взять на себя все издержки, относящиеся к проступкам Анатоля Ваделя, суд постановляет освободить его из-под стражи.

ЮЛИКА. Анатоли!

ПРОКУРОР. На этом наше заседание закончено.

Шум, голоса. Все встают и расходятся.

ЗАЩИТНИК. Поздравляю, господин Вадель, поздравляю! Вы слышали? Вы свободны.

ЮЛИКА. Я закажу такси...

ЗАЩИТНИК. Почему вы мыслите?

ЮЛИКА. На улице дожидается толпа журналистов, но не беспокоюсь, милый, в мастерской мы будем одни...

Юлика и Незнакомец уходят.

ЗАЩИТНИК. Ушел, даже не пожав мне руки! Моего клиента оправдывают, а он даже не благодарит — такого со мной еще не бывало.

ПРОКУРОР. Вы обижены, коллега?

ЗАЩИТНИК. Есть за что.

ПРОКУРОР. А за что ему благодарить вас?

ЗАЩИТНИК. Ну все-таки...

ПРОКУРОР. Я его понимаю.

ЗАЩИТНИК. Ведь — свобода! Что ему еще нужно, господин прокурор? Он — на свободе, а со мной, своим защитником, обращается как с пустым местом!

ПРОКУРОР. Не волнуйтесь.

ЗАЩИТНИК. Разве я не старался?

ПРОКУРОР. Для него это суровый приговор.

ЗАЩИТНИК. То есть?

ПРОКУРОР (*открывая дверь*). Прошу вас, коллега.

Очи входят в кабинет прокурора. Дверь закрывается.

ЗАЩИТНИК. Что значит — суровый приговор?

ПРОКУРОР. Я бы его пощадил... Выпьем виски!.. Мы приговорили человека быть тем, кем он уже был.

ЗАЩИТНИК. Не понимаю

ПРОКУРОР. К сожалению, мы делаем так всегда!

ЗАЩИТНИК. Что?

ПРОКУРОР. Мы создаем образ человека и не выпускаем его из этого образа. Мы знаем, что этот человек то-то и то-то, и, что бы с ним ни произошло, мы никогда не потерпим, чтобы он полностью изменился. Вы видите, даже его жена хочет, чтобы он всегда был таким, каким она его знает, и называет это любовью.

ЗАЩИТНИК. Но, господин прокурор...

ПРОКУРОР. Мы не терпим ничего безымянного, живого и не успокаиваемся до тех пор, пока не приговорим человека к определенному имени... *(Наполняет стаканы.)* Почитайте-ка эту сказку о Рип ван Винкле. Лучше я не сумею объяснить. Человек просыпается, чтобы быть самим собой, мы же...

Стук в дверь.

Войдите!

Входит стражник.

Что случилось, Кнобель? На вас лица нет.

КНОБЕЛЬ. Господин прокурор...

ПРОКУРОР. Да говорите же!

КНОБЕЛЬ. Он... говорят, он ее задушил..:

ЗАЩИТНИК. Задушил?

ПРОКУРОР. Свою жену?

КНОБЕЛЬ. Говорят, только они вышли...

ПРОКУРОР. Она мертва?

КНОБЕЛЬ. Нет, господин прокурор, но, говорят, чуть было не...

ПРОКУРОР. А где он?

КНОБЕЛЬ. Опять в камере.

ПРОКУРОР. Хорошо. Спасибо, Кнобель, спасибо.

ЗАЩИТНИК. А его жена?

КНОБЕЛЬ. Санитарная машина должна вот-вот приехать...

ПРОКУРОР. Хорошо.

Стражник выходит.

Садитесь, коллега, и выпейте виски.

ЗАЩИТНИК. Боже праведный...

ПРОКУРОР. На этот раз, коллега, я сам буду его защищать.

Фридрих ДЮРРЕНМАТТ

Страницкий
и
Национальный
герой

Голоса:

ДИКТОР
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СТРАНИЦКИЙ
ГОСПОДИН
С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ
КОРЪМАХЕР
АНТОН
МАРИЯ
РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ
ФЛЕЙШЕР
ЗЕВЕЙН
ПРОДАВЕЦ ПАМЯТНЫХ ЗНАЧКОВ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДОННЕР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
ВАЙТБЛЕЙК
ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА
ГОЛОС СЗАДИ
И ДРУГИЕ ГОЛОСА

ДИКТОР. Эта история — про болезнь Национального героя Бальдура фон Меве, которого знает и о котором говорит весь мир, и про одного инвалида, которого никто не знает. Болезнь Национального героя вызвала сенсацию.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Эта болезнь коварна...

ДИКТОР. Как выразился в своем выступлении по радио министр внутренних дел.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Но наш национальный герой может быть уверен...

ДИКТОР. Как добавил министр.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ...что в этом тяжком испытании с ним любовь и почитание всей нации.

ДИКТОР. Напротив, случай инвалида...

СТРАНИЦКИЙ (*скромно*). Страницкого.

ДИКТОР. Страницкого — лишь один из многих. Конечно, этот случай достоин сожаления, однако времена были нелегкие, и мы все достаточно пережили. История начинается в восточных кварталах нашей столицы, вблизи парфюмерной фабрики Губера и трикотажного концерна Диана и К^о, на верхних этажах доходного дома, неоднократно испытавшего на себе мучительные потрясения эпохи, но чудесным образом устоявшего. Мы находимся в комнате четырнадцатой, на шестом этаже, под самой крышей. Полшестого утра. В доме повсюду шум. Отчетливый запах отхожих мест. В соседний номер пятнадцатый, только что вернулся господин с окладистой бородой, который всегда навеселе и чей род занятий никому не известен.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ (*во все горло*).

Луизз очень хороша,

Ох, хороша — и ша!

ДИКТОР. В это время другой соседний номер, тринадцатый, покидает, и не одна, фрейлейн Мюллер, Луиза Мюллер, чей род занятий, напротив, всем известен, — но умолчим об этом. Повсюду детский крик.

Слышен детский крик.

Этажом ниже радио играет траурный марш Шопена.

Слышен траурный марш.

А прямо под четырнадцатой комнатой, у Корбмахеров, как каждое утро в это время, происходит ссора.

КОРБМАХЕР. Крыса! Потаскуха!

Слышен звон бьющейся посуды.

ДИКТОР. Наверху же, в комнате четырнадцатой, наполненной всеми

этими звуками — детским криком, пьяным пением и траурным маршем, а вдобавок храпом огромного человека в изрядно поношенной одежде, расположившегося на ночлег на дырявом матрасе,— как раз напротив него на таком же матрасе лежит инвалид...

СТРАНИЦКИЙ (*скромно*). Страницкий.

ДИКТОР. ...Страницкий, кое-как прикрытый старой шинелью и, бледный от волнения, пробегает глазами строчки газеты.

СТРАНИЦКИЙ. Я так взволнован, прямо газета падает из рук! Печальная весть о нашем Национальном герое Бальдуре фон Меве! Как это здорово, что вчера, возвращаясь домой после тарелки супа, я углядел на обочине тротуара газету. Антон, сказал я своему bravому матросу, который всегда толкает мою тележку по улицам столицы и, как ребенка, поднимает меня на пятый этаж и которому я в этой окаянной сделке одалживаю свои глаза в обмен на его ноги,— эй, Антон, сказал я, там лежит газета. Согни-ка два метра десять, на которые ты вымахал, пошарь немного левее, и она будет наша. Я бы хотел взглянуть утром — в полшестого уже светло, а ты все еще храпишь,— что принесла нам новая мировая история взамен твоих глаз и моих ног. И вот, когда с пением бородача и потасовкой у Корбмахеров наступило утро и я раскрыл газету, то тут же прочел сообщение. Здесь, прямо на первой странице, большими буквами! Эй, Антон, просыпайся!

АНТОН. Что такое?

СТРАНИЦКИЙ. Сенсация, Антон. Шанс!

АНТОН. Какая сенсация? Что за шанс? Сенсации у меня бывают теперь только во сне! Там я плаваю на глубине в пятьдесят футов в своем водолазном костюме — том самом, которому пришла крышка, когда «Глория» взлетела на воздух, а вместе с ней полетели в небесную синеву и мои глаза, голубые, как морская вода. Я как раз висел на каких-то обломках, прибитых волнами к коралловому рифу, окруженный каракатицами с метровыми извивающимися щупальцами — и тут-то ты влез со своим дурацким «эй, Антон, просыпайся!». Вот это и был шанс, Страницкий,— золото, сиявшее мне, пока я спал, из расплзшихся кошельков между морскими звездами и медузами.

СТРАНИЦКИЙ. Ты просыпаешься, а золото-то тютю? Плевать мне на твои сны! Я могу предложить тебе реальный шанс, который составит наше счастье, а заодно и счастье всего мира. Слышишь траурный марш?

Слышен траурный марш Шопена.

АНТОН. А, понимаю! Это играют по радио всегда, когда умирает кто-нибудь важный.

СТРАНИЦКИЙ. Нет, случилось событие куда более значительное. Меве заболел проказой.

АНТОН. Меве?

СТРАНИЦКИЙ. Наш Национальный герой.

АНТОН. Как же это он умудрился подцепить проказу в наших краях?

СТРАНИЦКИЙ. Он же ездил в Абиссинию, где должен был продемонстрировать свое сочувствие социальному положению населения. Но перестарался — зашел в какую-то хижину, по обычаю этой страны босиком, и заразился.

АНТОН. Где же она у него?

СТРАНИЦКИЙ. На большом пальце левой ноги.

АНТОН. А при чем здесь наш шанс?

СТРАНИЦКИЙ. Мысль, Антон, совсем простая: все беды происходят от того, что нам, инвалидам, затыкают рот.

АНТОН. Я и не хочу ничего говорить.

СТРАНИЦКИЙ. Потому что ты сразу засыпаешь и тебе снятся твои каракатицы. А я, Антон, сплю плохо, я деятельный человек, лежу и размышляю о нашем ничтожестве. В том-то и дело, что мы ничто. Нас не слушают — и это причина всех бед. Но теперь все не так. Теперь с нами Меве. У него проказа, а мы инвалиды. Теперь он нас поймет. Пойдем к Меве. В газете написано, что он лежит в Вифлеемской клинике,

АНТОН. И что мы там будем делать?

СТРАНИЦКИЙ. Меве и мы должны образовать правительство.

АНТОН. Правительство?

СТРАНИЦКИЙ. Мы будем министрами.

АНТОН. Министрами?

СТРАНИЦКИЙ. А чем же еще! Я был футболистом, а ты водолазом. Но разве могу я играть в футбол без ног, а ты нырять, когда у тебя нет глаз? Пусть теперь этим займутся здоровые. А чтоб управлять, не так уж нужны здоровые члены.

АНТОН (*смеется*). Национальный герой, бесспорно, тебя поймет.

СТРАНИЦКИЙ. Проказа открыла ему глаза на наше положение. Такая болезнь просветляет.

АНТОН (*осторожно*). И когда ты собираешься пойти к нему?

СТРАНИЦКИЙ. Сегодня же.

АНТОН. Чепуха, Страницкий, какая чепуха! Одна из твоих идиотских выдумок.

СТРАНИЦКИЙ. Теперь наконец наверху должны оказаться те, кто испытал мировую историю на собственной шкуре. А это как раз мы!

АНТОН. Но ведь мы же совсем не умеем править!

СТРАНИЦКИЙ. Что значит — мы, Антон? Главное, что я умею. Ты думаешь, что я делал ночами, пока ты храпел? Я набрасывал программу правительства, проводил социальные реформы, ты еще удивись какие, произносил речи, а когда под утро я засыпал, то снились мне, в отличие от тебя, не какие-нибудь бесполезные «пустяки». Мне снились «практические сны». Я разъезжал по конференциям. Дай мне только попробовать. Я знаю, как нужно использовать шанс. Когда я забил три гола испанцам...

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Господин Страницкий, господин Антон!

СТРАНИЦКИЙ. Господин Страницкий! Господин Антон! — Слышишь? Это фрейлейн Мария из девятнадцатой комнаты.

МАРИЯ. Доброе утро, господин Страницкий. Доброе утро, господин Антон.

СТРАНИЦКИЙ. Доброе утро, фрейлейн Мария. Мы долго не виделись. Комната номер девятнадцать пустовала целых три недели.

МАРИЯ. Я, господин Страницкий, потеряла место на парфюмерной фабрике и была у сестры. А теперь я устроилась работать в трикотажном концерне Диана и К° и вот снова здесь.

СТРАНИЦКИЙ. Это мне не нравится. Трикотажный концерн не для вас, фрейлейн Мария.

МАРИЯ. Я буду мести лестницы и цеха, господин Страницкий. Тридцать пфеннигов в час...

СТРАНИЦКИЙ. Цеха и лестницы за тридцать пфеннигов! Фрейлейн Мария, я нищий черт, ведь подумайте: я безногий, которого возит по городу слепой, сижу у пострадавших от обстрела стен собора св. Себастьяна и сую людям под нос жестяную тарелку. Все это, конечно, так. Но если бы вы, закрыв глаза, хоть разок представили себе меня, фрейлейн Мария, с обеими ногами да еще в черно-красной футболке команды «Патриа», вы бы должны были признаться, что я был парнем что надо.

МАРИЯ (*смущенно*). Господин Страницкий!

СТРАНИЦКИЙ. Таким парнем, что я показал бы директору трикотажного концерна, как заставлять симпатичную девушку вроде вас мыть полы.

МАРИЯ (*робко*). Господин Страницкий!

СТРАНИЦКИЙ. Вы покраснели, фрейлейн Мария. Ну что ж, понимаю: такую девушку, как вы, смущает, конечно, что безногий объясняется ей в любви. Но это объяснение на тот случай, если бы я был при своих ногах, — чтобы показать вам, каков бы я был, если бы они не валялись в песках Сахары под каким-то холмом.

МАРИЯ (*горячо*). Но ведь вы можете, господин Страницкий, получить ноги от государства, так сказал мне господин из социального обеспечения.

СТРАНИЦКИЙ. Знаю я этого господина! Он приходил ко мне со своими прописями, фрейлейн Мария. Прекрасно, сказал я, государство вернет мне мои ноги. С его стороны весьма благородно. Хорошая сделка. А что это за ноги? Превосходные протезы, сказал он. А смогу ли я играть на них в футбол? Он ответил мне, что на этих протезах люди одолевали горы. Я не альпинист, сказал я, я футболист. Смогу ли я с ними снова играть левым полузащитником в первом составе команды «Патриа»? Господин Страницкий, ответил тот человек из социального обеспечения, это неисполнимое требование. Тогда мне не нужно ног, сказал я. Я зарабатывал своими ногами, такая у меня была работа, и новые ноги должны помочь мне снова зарабатывать. Государство обязано предоставить мне ноги равноценные тем, которые оно у меня отняло, и баста. Или я останусь тем, что я есть,— живым напоминанием о надругательстве, совершенном надо мной государством.

МАРИЯ (*плача*). Но ведь вы мне нравитесь, господин Страницкий!

СТРАНИЦКИЙ. Не плакать, фрейлейн, не плакать. Кто знает, что нас ждет, кто знает, что у Страницкого на уме и чего он еще может добиться, если выпадет случай, великий неповторимый случай! Зря, что ли, я забил четыре гола испанцам! И этот случай подвернулся. Не только для меня, но и для вас и для длинного Антона. Марихен, Марихен, Марихен, разве вы не слышите торжественной траурной музыки, которую целое утро разносит радио из окна Флейшеров? А речь, которую произнес министр внутренних дел?

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ...Коварна, но наш Национальный герой может быть уверен, что в этом тяжком испытании с ним любовь и почитание всей нации. Мы будем верны герою Финстервальда и Сан-Плинплина, даже если он прокаженный — произнесем же однажды это страшное, убийственное слово. Именно в этот час мы клянемся...

ДИКТОР. Но предоставим министру внутренних дел продолжать свою привлекающую всеобщее внимание и не раз повторявшуюся в течение дня по радио речь, оставим также и инвалида Станиславского...

СТРАНИЦКИЙ (*скромно*). Страницкого.

ДИКТОР. Страницкого с его безумными надеждами, Марией и слепым водолазом Антоном в чердачной комнате номер четырнадцатый и обратится к общественности. Хотя Национальный герой с течением времени и несколько вышел из моды, хотя

над ним у нас втайне даже посмеивались, как над музейным экспонатом, еще игравшим в качестве главы государства некоторую декоративную роль при открытии памятников и государственных визитах, но никем уже не принимавшимся всерьез, болезнь целиком и полностью восстановила его потускневшую славу: никогда еще Меве не был так популярен, как теперь. Его поясной портрет с косою улыбкой, как у Кларка Гейбла, но в целом больше напоминающий Гёте,—его поясной портрет сразу появился на всех стенах и в каждой комнате. Газеты пестрели посвященными ему сообщениями. Собирались конгрессы врачей. Забастовки с требованием повышения заработной платы были отменены под предлогом, что материальные разногласия неуместны перед лицом болезни Национального героя. Организовывались комитеты, по улицам шествовали дети, скандировавшие хором, общество Меве торговало значками с надписью: «Не дадим Меве сгнить заживо!» Был основан фонд Меве. Короче, возбуждение по поводу редкой в наших местах и потому занимавшей фантазию болезни было велико, и поэтому не удивительно, что на обоих инвалидов обращали еще меньше внимания, чем обычно. Ни одна монетка не упала в их помятую жестяную тарелку, пока они, полные надежд, совершали свой путь по раскаленным от солнца нескончаемым асфальтовым пустошам нашей столицы, направляясь к Вифлеемской клинике, где лежал Национальный герой: слепой толкая тележку безногого, безногий направляя шаги слепого.

РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ. Дневной выпуск: Заболевание нашего Национального героя — абиссинская форма лепры, «Ди Цайт!» «Ди Цайт!» Интервью со специалистом по лепре Модерцаном!

СТРАНИЦКИЙ.

Случалось забивать мне
По дюжине голов.
Был знаменит тогда я,
И счастлив и здоров.

Куда б я ни явился,
Я был героем дня.
И было много женщин
И денег у меня.

Но вскоре разразилась
Игра больших господ.
Голы их роковые
Оплачивал народ.

Сдирали с нас нещадно
Губительный оброк.
И вы детей лишились,
А я лишился ног¹.

ПРОДАВЕЦ. Памятные значки общества Меве! Покупайте значки общества Меве!

СТРАНИЦКИЙ. Сверни направо, Антон! Направо! К собору св. Себастьяна!

АНТОН.

Мне плавать приходилось
По дюжине морей.
Кораллы повисали
На бороде моей,

В галерах затонувших
Я золото искал.
В костюме водолазном
Я в трюмах их бывал.

Но вот нас искупали
По милости господ,
И океаны крови
Оплачивал народ.

Сдирали непосильный
Оброк нещадно с нас,
И вы детей лишились,
А я лишился глаз.

СТРАНИЦКИЙ. Налево, Антон, мимо газового завода!

АНТОН. Пусто. Ни одного пфеннига. Никто ничего не дает.

СТРАНИЦКИЙ. На эти деньги, Антон, целый день покупают значки в честь Меве, с чего ж тут тебе отчаиваться!

ВЫКРИКИ. Фонд Меве, жертвуйте в фонд Меве!

АНТОН. Есть хочется.

СТРАНИЦКИЙ. Есть? Сейчас?! Ты что, больной, вроде Меве?

РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ. «Эпоха»! Организация объединенных наций выражает сочувствие!

АНТОН. Странно. Еще вчера газетчики кричали все больше об экономическом кризисе, а сегодня что ни слово, то Меве.

¹ Здесь и далее в пьесе перевод стихов К. Богатырева.

СТРАНИЦКИЙ. Тебе этого не понять, Антон. Один разносчик одолжил мне иллюстрированный журнал, так там воспроизведен большой палец нашего героя, тот самый, прокаженный. Что экономический кризис, когда у кого-нибудь растет такое.

АНТОН. И это помещено в иллюстрированном журнале?

СТРАНИЦКИЙ. Цветное фото. А ты бы посмотрел на выражение лица нашего Национального героя — какое самообладание!

АНТОН. А на чем он лежит, на матрасе?

СТРАНИЦКИЙ. На матрасе? При такой болезни? Он сидит в американском медицинском кресле, которому можно придать любое положение, у каждого подлокотника столик, над головой лампа, предусмотрен телефон и электромотор, чтобы ездить по саду. Ты бы посмотрел, Антон, на это кресло.

АНТОН. А как выглядят медицинские сестры?

СТРАНИЦКИЙ. Не девочки, а мечта! Сложены что надо. Но к тому же это, как говорят, почетные медсестры. Одна танцовщица, другая герцогиня фон Тойфелен. А у него таких сестер десятки! И при этом как держатся! Прямо, Антон, теперь все время прямо.

АНТОН (*горько*). Боже мой, Страницкий, если б я был прокаженным и к тому же Национальным героем! А тебе было бы так кстати американское кресло с электромотором.

СТРАНИЦКИЙ (*возмущенно*). Антон! Не грехи! Такая болезнь! Мы можем считать себя счастливыми, что потеряли лишь ноги и глаза. Но нам пора петь, Антон, и протягивать тарелку. Вон идет жирный пивовар Бундхофер. Пой, Антон, Пой!

АНТОН.

Бывать мне приходилось
На океанском дне.
А надо мною солнце
Мерцало в вышине.

В галерах затонувших
Я золото искал.
В костюме водолазном
В их трюмах побывал.

Ничего! Снова ничего! Пивовар вынул деньги, только чтобы купить значок!

ДИКТОР. Ничего. Снова ничего. Раскошеливались только на значки в честь Меве, и, когда к вечеру оба инвалида добрались до Вифлеемской клиники, у них по-прежнему ничего не было и

они были голодны. Перед клинкой стоял полицейский, державший любопытных в отдалении. Национальному герою был нужен покой.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите. Не задерживайтесь.

СТРАНИЦКИЙ. Так. Перед нами Вифлеемская клиника. В этом самом парке. И милейший полицейский у входа Молодчина полицейский в белом шлеме и с коричневой щеточкой усов под носом. Белые перчатки тоже при нем. Мне он нравится, Антон: когда буду в правительстве, дам ему лейтенанта, у меня слабость к полицейским.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите. Проходите.

СТРАНИЦКИЙ. Я знаю, что делать. У меня опыт обращения с полицией. Не зря я стал почетным членом полицейского спортивного общества, когда забил пять голов испанцам.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите.

СТРАНИЦКИЙ. Господин полицейский, Вифлеемская клиника здесь, не правда ли?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите. Национальному герою нужен покой. Проходите.

СТРАНИЦКИЙ. Правильно. Долг прежде всего! Это мне ясно. Так и должно быть в здоровом государстве. Вас удивляют, господин полицейский, мои слова? Понимаю вас. Мы пока еще слишком оборваны, мой друг Антон производит, должно быть, особенно дикое впечатление. Но скоро мы образуем правительство. Мы, собственно, друзья Меве и хотим его навестить. Я представляю вас в лейтенанты, господин полицейский.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите.

СТРАНИЦКИЙ (*с достоинством*). Господин полицейский, обращаю ваше внимание на то, что ваше обхождение с будущим министром не настраивает меня на присвоение вам лейтенантского звания. Теперь я мог бы сделать вас разве что вахмистром, но и то, если вы будете более вежливы. Вы почти что прохлопали ваш шанс.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Проходите.

СТРАНИЦКИЙ. Он не хочет. Несмотря на повышение. Но у нас ведь есть еще и твои кулаки, Антон, твои два метра десяти! Вдарь-ка его попросту, и мы уж как-нибудь пробьемся вместе с моей тележкой к нашему Национальному герою. Ну, давай, Антон, не жди!

Слепой моряк на тачке
Привез меня сюда.
Верните долг калеке,
Большие господа.

Скорей, Антон, скорей! Вперед, все время вперед. Дорожка прямая, как шнур, и вон уже сквозь деревья и цветы парка светятся белые стены клиники.

ДИКТОР Все случилось так, как и должно было случиться. Слепой, изодранный и огромный, пронесся по парку, толкая перед собой тележку безногого, испускавшего крики нетерпения. Оба олицетворяли жалкое и безнадежное усилие добраться до рая на земле — до этой самой Вифлеемской клиники, мягко светившейся между стволами, а со всех сторон спешили полицейские, смущенные странным видом обоих и охваченные вполне понятным испугом перед лицом столь явного посягательства на Национального героя.

ГОЛОСА. Стой! Держи их!

Энергичные свистки.

СТРАНИЦКИЙ. Беги, беги, Антон! Все время прямо, прямо!

ДИКТОР. Сцена была мучительная. Как репейники, повисли на великане полицейские в сине-красных мундирах; они и не подозревали, что тот слеп; один из полицейских вскочил ему на спину, так что в конце концов побежденный толпой инвалид со стоном упал, а безногий Страницкий продолжал путь в своей потерявшей управление тележке, пока не угодил в одну из канав парка и не перевернулся.

ГОЛОС (*издали*). Покупайте значки Меве, значки Меве!

СТРАНИЦКИЙ. И вот я лежу, безногий, в канаве, заросшей травой и цветами, полной жуков и кузнечиков. Плохо твое дело, Страницкий, а ведь все это чистейшее недоразумение. И придется же побледнеть полицейским, когда они узнают, как обращались с будущим министром. Лица их будут белы, как маргаритки, среди которых я лежу, потому что, клянусь, я буду именно министром полиции. Министром полиции — моим реформам еще удивится мир! Министр полиции! Вот только бы унялась кровь из носа, проклятая кровь из носа, даже бабочка, подлетевшая к моему лицу, стала красной!

ГОЛОС (*издали*). Покупайте значки Меве! Значки Меве!

ДИКТОР. Но после того как обоих привели в полицейский участок и допросили, правда, ничего не уяснив из их ответов, так что в конце концов их отпустили, еще и накормив при этом наваристым супом с краюхой хлеба, — после всего этого свершилось великое чудо. Й. Т. Вайтблейк, журналист, а в прошлом поэт, проникся сочувствием к этой паре. В тот самый день после полудня Доннер, главный редактор «Эпохи» — кто не читает эту газету! — рывкнул на Вайтблейка таким громовым голосом,

который — просим простить намек¹, но он напрашивается сам собой — мы должны при всем нашем уважении назвать несколько слишком сильным.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДОННЕР. Мне нужна сенсация, сенсация во что бы то ни стало, или мы можем закрыть лавочку и торговать подтяжками! Что-нибудь осязаемое, что-нибудь, что могло бы заставить дражайшую публику реветь и скрежетать зубами. Черт побери, это треклятое газетное дело! Зачем нам нужен такой великолепный прокаженный Национальный герой? Чтобы люди думали о нем, а не забивали себе головы стачками, коммунизмом и подобной никому не нужной чепухой. Будь вы и десять раз Гёте, мой милый, все равно вы заслужили, чтобы вас окунули в чан с черной типографской краской. Иллюстрированный журнал первым поместил снимок прокаженного пальца, нам же остается только повторять его, когда уже ни одна собака не интересуется костями. «Цайт» опубликовал первое интервью, первое — а нам что, его перепечатывать? А вот «Вохе» выступает с серией статей «Я стражду» — автор сам Меве. Тираж четыре миллиона. Нет-нет, нам пора в архив, я теперь тоже начну писать стихи. А вы, Вайтблейк, что же вы принесли и осмеливаетесь класть мне на стол? Болезнь Бальдура фон Меве и ее значение для современной духовной жизни. Вон!

ДИКТОР. Такой была речь Доннера, главного редактора «Эпохи». Вы смогли убедиться сами — как это было впечатляюще! Смертельно бледный Вайтблейк бросился прочь из редакции. Внутренне он уже был готов к увольнению, уже собирался разорвать помолвку с Молли Уолли — вы ведь знаете эту прелестную субретку, выступавшую на подмостках многих городов — как натолкнулся во время своего ежедневного посещения полицейских участков на историю обоих инвалидов, этот запутанный сюжетик, разыгравшийся в саду Вифлеемской клиники, и случилось то самое чудо, о котором мы упоминали: Й. П. Вайтблейка осенила идея. Сам главный редактор Доннер был очарован, когда услышал о ней.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДОННЕР (*приветливо*). Ну вот видите, Вайтблейчик, какая идея выпорхнула из вашей головки. Я сразу подумал: если поэтишка постарается, со временем он что-нибудь да выжмет из высохшего лимона. Ну-ка пустим в ход наши связи. Завтра же вы будете стоять перед вашим Меве и излагать больному свои соображения.

¹ Непереводимая игра слов: доннер — гром (*нем.*).

ДИКТОР. И действительно, на следующий день И. П. Вайтблейк стоял в Вифлеемской клинике перед Национальным героем — американское кресло, в котором сидел Бальдур фон Меве, я вам, пожалуй, могу уже не описывать. Из медицинских сестер его окружали три, среди них герцогиня фон Тойфелен. Из врачей присутствовал Модерцан. Национальный герой пил томатный сок. В его голосе звучала сдержанная боль, соответствовавшая всему его облику, как будто уже нездешнему, принадлежавшему тому миру, которого мы не знаем.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*устало*). Молодой человек, я страдаю. Меня посетила госпожа Забота, так прекрасно описанная Гёте во второй части «Фауста», которого я читал еще в Финстервальде, а сейчас читаю в двенадцатый раз.

ВАЙТБЛЕЙК. Ваше превосходительство!

Он почти умирает от почтения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*устало*). Я боролся, я выстоял при Сан-Плинплине, был весь обращен к моему народу и этой жизни, но теперь, молодой человек, теперь грядет другое, невыразимое.

ВАЙТБЛЕЙК. Невыразимое.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*устало*). Еще немножко грейпфрутового сока, герцогиня фон Тойфелен, а на полдник прошу приготовить холодную пулярку и Château neuf du Pape, хорошо?

ВАЙТБЛЕЙК. Ваше превосходительство, все мы глубоко потрясены болезнью вашей правой ноги...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*сердито*). У меня болит левая, черт побери, левая нога, большой палец левой ноги.

ВАЙТБЛЕЙК. Простите, ваше превосходительство. (*Он очень смущен.*) Левая, конечно, левая нога вашего превосходительства. (*Собирается с духом.*) Все мы глубоко потрясены болезнью вашей левой ноги. Сверху донизу. Весь народ потрясен и един в этом, как никогда. Болезнь вашего превосходительства имеет политическое значение. Это значение нужно упрочить. Чем больше участия примет народ в страданиях вашего превосходительства, тем лучше.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. С началом моей болезни коммунистической партии пришлось поужаться, молодой человек.

ВАЙТБЛЕЙК. И немало

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Никаких стачек, никаких требований повысить зарплату.

ВАЙТБЛЕЙК. Поразительно!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Меня интервьюировали.

ВАЙТБЛЕЙК. Эффектно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Фотографировали прокаженный палец.
ВАЙТБЛЕЙК. Это заставило нас содрогнуться.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Меня изображали в кругу моей озабоченной семьи.

ВАЙТБЛЕЙК. Мы разделяли ее озабоченность.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. В окружении плачущих школьников.

ВАЙТБЛЕЙК. Мы все плакали.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Я собираюсь написать книгу «Я стражду».

ВАЙТБЛЕЙК. Мы страждем вместе с вами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Чего же вы хотите еще от смертельно больного? Все в порядке.

ВАЙТБЛЕЙК. Конечно, успехи значительные, ваше превосходительство, в этом нет никакого сомнения. Недостает лишь одного документа, который зафиксировал бы весьма существенный момент — любовь и почитание со стороны малых мира сего. Тут-то и необходимо ваше содействие. Изволите вы, ваше превосходительство, принимать кого-либо в клинике?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Принимать? Но ведь вчера только, кажется, я принял делегацию женского союза?

ВАЙТБЛЕЙК. Несомненно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. И конгресса филологов.

ВАЙТБЛЕЙК. Да, действительно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Сегодня железнодорожников и банковских служащих.

ВАЙТБЛЕЙК. Совершенно верно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Завтра масонов.

ВАЙТБЛЕЙК. Само собой разумеется.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Епископат и филателистов.

ВАЙТБЛЕЙК. Конечно, все это имеет политический вес, кто может в этом усомниться? Но теперь речь пойдет, ваше превосходительство, о более значительном и глубоком. *(С теплотой в голосе.)* Не соизволите ли вы, ваше превосходительство, принять двух инвалидов? Слепого и безногого.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ *(удивленно)*. Двух инвалидов?

ВАЙТБЛЕЙК. Двух изувеченных защитников родины, которые желают выразить вам свое сочувствие. Ваше превосходительство, принесите еще и эту жертву. Общественность была бы восхищена этой встречей.

ДИКТОР. Вот в чем состояла вайтблейковская идея. Лицо Национального героя вновь просветлело. Туча, которую нагнала было ошибка Й. П. Вайтблейка, спутавшего его правую ногу с левой, рассеялась, и после некоторого колебания Бальдур фон Меве заявил о своем согласии. Как «Эпоха», так и присоеди-

нившееся к ней радио ждали очень многого от предстоящей трогательной сцены. Все были убеждены, что это даст новый толчок начавшему уже было сникать движению в поддержку Меве. К тому же на конференции врачей не было единодушного мнения по поводу проказы у Национального героя, раздавались даже голоса, выразившие сомнение в диагнозе,— но не будем больше говорить об этом. Кто настроен истинно патриотически, тот убежден в прокаженности Меве. Это ясно. Теперь задачей Вайтблейка было найти обоих инвалидов. И журналист пустился в путь. Рабочие кварталы вблизи парфюмерной фабрики Губера. Улица Моцарта, дом номер четыреста двадцать семь, пятый этаж, комната номер четырнадцать, под самой крышей. Перед подъездом проржавевшая тележка безногого. Внизу на лестнице пахнет фасолью с салом, повыше кислой капустой, дальше побеждает селедка. Детский крик.

Детский крик.

Подвыпивший господин с окладистой бородой, чей род занятий никому не известен.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ (*во все горло*).

Луиза очень хороша,

Ох, хороша — и ша!

ДИКТОР. Потом фрейлейн Мюллер, Луиза Мюллер, чей род занятий, напротив, всем известен. И не одна, но умолчим об этой сцене. В разбитое окно светит весеннее солнце. По радио на четвертом этаже передают «Смерть и девушку» Шуберта.

Звучит «Смерть и девушка» Шуберта.

Одновременно происходит ссора в семье Корбмахеров, обычная в это время.

КОРБМАХЕР. Крыса! Потаскуха!

ДИКТОР. Потом комната номер четырнадцать, помещение нам уже известное: на одном матрасе лежит слепой водолаз Антон, на другом — безногий футболист Страницкий, в углу стоит шаткий столик, немного посуды, кружка с водой.

ВАЙТБЛЕЙК. Мое имя Вайтблейк. Й. П. Вайтблейк. Я из газеты.

А вы, без сомнения, господин Страницкий?

СТРАНИЦКИЙ. Страницкий. Адольф Иосиф Страницкий, известный футболист, тот самый, знаете, который забил решающий гол в ворота испанцев. А это мой друг Антон, бывший водолаз.

ВАЙТБЛЕЙК. Вчѐра вечером у Вифлеемской клиники вы, господин Страницкий, высказали желание посетить нашего любимого

Национального героя Бальдура фон Меве, чтобы выразить ему свое уважение.

СТРАНИЦКИЙ (*с достоинством*). Чтобы выразить ему мое полнейшее уважение.

ВАЙТБЛЕЙК. К сожалению, полиция помешала вам...

СТРАНИЦКИЙ (*с достоинством*). Недопопимание.

ВАЙТБЛЕЙК. Вот именно. Бальдур фон Меве готов принять вас и вашего слепого товарища послезавтра.

СТРАНИЦКИЙ (*пораженно*). Бог мой!

ВАЙТБЛЕЙК. В десять часов утра.

СТРАНИЦКИЙ (*растерянно*). В десять часов утра.

ВАЙТБЛЕЙК. Ваша беседа прозвучит по радио в передаче «Эхо времени» и будет опубликована на первой странице «Эпохи».

С фотоснимками.

СТРАНИЦКИЙ (*глухо*). По радио и в «Эпохе». С фотоснимками.

ВАЙТБЛЕЙК. Послезавтра в половине десятого я заеду за вами сюда на улицу Моцарта на бьюнке главного редактора Доннера, господа.

СТРАНИЦКИЙ (*оцепенело*). На бьюнке.

ВАЙТБЛЕЙК. Это мне поручено передать вам, господа, от имени Бальдура фон Меве. Увидимся послезавтра, в этот великий день вашей жизни.

СТРАНИЦКИЙ (*все еще оцепенело*). Послезавтра великий день нашей жизни. На бьюнке.

ДИКТОР. Таков был визит, нанесенный Вайтблейком обоим инвалидам, визит, который при несоразмерности надежд, возглавлявшихся Страпицким...

СТРАНИЦКИЙ (*скромно*). Страницким.

ДИКТОР. ...Страницким на Меве, мог иметь только роковые последствия. Вы увидите это сами. Оба инвалида — бывший водолаз и бывший футболист — сидели в своей жалкой каморке, освещенные лучами огромного красного солнца, как раз собиравшегося опуститься за корпуса трикотажного концерна, и молчали. Случилось чудо, они сознавали только это, и судорожно сжимали руки перед таким великим негаданным счастьем.

Стучат.

МАРИЯ. Господин Страницкий! Господин Антон!

СТРАНИЦКИЙ. Мария! Входите, фрейлейн Мария.

МАРИЯ. Вы бледны как смерть, господин Страницкий, а Антон все время качает головой.

СТРАНИЦКИЙ. Он все еще не может ничего понять, фрейлейн Мария, потому что послезавтра в десять утра мы приглашены посетить Бальдура фон Меве. На бьюнке.

МАРИЯ (робко). Господин Страницкий.

СТРАНИЦКИЙ. Я всегда предчувствовал, что случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Еще вчера, когда нам дали в участке хлеба и супа, я подумал: они, наверно, догадываются, что с нами дело не так просто, и вот вдруг нас приглашают в Вифлеемскую клинику. Теперь я поговорю с Меве и стану министром полиции, фрейлейн Мария, так я решил, когда лежал в канаве.

МАРИЯ. Но, господин Страницкий...

СТРАНИЦКИЙ. Больше я для вас не господин Страницкий. Называйте меня Адольф Иосиф. Потому что вы — моя невеста.

МАРИЯ (робко). Адольф Иосиф.

СТРАНИЦКИЙ. Теперь я закажу себе ноги, не государственные, а в частной мастерской, такие же великолепные, как кресло, на котором сидит Меве. И радио будет вмонтировано чуть выше левого колена, а на подошвах маленькие выдвигаемые колесики с моторчиком, чтобы просто катить, когда нет охоты идти.

МАРИЯ. Страницкий...

СТРАНИЦКИЙ. А вас, Мария, будут называть госпожой министершей.

МАРИЯ. Но я вовсе не хочу этого, Страницкий, мне это совсем не нужно, и Антон не хочет, он не говорит ни слова и качает головой. Только б ты был у меня, а ноги сделаем государственные. Ты же еще совсем не знаешь, что Меве от тебя хочет, а разве из нас кто-нибудь разбирается в национальных героях! Адольф Иосиф, я буду работать, обещаю тебе, на тебя и на Антона, и я буду твоей женой, меня ведь совсем не смущает, что у тебя нет ног.

СТРАНИЦКИЙ. О работе не может быть и речи. С трикотажным концерном покончено. Ты будешь госпожой министершей, и все тут. А у Антона будут такие же красивые медицинские сестры, как у Меве, включая и герцогиню Тойфелен. У меня тоже есть своя гордость.

ГОЛОСА. Страницкий! Да здравствует Страницкий!

СТРАНИЦКИЙ. Это господин Корбмахер снизу и господин Флейшер с третьего этажа, бородач и фрейлейн Луиза.

КОРБМАХЕР. Страницкий, господин из газеты сказал моей жене, что вы приглашены к Меве. Весь дом уже знает об этом! Поздравляю!

ФЛЕЙШЕР. Надеюсь, что вы скажете Национальному герою, как живется нам, маленьким людям? Это теперь ваша прямая обязанность, дружище!

КОРБМАХЕР. И как плохо платят на парфюмерной фабрике!

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА. И как плохо платят благородные господа!

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. Как подорожала водка!
СТРАНИЦКИЙ. Я скажу Меве все. Моя речь будет передаваться по радио, можете послушать! Люди! Жители улицы Моцарта! Настал великий патриотический миг! Болезнь вразумила нашего Национального героя, героя Финстервальда и Сан-Плиплина, он понял, что те, кто наверху, и те, кто внизу, богатые и бедные, должны объединить свои усилия. Поэтому он и позвал к себе меня, инвалида Страницкого, чтобы посоветоваться со мной.

ВСЕ. Слушайте! Слушайте!

СТРАНИЦКИЙ. Предстоят важные преобразования.

ВСЕ. Браво.

СТРАНИЦКИЙ. Давайте поэтому встретим грядущие дни радостно.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. Выпьем сливянки!

КОРБМАХЕР. Бургундского!

ФЛЕЙШЕР. Будем есть курицу!

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА. Торты!

СТРАНИЦКИЙ Я плачу за все!

МАРИЯ (*боязливо*). Страницкий! Мой Страницкий! Только бы все хорошо кончилось!

ДИКТОР. И вот настал долгожданный день. Футболист достойно подготовился. Исчезли дырявые матрасы, мы ведь их помним, шаткий столик, старая кружка. Вместо этого появились два дивана, купленные в кредит, мягкое кресло — в кредит, стол в стиле конца века и радио — тоже в кредит, уж не говоря о вине, фруктах и всем прочем, что было заготовлено к празднику — тоже, разумеется, в кредит. Ровно в половине десятого появился Вайтблейк на бьюнке. Собралась почти вся улица Моцарта. С криками «ура» погрузили безногого в машину. На нем была старая солдатская форма.

ТОЛПА. Ура, ура Страницкому!

ДИКТОР. Рядом с ним в синем морском мундире сидел слепой. И они ехали по улицам нашей столицы, мимо собора св. Себастьяна. Обрамленные черным огромные портреты Национального героя со всех сторон строго взирали на бьюнк, на перекрестках бойко раскупалось «Я стражду» Меве. Колоссальное дело. «Лайф» предложила за право перевода два миллиона долларов. Без пяти десять машина завернула в парк при Вифлеемской клинике. Главный врач Модерцан поджидал их у входа в госпиталь. Безногого посадили на коляску и водолаз покотил ее впереди себя. Герцогиня фон Тойфелен, показывавшая инвалидам дорогу, плакала. Процессия достигла большого холла. На камине в дорогих рамках стояли портреты Елизаветы, ее величества королевы Англии, с наследником на коленях

и американского президента, а между ними золотой крест, подаренный нунцием, с надписью: «Страдай за нас». Национальный герой сидел в американском кресле. Увидев двух инвалидов, он отложил в сторону «Фауста» и улыбнулся, хотя и несколько более болезненно, чем всегда, своей знаменитой косою улыбкой. У его ног сражались два молодых льва, подарок безутешного императора Абиссинии. На заднем плане стояли почетные медицинские сестры, врачи и ассистенты, а так же некоторые члены кабинета. Царила тишина, торжественная тишина. Почти бесшумно работали кинооператоры, фотографы и звукооператоры. И вот И. П. Вайтблейк заговорил.

ВАЙТБЛЕЙК. Ваше превосходительство, я имею честь представить вам двух простых людей из народа. Господин Страницкий.

СТРАНИЦКИЙ. Страницкий. Адольф Иосиф Страницкий.

ВАЙТБЛЕЙК. Страницкий и господин Антон.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Два защитника родины. Я рад. Были под Финстервальдом? Где ранены, в Сан-Плинплине?

СТРАНИЦКИЙ. В Узбекистане, господин Меве, а Антон в устье Иравади.

Приглушенный смех.

ВАЙТБЛЕЙК (*шепотом*). «Ваше превосходительство», Страницкий, «ваше превосходительство». Национальному герою нужно говорить «ваше превосходительство».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Но, молодой друг, зачем же этому честному человеку называть меня «ваше превосходительство»? Мы ведь товарищи.

ВСЕ. Браво! Да здравствует наш Национальный герой!

ГОЛОС СЗАДИ. Какая человечность!

Приглушенные аплодисменты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. Защитники нашей родины потеряли глаза и ноги, а у меня проказа. В конечном итоге всем нам приходится страдать.

Приглушенные аплодисменты.

Для нас троих это значит: держать выше голову и, сжав зубы, исполнять свой долг перед отечеством.

СТРАНИЦКИЙ. Господин Меве, вы говорили от всей души. Поэтому давайте перейдем к истинной цели нашей встречи.

ВАЙТБЛЕЙК (*в замешательстве*). Но, милейший...

СТРАНИЦКИЙ. Господин Национальный герой. Мы сидим друг против друга в специальных больничных креслах — вы, знаменитый герой Сан-Плинплина и Финстервальда, премьер-министр

нашей страны, прокаженный до самых костей, и я, бывший футболист, бесполезный обрубок.

ВАЙТБЛЕЙК. Но, милый...

СТРАНИЦКИЙ. Таковы факты, и тут ничего не изменишь. Но, господин Национальный герой, мы смотрим фактам в глаза, это нужно сразу отметить, ибо вы позвали меня, а я откликнулся на ваш зов. Теперь вы с нами, с тысячами живущих в нашей стране безруких, безногих или слепых. С гордостью принимаем мы вас в наши необозримые ряды.

ВАЙТБЛЕЙК. Но, мой...

СТРАНИЦКИЙ. Господин Национальный герой! В эту незабываемую минуту на нас смотрит народ. В истории наступил поворотный момент. За вашей спиной власть, учреждения, пресса, армия, за моей — бессилие, бедность, голод. Ваше имя на устах у всех, мое имя забыто. И все же мы не противостоим друг другу, мы существуем один для другого.

ВАЙТБЛЕЙК. Но...

СТРАНИЦКИЙ. Никто не вернет вам обратно ваш палец, никто не вернет мне моих ног. Забудем же об этих частях нашего тела, ну их, и пустим в ход головы. В них теперь нуждается наш народ. Мы не можем избавиться от наших страданий, но можем устранить их причину. В Абиссинии вы посетили бедную хижину. В нашей стране тоже есть такие. Давайте позаботимся о том, чтобы их не было больше нигде. Меня изуродовала война. Так пусть не будет больше войн. Мы оба зависим от помощи наших сограждан. Такая же помощь должна быть оказана всем нуждающимся. Фонд Меве для всех, господин Национальный герой. Того, чего не добились поколения здоровых людей — спортсменов, вегетарианцев и трезвенников, — мира на земле, — должны добиться мы — хворые, калеки, изрубленные!

ВАЙТБЛЕЙК. Но, мой...

СТРАНИЦКИЙ. Вместе мы образуем правительство, господин Национальный герой. Это дело безотлагательное, я знаю. Себя я предлагаю в ваше распоряжение в качестве министра полиции. Я охотно приношу эту жертву. Я готов одновременно принять на себя обязанности и министра внутренних дел. А также и внешних, если вы того пожелаете. Антон возглавит финансы и церковь. Никогда еще ни одно правительство, господин Национальный герой, не формировалось в столь благоприятных условиях.

ВАЙТБЛЕЙК. Но, мой мил...

СТРАНИЦКИЙ. Вы тронуты, господин Национальный герой. Из этого я заключаю, что вы — согласны. Я вижу это по вашему ли-

цу, по тому, как беспокойно вы двигаетесь в своем американском кресле. Но терпение. Завтра мы увидимся снова. Сегодняшний день, господин Национальный герой, я хочу провести со своими друзьями, простыми людьми с улицы Моцарта.

ВАЙТБЛЕЙК. Но, мой милейший!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*смущенно*). Был рад. Желая такому bravому солдату нашей родины всего лучшего.

СТРАНИЦКИЙ. Завтра, господин Национальный герой, я предложу вам свою программу правительства и прошу вас, чтобы меня и Антона привел к присяге архиепископ в соборе св. Себастьяна, как того требует наша старая, достойная уважения традиция.

ВАЙТБЛЕЙК. Но, мой милейший...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*слабо*). Рад. Был рад. Еще Гёте... Чрезвычайно рад. Портреты, герцогиня фон Тойфелен, портреты, хорошо?

ДИКТОР. Так проходила встреча безногого футболиста и нашего Национального героя. Печальный конец рассказать недолго. Едва герцогиня фон Тойфелен вручила обоим по портрету Меве с собственноручными его подписями — как обоих уже вывели от измученного Меве, которого Модерцан уложил в постель. На одном портрете Национальный герой страдал под Финстервальдом, а на другом не сдавался под Сан-Плиплином.

Футболист торжествовал. Настороженного молчания окружающих он не заметил. Он уже видел себя министром. Улица Моцарта, куда его и Антона доставил бьюик, встретила их с восторгом. На чердаке началось безумное пиршество, продолжавшееся весь день. Все вместе ждали вечерних последних известий по радио. К фрейлейн Луизе и господину с окладистой бородой, к Корбмахеру и Флейшсеру, к фрейлейн Марии, испуганно обнимавшей Страницкого, присоединились господин Зевейн и господин Бас. У первого были куплены два дивана, стол в стиле конца века и мягкие кресла, у второго — радиоприемник, на котором теперь красовались оба собственноручно подписанных портрета Бальдура фон Меве. Доверие бывшего футболиста к Национальному герою было безгранично.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. Ничего, кроме водки, целый день я пью одну водку во славу политики. Да здравствует водка!

ФЛЕЙШЕР. Да здравствует окорок!

ЗЕВЕЙН. Пулярка!

КОРБМАХЕР. Мозельское!

БАС. Бургундское!

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА. Торты!

ФЛЕЙШЕР. Скоро начнется. Через три минуты. «Эхо недели»!

СТРАНИЦКИЙ (*взволнованно*). Моя любимая невеста, Мария, мой друг Антон, дорогие друзья! Не забудем же о человеке, которому мы обязаны нашим счастьем,— о Бальдуре фон Меве. Конечно, никто не сомневается в том, что он не струсил под Финстервальдом и вел себя как герой под Сан-Плиплином, но свое подлинное величие он проявил сегодня утром в десять. Я верил в него, но над моей верой смеялись. Однако Меве оправдал мои надежды. Теперь я могу верить в него и впредь, и вы со мной тоже. Мы современники истинного Национального героя, человека, осмелившегося совершить переворот в политике. А для этого, дорогие друзья, необходимо мужество. Да здравствует наш Бальдур фон Меве!

ВСЕ. Да здравствует Меве!

ФЛЕЙШЕР. Сначала идет сообщение о погоде.

СТРАНИЦКИЙ. Мы пробились, дорогие друзья! Еще одна ночь в камерке, и фрейлейн Мария, Антон и я переедем в наши апартаменты в «Четырех временах года». Но мы никогда не забудем, откуда мы. Это мы вам торжественно обещаем.

ВСЕ. Торжественно обещаем.

Они чокаются.

ФЛЕЙШЕР. Теперь сообщение об уровне воды.

СТРАНИЦКИЙ. Мир изменится, дорогие друзья. Господин Корбмахер уничтожит бедность, а господин Зевейн упразднит армию.

ВСЕ. Мы упраздним все.

СТРАНИЦКИЙ. Господин с бородой возглавит банки.

ВСЕ. Он всем откроет кредиты.

СТРАНИЦКИЙ. Господин Флейшер — железные дороги.

ВСЕ. Будем ездить бесплатно.

СТРАНИЦКИЙ. А фрейлейн Луизе мы отдадим домик в стиле рококо во французском парке с персидскими коврами и кроватками из вишневого дерева, с роскошными креслами и занавесками из брюссельских кружев, с китайскими вазами и фигурками из мейссенского фарфора, с золотыми и серебряными приборами и плюшевыми кушетками.

ВСЕ. А мы все будем навещать к ней.

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА. Наступит рай.

ВСЕ. Рай для маленьких людей.

КОРБМАХЕР. Считалось, что это будет через трижды сто тысяч недель.

ВСЕ. Рай.

ЗЕВЕЙН. Он полз к нам медленно, как вечность.

ВСЕ. Рай.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. И вдруг он разверз перед нами свои беспредельные дали.

БАС. И не когда-нибудь, когда рак свистнет, а прямо сегодня.

ВСЕ. Рай для маленьких людей.

ФЛЕЙШЕР (*взволнованно*). Вот он!

СТРАНИЦКИЙ. Так давайте послушаем сообщение о моем назначении министром полиции.

ВСЕ. Ура!

СТРАНИЦКИЙ. Министром внутренних и внешних дел.

ВСЕ. Ура!

СТРАНИЦКИЙ. И то, что Антон возглавит церковь и финансы.

ВСЕ. Ура.

Празднество достигло своего апогея.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ПО РАДИО. «Эхо недели» передает: В гостях у Национального героя. Передачу ведет Й. П. Вайтблейк.

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. Спокойствие!

ФРЕЙЛЕИН ЛУИЗА. Сделайте погромче!

КОРБМАХЕР. Тихо!

ВАЙТБЛЕЙК (*по радио*). Дорогие радиослушатели, сегодня мы с нашим микрофоном находимся в Вифлеемской клинике. Мы присутствуем при торжественном акте. Но это не один из тех высоких государственных актов, которые столь часто, будь то подписание мира под Кенигеном или договора в Питанге, требовали благословения нашего Национального героя. Это акт любви к ближнему. Бальдур фон Меве принимает двух простых людей из народа, двух сограждан, особенно тяжело страдающих под пятой времени, двух инвалидов. В то же время этот прием чрезвычайно показателен для нашего Национального героя, потому что кто же, как не он, наш трагически занемогший Национальный герой, знает, что такое страдание. И поэтому он беседовал с этими простыми солдатами, изувеченными в дальних землях, в духе сердечного — Бальдур фон Меве сам употребил это слово — товарищества.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*по радио*). Мы ведь товарищи.

ГОЛОСА (*по радио*). Bravo! Да здравствует наш Национальный герой.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*по радио*). Защитники нашей родины потеряли глаза и ноги, а у меня проказа. В конечном итоге всем нам приходится страдать.

Приглашенные аплодисменты.

Для нас троих это значит: держать выше голову и, сжав зубы, исполнять свой долг перед отечеством.

СТРАНИЦКИЙ (*по радио*). Господин Меве, вы говорили от всей души.

СТРАНИЦКИЙ (*гордо*). Это я говорю.

ВАЙТБЛЕЙК (*по радио*). Что может быть показательней для глубокой любви, которую питает народ к своему Национальному герою, чем такие слова простого инвалида. Поэтому этот непритязательный прием глубоко взволновал всех. Ведь они увидели в Национальном герое человека, заботящегося и о них, несмотря на болезнь, от которой замирает сердце. Один за всех и все за одного. Никогда еще это изречение не доказывало свою истинность очевиднее, чем в это утро в Вифлеемской клинике. В заключение оба инвалида с горящими глазами приняли в дар фотографии нашего Национального героя, добрый, мужественный, отмеченный страданием голос которого вы сейчас еще раз услышите.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ (*по радио*). Рад. Еще Гёте... Чрезвычайно рад. Портреты, герцогиня фон Тойфелен, портреты, хорошо?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ПО РАДИО. «Эхо недели» передавало запись маленького праздника в Вифлеемской клинике. Передачу вел Й. П. Вайтблейк. Мы переходим теперь к вопросу о расширении рынка для убойного скота. Серьезный разговор между директором боен Вейсбушем и советником...

ФЛЕЙШЕР (*возмущенно*). А где же речь?

КОРБМАХЕР. Надувательство!

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА (*пронзительно*). Страницкий все наврал!

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. Все вздор!

ФЛЕЙШЕР. А кто заплатит за окорок?

ФРЕЙЛЕЙН ЛУИЗА. За торты?

КОРБМАХЕР. За пулярку и шампанское?

ГОСПОДИН С ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ. За водку?

ЗЕВЕЙН. За мебель?

БАС. За радиоаппаратуру?

ВСЕ. Обманщик! Мошенник!

Страшный шум.

ДИКТОР. Когда надежды инвалида разбились вдребезги, поднялся ужасный кавардак. Господин Корбмахер, — к сожалению, мы должны упомянуть об этом — разбил о голову бывшего футболиста сан-плинплинский портрет Меве, Флейшер — финстервальдский. Господин с окладистой бородой бил Страницкого бутылкой из-под шампанского, Зевейн и Бас — креслами, пока наконец слепой не отшвырнул их всех в сторону. Великан подхватил безногого на руки, как ребенка, промчался с ним пять

этажей вниз по знакомой лестнице и исчез в темноте ночи, оставив далеко позади не поспевавшую за ними плачущую Марию.

МАРИЯ (*в отчаянии*). Я же хочу стать твоей женой, Адольф Иосиф.

Тебе совсем не нужно быть министром. Я хочу работать для тебя, я хочу заботиться о тебе. Страницкий, мой Страницкий!

ПРОДАВЕЦ. Значки общества Меве, покупайте значки Меве!

СТРАНИЦКИЙ. Все правильно, Антон. Ты спас меня, как герой.

Дальше, дальше! Какой я был дурак, хотел стать министром!

Ну, теперь я опять безногий футболист. Прямо, все время прямо! Всю улицу Моцарта, мимо парфюмерной фабрики Губера, в сторону трикотажного концерна.

Меня давно лишила
Обеих ног война.
Но вот раздулся палец
Героя Плинплина.

Тут я обрел надежду,
Что кончится беда,
Что войн не будет в мире
И горя никогда.

ПРОДАВЕЦ. Памятные значки общества Меве. Покупайте значки общества Меве!

СТРАНИЦКИЙ.

Сочувствие, однако,
Бывает двух родов:
В роскошном одеянье
И в платье бедняков.

Роскошная одежда
Была не для меня.
Покинула надежда
Меня среди бела дня.

РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ. «Эпоха»! Национальный герой принял двух инвалидов! «Эпоха»!

АНТОН.

Мои глаза видали
Утопшие суда.
Вам увидеть такое
Не снилось никогда.

В потоках Иравади
Остался я без глаз.
Вот так я искупался
В волнах в последний раз.

ПРОДАВЕЦ. Памятные значки общества Меве! Покупайте значки
Меве!

АНТОН.

Вовеки не исчезнут
Из памяти моей
Кораллы, и медузы,
И мачты кораблей.

И все ж людская черствость
Страшнее всяких бед.
Кто этого не понял —
Того несчастней нет.

МАРИЯ (*издалека*). Страницкий, мой Страницкий!

ДИКТОР. Так они и шли. И исчезли в ночи нашего города. Когда
пришло утро, из канала вытащили тележку. Безногий направил
слепого к их общей гибели. Тела обоих не были обнаружены,
канал, наверно, уже унес их в море. Благодаря этому обстоя-
тельству и состоялось последнее свидание инвалидов с нашим
Национальным героем. В мае следующего года Меве возвра-
щался в столицу после длительного пребывания на Ривьере.
Он выглядел вполне здоровым, розовощеким и полнотелым,
так как Модерцану удалось с помощью американского препа-
рата если не полностью устранить, то, во всяком случае, при-
остановить проказу. И вот когда торжественная процессия,
приветствуемая ликующим населением, вступила на мост, пе-
ресекавший канал около собора св. Себастьяна, вновь показав-
лись оба инвалида. Несомые прибоем, они появились со
стороны моря, два чудовищно раздутых водой труп, футболи-
ст на спине у слепого, кораллы и водоросли в обесцве-
тившихся волосах, морские звезды и раковины в глазницах.
Так всплыли они, освещенные красноватым вечерним светом,
в наш город, и безногий как будто грозил своим поднятым
кулаком Национальному герою. Потом они погрузились в поток.
Напрасно полиция до поздней ночи пыталась шестами и пал-
ками положить конец скандальному происшествию. Отлив,
видно, унес призраки обратно в океан. Вот, дамы и господа,
и конец истории инвалида Страницкого.

Об авторах

СТЕФАН ХЕРМЛИН
(ГДР)
(Род. 1915)

В шестнадцать лет вступил в Коммунистическую партию. С 1936 по 1945 год находился в эмиграции. В послевоенное время активно служит делу культурного строительства ГДР. Лауреат различных премий — преимущественно за поэзию и поэтические переводы.

РОЛЬФ ШНЕЙДЕР
(ГДР)
(Род. 1932)

Добился международного признания как автор радиопьес, из которых наиболее значительны: «С любовью к Моцарту» (1960), «25 ноября в Нью-Йорке» (1962), «Прощание с Зундхеймом» (1961), «Третий крестовый поход» (1960). Получил в 1962 году премию имени Лессинга.

ГЕНРИХ БЕЛЬ
(ФРГ)
(Род. 1917)

Лауреат литературных премий ФРГ и международной швейцарской премии имени Шарля Вейона (1960). Крупнейший представитель критического реализма в современной немецкой литературе. Наиболее значительные радиопьесы: «На чашке чая у доктора Борзига» (1955), «Итог» (1957), «Стук, стук, стук...» (1960), «Микрофон» (1962), «Концерт для четырех голосов» (1964).

ЗИГФРИД ЛЕНЦ
(ФРГ)
(Род. 1926)

Автор ряда социально-критических романов, из которых наибольший успех выпал на долю «Урока немецкого» (1969). Радиопьесы: «Время невиновных» и «Время виновных» (1960—1961), «Поиски дома» (1963), «Лабиринт» (1967).

ГЮНТЕР АЙХ
(ФРГ)
(Род. 1907)

Получил в 1952 г. за радиодраматургию премию «Общества ослепших на войне»; в 1958 г. — премию имени Георга Бюхнера. Известен также как один из ведущих современных немецких поэтов. Наиболее значительные радиопьесы: «Другая и я» (1952), «Девушки из Витербо» (1953), «У Аллаха сто имен» (1957), «Против перед Сетубалом» (1958).

ФРЕД ФОН ХЕРШЕЛЬМАН
(ФРГ)
(Род. 1901)

Принадлежит к пионерам немецкой радиодраматургии. Наибольшую известность получили его антифашистские пьесы «Корабль «Эсперанца» (1953) и «Закрытые двери» (1952). Выступает также как новеллист и драматург.

ИЛЬЗЕ АЙХИНГЕР
(Австрия)
(Род. 1921)

Лауреат различных литературных премий Австрии и ФРГ. Автор антифашистского романа «Большая надежда» (1948), лирической короткой прозы и двух радиопьес: «Пуговицы» (1953) и «Визит к пастору» (1961).

МАКС ФРИШ
(Швейцария)
(Род. 1911)

Драматург и романист. Крупнейший представитель современного критического реализма на Западе. Автор радиопьес «Рип ван Винкль» (1953), «Бидерман и поджигатели» (1953), «Дилетант и архитектура» (1954), «Господин Кихот» (1955).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ
(Швейцария)
(Род. 1921)

Наряду с М. Фришем — крупнейший драматург и прозаик современной Швейцарии. Наиболее значительные радиопьесы: «Страницкий и Национальный герой» (1952), «Геркулес и Авгиевы конюшни» (1954), «Авария» (1956), «Вечер поздней осенью» (1957), «Процесс из-за тени осла» (1958).

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. АРХИПОВ	5	Биография и характер юного жанра
СТЕФАН ХЕРМЛИН	26	Скарданелли. <i>Перевод Ю. Архипова и Г. Рагауза</i>
РОЛЬФ ШНЕЙДЕР	48	Третий крестовый поход. <i>Перевод Н. Павловой</i>
ГЕНРИХ БЕЛЬ	78	Концерт для четырех голосов. <i>Перевод Ю. Архипова</i>
ЗИГФРИД ЛЕНЦ	86	Время невинных. <i>Перевод Ю. Архипова</i>
ГЮНТЕР АЙХ	116	Девушки из Витербо. <i>Перевод Ю. Архипова</i>
ФРЕД ФОН ХЕРШЕЛЬМАН	154	Корабль «Эсперанца». <i>Перевод Ю. Архипова</i>
ИЛЬЗЕ АЙХИНГЕР	188	Пуговицы. <i>Перевод Ю. Архипова</i>
МАКС ФРИШ	218	Рип ван Винкль. <i>Перевод Ю. Архипова</i>
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ	260	Страницкий и Национальный герой. <i>Перевод Н. Павловой</i>

РАДИОПЬЕСЫ

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОСОВ

Редактор С. Николаева. Художник П. Мороз. Художественный редактор Ю. Марков. Технический редактор Н. Новожилова. Корректор Г. Троицкая.
Сдано в набор 27/IV 1971 г. Подп. в печать 28/I 1972 г. Формат издания 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 16,378. Тираж 15.000 экз. Изд. № 1062. Издательство «Искусство», Москва, К-51, Цветной бульвар, 25. Зак. № 225. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109. Цена 85 коп.

